
Ф. М. Достоевский
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
ТОМ I
КЛАССИКА
МИФ

Братья Карамазовы. Том 1

Федор Михайлович Достоевский

Аннотация
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Том I
От автора
Часть первая
  Книга первая. История одной семейки
  Книга вторая. Неуместное собрание
  Книга третья. Сладострастники
Часть вторая
  Книга четвертая. Надрывы
  Книга пятая. Pro и contra
  Книга шестая. Русский инок
Над книгой работали

Аннотация

Последний роман Достоевского, подводящий итог его творчеству и поднимающий вечные вопросы человечества, и духовное завещание писателя, ставшее важной вехой в мировой литературе. Спор о наследстве сводит под крышей монастыря помещика Федора Павловича Карамазова, сластолюбца и приживальщика, и трех его сыновей – Дмитрия, Ивана и Алексея. Отношения Мити с отцом накалены до предела, ведь никогда не радевший о нем Федор Павлович не только отказывает ему в деньгах, но и намерен добиться любви женщины, в которую Митя тоже страстно влюблен. Встреча завершается скандалом, который предвещает страшную трагедию…

В первый том вошли книги с первой по шестую.

Ф. М. Достоевский
Братья Карамазовы. Том I

Печатается по изданию: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / редкол.: Базанов В. Г. (отв. ред.) и др.; ИРЛИ. Т. 14. Братья Карамазовы. Кн. I–X. Л.: Наука. Ленингр. отд. — ние, 1976. 510 с.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2025

* * *



Посвящается Анне Григорьевне Достоевской

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24

От автора

Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?

Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: «Может быть, увидите сами из романа». Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Федоровича? Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, невыяснившийся. Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей яс-

ности. Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак. Но странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?

Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: «Не так» или «не всегда так», то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича. Ибо не только чудак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались…

Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия: понравится — так и так прочтут; но беда в том, что жизнеописание-то у меня одно, а романов два. Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не

роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом еще усложняется первоначальное мое затруднение: если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределенного героя излишне, то каково же являться с двумя и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость?

Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности: тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости: все-таки, дескать, заране в чем-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа «при существенном единстве целого»: познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит: стоит ли ему приниматься за второй? Конечно, никто ничем не связан; можно бросить книгу и с двух страниц перво-

го рассказа, с тем чтоб и не раскрывать более. Но ведь есть такие деликатные читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не ошибиться в беспристрастном суждении; таковы, например, все русские критики. Так вот перед такими-то все-таки сердцу легче: несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, все-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну вот и все предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется.

А теперь к делу.

Часть первая

Книга первая. История одной семейки



I

Федор Павлович Карамазов

Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом «помещике» (как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместье) лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, — но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично

обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, — а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.

Он был женат два раза, и у него было три сына: старший, Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и, сверх того, из бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного «мозгляка», как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, еще в запрошлом «романтическом» поко-

лении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навыдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию, и даже так, что будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийства, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни, в два или три последние поколения, таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Миусовой был без сомнения отголоском чужих веяний и тоже пленной мысли раздражением. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин

приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему, эпохи, тогда как он был только злой шут, и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Федор же Павлович на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру хотя чем бы то ни было; примазаться же к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было — ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красивость Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке, только бы та его поманила. А между тем одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления.

Аделаида Ивановна, тотчас же после увоза, мигом разглядела, что мужа своего она только презирает, и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайною

быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, все ее денежки, до двадцати пяти тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданое, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя чрез совершение какого-нибудь подходящего акта и наверно бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но, к счастию, вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но, по преданию, бил не Федор Павлович, а била Аделаида Ивановна, дама горя-

чая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прикрасами даже расписывать подробности о своей обиде. «Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили, так вы довольны, несмотря на всю вашу горесть», — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает впрочем, может быть, было это в нем и наивно. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась с сво-

им семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург, — для чего? — он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал; но, предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном праве, для бодрости, пред дорогой, пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это-то время семейством его супруги получилось известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям — от тифа, а по другим — будто бы с голоду. Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный; говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпущаеши», а по другим — плакал навзрыд как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то, и другое, то есть что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице — все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже.

II

Первого сына спровадил

Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним как с отцом именно случилось то, что должно было случиться, то есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых; овдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась, сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория

и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил (не мог же он в самом деле не знать о его существовании), то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны, Петр Александрович Миусов, многие годы сряду выживший потом за границей, тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятых годов. В продолжение своей карьеры он перебывал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в России и за границей, знавал лично и Прудона и Бакунина и особенно любил вспоминать и рассказывать, уже под концом своих странствий, о трех днях февральской парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего

городка и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович, еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с «клерикалами» почел даже своею гражданскою и просвещенною обязанностью. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал, в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред ва-

ми какую-нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям, и даже весьма умным, не то что Федору Павловичу. Петр Александрович повел дело горячо и даже назначен был (купно с Федором Павловичем) в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалось именьице — дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения с своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыне. Случилось так, что, обжившись в Париже, и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла, и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменил в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича,

а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, без которых мне и романа начать невозможно.

Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно: в гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился; пробыл он у него недолго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого (факт достопримечательный) ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не

добился. Федор Павлович заметил тогда, с первого разу (и это надо запомнить), что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделываться малыми подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда, уже года четыре спустя, Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть еще даже сам должен ему; что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более, и проч., и проч. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то

обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону. Но, пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись.

III

Второй брак и вторые дети

Федор Павлович, спровадив с рук четырехлетнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет восемь. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелкоподрядному делу, с каким-то жидком в компании. Федор Павлович хотя и кутил, и пил, и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда подловато. Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы

и мучительницы, знатной генеральши-старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, — до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой, старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности. Федор Павлович предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут-то он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей. Но дело было в другой губернии; да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку, чем оставаться у благодетельницы. Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля. Федор Павлович не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и, сверх того, прокляла их обоих; но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательною красотой невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его, сладострастника и доселе порочного

любителя лишь грубой женской красоты. «Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули», — говаривал он потом, гадко по-своему хихикая. Впрочем, у развратного человека и это могло быть лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемонился и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним «виновата» и что он ее почти «с петли снял», пользуясь, кроме того, ее феноменальным смирением и безответностью, даже попрал ногами самые обыкновенные брачные приличия. В дом, тут же при жене, съезжались дурные женщины, и устраивались оргии. Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее с Федором Павловичем почти непозволительным для слуги образом, а однажды так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. Впоследствии с несчастною, с самого детства запуганною молодою женщиной произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. От этой

болезни, со страшными истерическими припадками, больная временами даже теряла рассудок. Родила она, однако же, Федору Павловичу двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году, и хоть и странно это, но я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, — как сквозь сон, разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей: они были совершенно забыты и заброшены отцом и попали все к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха самодурка генеральша, благодетельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых и все время, все восемь лет, не могла забыть обиды, ей нанесенной. О житье-бытье ее «Софьи» все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения и, слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал».

Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Павловича и всего-то пробыла в городке с полчаса, но много сделала.

Был тогда час вечерний. Федор Павлович, которого она все восемь лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествуют, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидала его, задала ему две знатные и звонкие пощечины и три раза рванула его за вихор сверху вниз, затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к двум мальчикам. С первого взгляда заметив, что они не вымыты и в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела их в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей «за сирот Бог заплатит». «А все-таки ты балбес!» — крикнула ему генеральша, отъезжая. Федор Павлович, сообразив все дело, нашел, что оно дело хорошее, и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу.

Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но выговорив, однако, в завещании

обоим малюткам по тысяче рублей каждому «на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошеливается», и проч., и проч. Я завещания сам не читал, но слышал, что именно было что-то странное в этом роде и слишком своеобразно выраженное. Главным наследником старухи оказался, однако же, честный человек, губернский предводитель дворянства той губернии Ефим Петрович Поленов. Списавшись с Федором Павловичем и мигом угадав, что от него денег на воспитание его же детей не вытащишь (хотя тот прямо никогда не отказывал, а только всегда в этаких случаях тянул, иногда даже изливаясь в чувствительностях), он принял в сиротах участие лично и особенно полюбил младшего из них, Алексея, так что тот долгое время даже и рос в его семействе. Это я прошу читателя заметить с самого начала. И если кому обязаны были молодые люди своим воспитанием и образованием на всю свою жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко встречаются. Он

сохранил малюткам по их тысяче, оставленной генеральшей, неприкосновенно, так что они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух, воспитал же их на свои деньги и уж, конечно, гораздо более, чем по тысяче, издержал на каждого. В подробный рассказ их детства и юности я опять пока не вступаю, а обозначу лишь самые главные обстоятельства. Впрочем, о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно, и проч., и проч. Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве (как передавали по крайней мере), стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению. В точности не знаю, но как-то так случилось, что с семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не тринадцати лет, перейдя в одну из московских гимназий и на пансион к какому-то опытному и знаменитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Петровича. Сам Иван рассказывал потом, что все произошло, так сказать, от «пылкости к добрым делам» Ефима

Петровича, увлекшегося идеей, что гениальных способностей мальчик должен и воспитываться у гениального воспитателя. Впрочем, ни Ефима Петровича, ни гениального воспитателя уже не было в живых, когда молодой человек, кончив гимназию, поступил в университет. Так как Ефим Петрович плохо распорядился и получение завещанных самодуркой генеральшей собственных детских денег, возросших с тысячи уже на две процентами, замедлилось по разным совершенно неизбежимым у нас формальностям и проволочкам, то молодому человеку в первые его два года в университете пришлось очень солоно, так как он принужден был все это время кормить и содержать себя сам и в то же время учиться. Заметить надо, что он даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, — может быть, из гордости, из презрения к нему, а может быть, вследствие холодного здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было, молодой человек не потерялся нисколько и добился-таки работы, сперва уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статейки в десять строчек об уличных происшествиях,

за подписью «Очевидец». Статейки эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход, и уж в этом одном молодой человек оказал все свое практическое и умственное превосходство над тою многочисленною, вечно нуждающеюся и несчастною частью нашей учащейся молодежи обоего пола, которая в столицах, по обыкновению, с утра до ночи обивает пороги разных газет и журналов, не умея ничего лучше выдумать, кроме вечного повторения одной и той же просьбы о переводах с французского или о переписке. Познакомившись с редакциями, Иван Федорович все время потом не разрывал связей с ними и в последние свои годы в университете стал печатать весьма талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в литературных кружках известен. Впрочем, лишь в самое только последнее время ему удалось случайно обратить на себя вдруг особенное внимание в гораздо большем круге читателей, так что его весьма многие разом тогда отметили и запомнили. Это был довольно любопытный случай. Уже выйдя из университета и приготовляясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну

странную статью, обратившую на себя внимание даже и неспециалистов, и, главное, по предмету, по-видимому, вовсе ему незнакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись и с своей стороны аплодировать. В конце концов некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка. Упоминаю о сем случае особенно потому, что статья эта своевременно проникла и в подгородный знаменитый наш монастырь, где возникшим вопросом о церковном суде вообще интересовались, — проникла и произвела совершенное недоумение. Узнав же имя автора, заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын «вот этого самого Федора Павловича». А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор.

Зачем приехал тогда к нам Иван Федорович, —

я, помню, даже и тогда еще задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокойством. Столь роковой приезд этот, послуживший началом ко стольким последствиям, для меня долго потом, почти всегда, оставался делом неясным. Вообще судя, странно было, что молодой человек, столь ученый, столь гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом, к такому отцу, который всю жизнь его игнорировал, не знал его и не помнил, и хоть не дал бы, конечно, денег ни за что и ни в каком случае, если бы сын у него попросил, но все же всю жизнь боялся, что и сыновья, Иван и Алексей, тоже когда-нибудь придут да и попросят денег. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним месяц и другой, и оба уживаются как не надо лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Миусов, о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас, в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и дивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым

он не без внутренней боли пикировался иногда познаниями. «Он горд, — говорил он нам тогда про него, — всегда добудет себе копейку, у него и теперь есть деньги на заграницу — чего ж ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что во всяком случае отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик и обойтись без него не может, до того ужились!» Это была правда; молодой человек имел даже видимое влияние на старика; тот почти начал его иногда как будто слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен; даже вести себя начал иногда приличнее…

Только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата, Дмитрия Федоровича, которого в первый раз отроду узнал и увидал тоже почти в это же самое время, в этот самый приезд, но с которым, однако же, по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван

Федорович все казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым.

Прибавлю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим, Дмитрием Федоровичем.

Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидали друг друга. Лишь один только младший сын, Алексей Федорович, уже с год пред тем как проживал у нас и попал к нам, таким образом, раньше всех братьев. Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт, именно: будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в ряске послушника. Да, уже с год как проживал он тогда в нашем монастыре и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться.

IV

Третий сын Алеша

Было ему тогда всего двадцать лет (брату его Ивану шел тогда двадцать четвертый год, а старшему их брату, Дмитрию, — двадцать восьмой). Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо — нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, «точно как будто

она стоит предо мной живая». Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице… и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина! Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери: он говорил, что оно было исступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе

даже напротив, а от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за нее как бы забывал других. Но людей он любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости. Явясь по двадцатому году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, бывший когда-то приживальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший («много, дескать, молчит и много про себя рассуждает»), скоро кончил, однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и це-

ловать, не далее как через две какие-нибудь недели, правда с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что полюбив его искренно и глубоко и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он, никого любить…

Да и все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его. Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя, Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя. А между тем он вступил в этот дом еще в таких младенческих летах, в каких никак нельзя ожидать в ребенке расчетливой хитрости, пронырства или искусства заискать и понравиться, уменья заставить себя полюбить. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно. То же самое было с ним и в школе, и, однако же, казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а пожалуй, и ненависть. Он, например, задумывался и как бы отъединялся. Он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать, и, однако же, и товарищи его до того полюбили, что

решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во все время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нем угрюмости, что, напротив, он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся, а между тем мальчики тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то чтоб он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто не считал ее за обиду, и это решительно пленяло и покоряло детей. Была в нем одна лишь черта, которая во всех классах гимназии, начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это было им весело. Черта эта в нем была дикая, исступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и извест-

ных разговоров про женщин. Эти «известные» слова и разговоры, к несчастию, неискоренимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты, мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что «Алешка Карамазов», когда заговорят «про это», быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, не бранясь, молча перенося обиду. Под конец, однако, оставили его в покое и уже не дразнили «девчонкой», мало того, глядели на него в этом смысле с сожалением. Кстати, в классах он всегда стоял по учению из лучших,

но никогда не был отмечен первым.

Когда умер Ефим Петрович, Алеша два года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича, почти тотчас же по смерти его, отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим все из особ женского пола, а Алеша попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал, каким-то дальним родственницам Ефима Петровича, но на каких условиях, он сам того не знал. Характерная тоже, и даже очень, черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату, Ивану Федоровичу, пробедствовавшему два первые года в университете, кормя себя своим трудом, и с самого детства горько почувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий чуть-чуть лишь узнавший его тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его, по первому даже спросу,

или на доброе дело, или, может быть, даже просто ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил. Да и вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Миусов, человек насчет денег и буржуазной честности весьма щекотливый, раз, впоследствии, приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм: «Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а, может быть, напротив, почтут за удовольствие».

В гимназии своей он курса не кончил; ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели

его и не хотели было пускать. Проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы — подарок семейства благодетеля пред отъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами, даже новым платьем и бельем. Он, однако, отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первые расспросы родителя: «Зачем именно пожаловал, не докончив курса?» — прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не по-обыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери. Он даже сам признался было тогда, что затем только и приехал. Но вряд ли этим исчерпывалась вся причина его приезда. Всего вероятнее, что он тогда и сам не знал и не смог бы ни за что объяснить: что именно такое как бы поднялось вдруг из его души и неотразимо повлекло его на какую-то новую, неведомую, но неизбежную уже дорогу. Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никогда не бывал на ее могиле, после того как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тогда хоронили…

К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время

пред тем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, «со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами», а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но «и у евреев был принят». Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное уменье сколачивать и выколачивать деньгу. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Прежние знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте — других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то что по-прежнему, а даже как бы и отвратительнее. Вскорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть, может быть, тысяч до ста или разве немногим только менее. Многие из городских и из уездных обитателей тотчас же ему задолжали, под вернейшие залоги, разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюзг, как-то стал

терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался и все чаще и чаще напивался пьян, и если бы не все тот же лакей Григорий, тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда вроде почти гувернера, то, может быть, Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его: «Знаешь ли ты, — стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, — что ты на нее похож, на кликушу-то?» Так называл он свою покойную жену, мать Алеши. Могилку «кликуши» указал наконец Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную недорогую, но опрятную плиту, на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы, а внизу было даже начертано нечто вроде четырехстишия из старинных, общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилкой бедной «кликуши» и на собствен-

ное иждивение, после того когда Федор Павлович, которому он множество раз уже досаждал напоминаниями об этой могилке, уехал наконец в Одессу, махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности; он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении плиты, постоял понурившись и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть даже во весь год, и не бывал на кладбище. Но на Федора Павловича этот маленький эпизод тоже произвел свое действие, и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не «кликуши», а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. Ввечеру того дня он напился пьян и ругал Алеше монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей; человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил пред образом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у этаких субъектов.

Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике

и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающеюся горбиной: «Настоящий римский, — говорил он, — вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка». Этим он, кажется, гордился.

И вот довольно скоро после обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его и что испрашивает

он у него торжественное позволение как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его «тихого мальчика» особенное впечатление.

— Этот старец, конечно, у них самый честный монах, — промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. — Гм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик! — Он был вполпьяна и вдруг улыбнулся своею длинною, полупьяною, но не лишенною хитрости и пьяного лукавства улыбкою. — Гм, а ведь я так и предчувствовал, что ты чем-нибудь вот этаким кончишь, можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тысчоночки, вот тебе и приданое, а я тебя, мой ангел, никогда не оставлю, да и теперь внесу за тебя что там следует, если спросят. Ну, а если не спросят, к чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег, что канарейка, тратишь, по два зернышка в недельку… Гм. Знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только «монастырские жены» живут, так их там называют, штук тридцать жен, я думаю… Я там был, и, знаешь, интересно, в своем роде разумеется, в смысле разнообра-

зия. Скверно тем только, что русизм ужасный, француженок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные. Проведают — приедут. Ну, а здесь ничего, здесь нет монастырских жен, а монахов штук двести. Честно. Постники. Сознаюсь… Гм. Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, веришь ли, я тебя полюбил… Впрочем, вот и удобный случай: помолишься за нас, грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрешили. Я все помышлял о том: кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты, может быть, не веришь? Ужасно. Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански то есть. А в сущности ведь не все ли равно: с потолком или без потолка? Ведь вот

вопрос-то проклятый в чем заключается! Ну, а коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть, и все побоку, значит, опять невероятно: кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Il faudrait les inventer[1], эти крючья, для меня нарочно, для меня одного, потому что если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!..

— Да, там нет крючьев, — тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша.

— Так, так, одни только тени крючьев. Знаю, знаю. Это как один француз описывал ад: «J'ai vu l'ombre d'un cocher, qui avec l'ombre d'une brosse frottait l'ombre d'une carrosse»[2]. Ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючьев? Побудешь у монахов, не то запоешь. А впрочем, ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать: все же идти на тот свет будет легче, коли наверно знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой да с девчонками… хоть до тебя, как до ангела,

---

[1] Сноски: 1

Их следовало бы выдумать (*фр.*).

[2] Сноски: 2

«Я видел тень кучера, которая тенью щетки чистила тень кареты» (*фр.*).

ничего не коснется. Ну авось и там до тебя ничего не коснется, вот ведь я почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не черт съел. Погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь. А я тебя буду ждать: ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!..

И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.

V

Старцы

Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человечек. Напротив, Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами,

весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу».

Скажут, может быть, что Алеша был туп, неразвит, не кончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастию, не понимают эти юноши, что жертва жизнию есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, — такая жертва сплошь да рядом

для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю). Алеше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай все и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо „всего“ два рубля, а вместо „иди за мной“ ходить лишь к обедне». Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому

его протягивала его кликуша-мать. Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть: всё ли тут или и тут только два рубля, и — в монастыре встретил этого старца…

Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима; но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще «старцы» в наших монастырях, и вот жаль, что чувствую себя на этой дороге не довольно компетентным и твердым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя установление это забылось у нас и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников (как называют его) Паи-

сием Величковским и учениками его, но и доселе, даже через сто почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним, но и он уже почти помирал от слабости и болезней, а заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит: в нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашею историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за тысяч верст. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в пол-

ное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, — не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное «послушание», всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвизающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую страну, из Сирии в Египет. Там после долгих и великих подвигов сподобился наконец претерпеть истязания и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хоронила тело его, уже чтя его как святого, то вдруг при возгласе диакона: «Оглашенные, изыдите!» — гроб

с лежащим в нем телом мученика сорвался с места и был извергнут из храма, и так до трех раз. И наконец лишь узнали, что этот святой страстотерпец нарушил послушание и ушел от своего старца, а потому без разрешения старца не мог быть и прощен, даже несмотря на свои великие подвиги. Но когда призванный старец разрешил его от послушания, тогда лишь могло совершиться и погребение его. Конечно, все это лишь древняя легенда, но вот и недавняя быль: один из наших современных иноков спасался на Афоне, и вдруг старец его повелел ему оставить Афон, который он излюбил как святыню, как тихое пристанище, до глубины души своей, и идти сначала в Иерусалим на поклонение святым местам, а потом обратно в Россию, на север, в Сибирь: «Там тебе место, а не здесь». Пораженный и убитый горем монах явился в Константинополь ко вселенскому патриарху и молил разрешить его послушание, и вот вселенский владыко ответил ему, что не только он, патриарх вселенский, не может разрешить его, но и на всей земле нет, да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким обра-

зом, старчество одарено властью в известных случаях беспредельною и непостижимою. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонением. Между тем старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. К старцам нашего монастыря стекались, например, и простолюдины и самые знатные люди, с тем чтобы, повергаясь пред ними, исповедовать им свои сомнения, свои грехи, свои страдания и испросить совета и наставления. Видя это, противники старцев кричали, вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди, хотя беспрерывное исповедование своей души старцу послушником его или светским производится совсем не как таинство. Кончилось, однако, тем, что старчество удержалось и мало-помалу по русским монастырям водворяется. Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе.

Старец Зосима был лет шестидесяти пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан, мог выходить куда угодно хоть на целые дни, и если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Но уж конечно это ему и самому нравилось. Может быть, на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала беспрерывно его старца. Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда

пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и, кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит. Из монахов находились, даже и под самый конец жизни старца, ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало, и они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц, как например один из древнейших иноков, великий молчальник и необычайный постник. Но все-таки огромное большинство держало уже несомненно сторону старца Зосимы, а из них очень многие даже любили его всем сердцем, горячо и искренно; некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. Такие прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух, что он святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя

близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша, точно так же, как беспрекословно верил и рассказу о вылетавшем из церкви гробе. Он видел, как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и молившихся, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались вскорости, а иные так и на другой же день, обратно и, падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле или только естественное улучшение в ходе болезни — для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа, нарочно, чтобы видеть старца и благословиться у него, стекавшегося со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных

кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезни он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по нескольку дней. Для Алеши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят, за что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: «Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано». Знал Алеша, что так именно и чувствует и даже рассуждает народ, он понимал это, но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, — в этом он не сомневался нисколько и сам вместе

с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец, почивши, доставит необычайную славу монастырю, царило в душе Алеши, может быть, даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. И вообще все это последнее время какой-то глубокий, пламенный внутренний восторг все сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей: «Все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии и наступит настоящее царство Христово». Вот о чем грезилось сердцу Алеши.

Кажется, что на Алешу произвел сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Федоровичем он сошелся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим (единоутробным) братом своим, Иваном Федоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана, но вот тот уже жил два месяца, а они хоть и виделись

довольно часто, но все еще никак не сходились: Алеша был и сам молчалив и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то, а брат Иван, хотя Алеша и подметил вначале на себе его длинные и любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нем. Алеша заметил это с некоторым смущением. Он приписал равнодушие брата разнице в их летах и в особенности в образовании. Но думал Алеша и другое: столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алеше неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно. Задумывался Алеша и о том: не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику, от ученого атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист. Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог, но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе. Брат Дмитрий Федорович отзывался о брате Иване с глубочайшим уважением, с каким-то особым

проникновением говорил о нем. От него же узнал Алеша все подробности того важного дела, которое связало в последнее время обоих старших братьев замечательною и тесною связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване были тем характернее в глазах Алеши, что брат Дмитрий был человек в сравнении с Иваном почти вовсе необразованный, и оба, поставленные вместе один с другим, составляли, казалось, такую яркую противоположность как личности и характеры, что, может быть, нельзя бы было и придумать двух человек несходнее между собой.

Вот в это-то время и состоялось свидание, или, лучше сказать, семейная сходка, всех членов этого нестройного семейства в келье старца, имевшая чрезвычайное влияние на Алешу. Предлог к этой сходке, по-настоящему, был фальшивый. Тогда именно несогласия по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его, Федором Павловичем, дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Павлович, кажется, первый и, кажется, шутя подал мысль о том, чтобы сойтись всем в келье старца Зосимы и, хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сгово-

риться приличнее, причем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший и даже не видавший его, конечно, подумал, что старцем его хотят как бы испугать; но так как он и сам укорял себя втайне за многие особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то и принял вызов. Кстати заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно, в другом конце города. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Либерал сороковых и пятидесятых годов, вольнодумец и атеист, он, от скуки, может быть, а может быть, для легкомысленной потехи, принял в этом деле чрезвычайное участие. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на «святого». Так как все еще продолжались его давние споры с монастырем и все еще тянулась тяжба о позе-мельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и проч., то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом: нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно? Посетителя с такими благими

намерениями, конечно, могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех сих соображений и могло устроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшего по болезни даже обыкновенным посетителям. Кончилось тем, что старец дал согласие и день был назначен. «Кто меня поставил делить между ними?» — заявил он только с улыбкой Алеше.

Узнав о свидании, Алеша очень смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререкающихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то, без сомнения, один только брат Дмитрий; остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца, может быть, оскорбительных — вот что понимал Алеша. Брат Иван и Миусов приедут из любопытства, может быть самого грубого, а отец его, может быть, для какой-нибудь шутовской и актерской сцены. О, Алеша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца. Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжелым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя, в сердце своем, о том,

чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее самая главная забота его была о старце: он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек Миусова и недомолвок свысока ученого Ивана, так это все представлялось ему. Он даже хотел рискнуть предупредить старца, сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах, но подумал и промолчал. Передал только накануне назначенного дня чрез одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждет от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, что бы такое ему обещал, ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит «пред низостью», и хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убежден, что тут или какая-нибудь ему ловушка, или недостойная комедия. «Тем не менее скорее проглочу свой язык, чем манкирую уважением к святому мужу, тобою столь уважаемому», — закончил Дмитрий свое письмецо. Алешу оно не весьма ободрило.

Книга вторая. Неуместное собрание



I

Приехали в монастырь

Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем условлено было сейчас после поздней обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители монастыря к обедне, однако, не пожаловали, а приехали ровно к шапочному разбору. Приехали они в двух экипажах; в первом экипаже, в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком, лет двадцати, Петром Фомичом Калгановым. Этот молодой человек готовился поступить в университет; Миусов же, у которого он почему-то пока жил, соблазнял

его с собою за границу, в Цюрих или в Иену, чтобы там поступить в университет и окончить курс. Молодой человек еще не решился. Он был задумчив и как бы рассеян. Лицо его было приятное, сложение крепкое, рост довольно высокий. Во взгляде его случалась странная неподвижность: подобно всем очень рассеянным людям, он глядел на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не видел. Был он молчалив и несколько неловок, но бывало, — впрочем не иначе как с кем-нибудь один на один, что он вдруг станет ужасно разговорчив, порывист, смешлив, смеясь бог знает иногда чему. Но одушевление его столь же быстро и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось. Был он одет всегда хорошо и даже изысканно: он уже имел некоторое независимое состояние и ожидал еще гораздо большего. С Алешей был приятелем.

В весьма ветхой, дребезжащей, но вместительной извозчичьей коляске, на паре старых сиво-розовых лошадей, сильно отставáвших от коляски Миусова, подъехали и Федор Павлович с сынком своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был и час и срок, но он запоздал. Посетители оставили экипажи у ограды, в гостинице, и вошли

в монастырские ворота пешком. Кроме Федора Павловича, остальные трое, кажется, никогда не видали никакого монастыря, а Миусов так лет тридцать, может быть, и в церкви не был. Он озирался с некоторым любопытством, не лишенным некоторой напущенной на себя развязности. Но для наблюдательного его ума, кроме церковных и хозяйственных построек, весьма, впрочем, обыкновенных, во внутренности монастыря ничего не представлялось. Проходил последний народ из церкви, снимая шапки и крестясь. Между простонародьем встречались и приезжие более высшего общества, две-три дамы, один очень старый генерал; все они стояли в гостинице. Нищие обступили наших посетителей тотчас же, но им никто ничего не дал. Только Петруша Калганов вынул из портмоне гривенник и, заторопившись и сконфузившись бог знает отчего, поскорее сунул одной бабе, быстро проговорив: «Разделить поровну». Никто ему на это ничего из его сопутников не заметил, так что нечего было ему конфузиться; но, заметив это, он еще больше сконфузился.

Было, однако, странно; их по-настоящему должны бы были ждать и, может быть, с некоторым даже почетом: один недавно еще тысячу рублей

пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим, так сказать, человеком, от которого все они тут отчасти зависели по поводу ловель рыбы в реке, вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот, однако ж, никто из официальных лиц их не встречает. Миусов рассеянно смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти, должно быть, обошлись дорогонько хоронившим за право хоронить в таком «святом» месте, но промолчал: простая либеральная ирония перерождалась в нем почти что уж в гнев.

— Черт, у кого здесь, однако, спросить, в этой бестолковщине… Это нужно бы решить, потому что время уходит, — промолвил он вдруг, как бы говоря про себя.

Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещиком Максимовым. Он мигом вошел в заботу наших путников.

— Старец Зосима живет в скиту, в скиту наглухо, шагов четыреста от монастыря, через лесок, через лесок…

— Это и я знаю-с, что через лесок, — ответил

ему Федор Павлович, — да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали.

— А вот в эти врата, и прямо леском… леском. Пойдемте. Не угодно ли… мне самому… я сам… Вот сюда, сюда…

Они вышли из врат и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет шестидесяти, не то что шел, а, лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое.

— Видите ли, мы к этому старцу по своему делу, — заметил строго Миусов, — мы, так сказать, получили аудиенцию «у сего лица», а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе.

— Я был, был, я уже был… Un chevalier parfait![3] — и помещик пустил на воздух щелчок пальцем.

— Кто это chevalier[4]? — спросил Миусов.

— Старец, великолепный старец, старец… Честь и слава монастырю. Зосима. Это такой старец…

Но беспорядочную речь его перебил догнав-

---

[3] Сноски: 3
Рыцарь — и притом совершенный! (*фр.*)

[4] Сноски: 4
Рыцарь (*фр.*).

ший путников монашек, в клобуке, невысокого росту, очень бледный и испитой. Федор Павлович и Миусов остановились. Монах с чрезвычайно вежливым, почти поясным поклоном произнес:

— Отец игумен, после посещения вашего вските, покорнейше просит вас всех, господа, у него откушать. У него в час, не позже. И вас также, — обратился он к Максимову.

— Это я непременно исполню! — вскричал Федор Павлович, ужасно обрадовавшись приглашению, — непременно. И знаете, мы все дали слово вести себя здесь порядочно… А вы, Петр Александрович, пожалуете?

— Да еще же бы нет? Да я зачем же сюда и приехал, как не видеть все их здешние обычаи. Я одним только затрудняюсь, именно тем, что я теперь с вами, Федор Павлович…

— Да, Дмитрия Федоровича еще не существует.

— Да и отлично бы было, если б он манкировал, мне приятно, что ли, вся эта ваша мазня, да еще с вами на придачу? Так к обеду будем, поблагодарите отца игумена, — обратился он к монашку.

— Нет, уж я вас обязан руководить к самому старцу, — ответил монах.

— А я, коль так, к отцу игумену, я тем временем прямо к отцу игумену, — защебетал помещик

Максимов.

— Отец игумен в настоящий час занят, но как вам будет угодно… — нерешительно произнес монах.

— Преназойливый старичишка, — заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю.

— На фон Зона похож, — проговорил вдруг Федор Павлович.

— Вы только это и знаете… С чего он похож на фон Зона? Вы сами-то видели фон Зона?

— Его карточку видел. Хоть не чертами лица, так чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон Зона. Я это всегда по одной только физиономии узнаю.

— А пожалуй; вы в этом знаток. Только вот что, Федор Павлович, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично, помните. Говорю вам, удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили… Видите, какой человек, — обратился он к монаху, — я вот с ним боюсь входить к порядочным людям.

На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчальная улыбочка, не без хитрости в своем роде, но он ничего не ответил,

и слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства. Миусов еще больше наморщился.

«О, черт их всех дери, веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!» — пронеслось у него в голове.

— Вот и скит, дошли! — крикнул Федор Павлович, — ограда и врата запертые.

И он пустился класть большие кресты пред святыми, написанными над вратами и сбоку врат.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — заметил он. — Всех здесь в скиту двадцать пять святых спасаются, друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти врата не войдет, вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так. Только как же я слышал, что старец дам принимает? — обратился он вдруг к монашку.

— Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там, лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галерее, но вне ограды, две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, госпожа Хохлакова, дожидается со своею расслабленною

дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последние времена столь расслабел, что и к народу едва появляется.

— Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали ль, не только посещения женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек…

— Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю.

— А чем я вам мешаю, Петр Александрович. Посмотрите-ка, — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита, — посмотрите, в какой они долине роз проживают!

Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей пред входом, был тоже обсажен цветами.

— А было ль это при предыдущем старце, Вар-

сонофии? Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол, — заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко.

— Старец Варсонофий действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. Палкой же никогда и никого не бивал, — ответил монашек. — Теперь, господа, минутку повремените, я о вас повещу.

— Федор Павлович, в последний раз условие, слышите. Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу, — успел еще раз пробормотать Миусов.

— Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении, — насмешливо заметил Федор Павлович, — али грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже, вот что!

Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошел он несколько раздраженный…

«Ну, теперь заране себя знаю, раздражен, заспорю… начну горячиться — и себя и идею унижу», — мелькнуло у него в голове.

II

Старый шут

Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один — отец библиотекарь, а другой — отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того, ожидал, стоя в уголку (и все время потом оставался стоя), молодой паренек, лет двадцати двух на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братиею. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо им не равное, а, напротив, подведомственное и зависимое.

Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись

и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусову, однако, показалось, что все делается с намеренным внушением. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей. Следовало бы, — и он даже обдумывал это еще вчера вечером, — несмотря ни на какие идеи, единственно из простой вежливости (так как уж здесь такие обычаи), подойти и благословиться у старца, по крайней мере хоть благословиться, если уж не целовать руку. Но, увидя теперь все эти поклоны и лобызания иеромонахов, он в одну секунду переменил решение: важно и серьезно отдал он довольно глубокий, по-светскому, поклон и отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Павлович, на этот раз как обезьяна совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам, а Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец

опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щеки Алеши; ему стало стыдно. Сбывались его дурные предчувствия.

Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик, очень старинной постройки, а гостей, кроме обоих иеромонахов, поместил у противоположной стены, всех четверых рядышком, на четырех красного дерева обитых черною сильно протершеюся кожей стульях. Иеромонахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алеша и послушник оставались стоя. Вся келья была очень необширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон — одна из них Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa[5] и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых

[5] Сноски: 5
Скорбящая Богоматерь (*лат.*).

столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим стенам. Миусов бегло окинул всю эту «казенщину» и пристальным взглядом уперся в старца. Он уважал свой взгляд, имел эту слабость, во всяком случае в нем простительную, приняв в соображение, что было ему уже пятьдесят лет — возраст, в который умный светский и обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже поневоле.

С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле, было что-то в лице старца, что многим бы, и кроме Миусова, не понравилось. Это был невысокий сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере лет на десять. Все лицо его, впрочем очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие

точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, бородка была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся, — тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички.

«По всем признакам злобная и мелко-надменная душонка», — пролетело в голове Миусова. Вообще он был очень недоволен собой.

Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно двенадцать.

— Ровнешенько настоящий час, — вскричал Федор Павлович, — а сына моего Дмитрия Федоровича все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец! (Алеша весь так и вздрогнул от «священного старца».) Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей…

— Но ведь вы по крайней мере не король, — пробормотал, сразу не удержавшись, Миусов.

— Да, это так, не король. И представьте, Петр Александрович, ведь это я и сам знал, ей-богу! И вот всегда-то я так некстати скажу! Ваше преподобие! — воскликнул он с каким-то мгновенным пафосом. — Вы видите пред собою шута, шута воистину! Так и рекомендуюсь. Старая при-

вычка, увы! А что некстати иногда вру, так это даже с намерением, с намерением рассмешить и приятным быть. Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а я кой с какими купчишками завязал было компаньишку. Идем к исправнику, потому что его надо было кой о чем попросить и откушать к нам позвать. Выходит исправник, высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек, — самые опасные в таких случаях субъекты: печень у них, печень. Я к нему прямо, и знаете, с развязностию светского человека: «Господин исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, Направником!» — «Каким это, говорит, Направником?» Я уж вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело, стоит серьезный, уперся: «Я, говорю, пошутить желал, для общей веселости, так как господин Направник известный наш русский капельмейстер, а нам именно нужно для гармонии нашего предприятия вроде как бы тоже капельмейстера…» И резонно ведь разъяснил и сравнил, не правда ли? «Извините, говорит, я исправник и каламбуров из звания моего строить не позволю». Повернулся и уходит. Я за ним, кричу: «Да, да, вы исправник, а не Направник!» — «Нет, говорит, уж коль сказано, так,

значит, я Направник». И представьте, ведь дело-то наше расстроилось! И все-то я так, всегда-то я так. Непременно-то я своею же любезностью себе наврежу! Раз, много лет уже тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу: «Ваша супруга щекотливая женщина-с», — в смысле то есть чести, так сказать нравственных качеств, а он мне вдруг на то: «А вы ее щекотали?» Не удержался, вдруг, дай, думаю, полюбезничаю: «Да, говорю, щекотал-с» — ну тут он меня и пощекотал… Только давно уж это произошло, так что уж не стыдно и рассказать; вечно-то я так себе наврежу!

— Вы это и теперь делаете, — с отвращением пробормотал Миусов.

Старец молча разглядывал того и другого.

— Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович, и даже, знаете, предчувствовал, что делаю, только что стал говорить, и даже, знаете, предчувствовал, что вы мне первый это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают, почти как бы судорога делается; это у меня еще с юности, как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной, с рождения, все равно, ваше преподобие, что

юродивый; не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается, небольшого, впрочем, калибра, поважнее-то другую бы квартиру выбрал, только не вашу, Петр Александрович, и вы ведь квартира неважная. Но зато я верую, в Бога верую. Я только в последнее время усумнился, но зато теперь сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: «Нет Бога». На что великий святитель подымает перст и отвечает: «Рече безумец в сердце своем несть Бог!» Тот как был, так и в ноги: «Верую, кричит, и крещенье принимаю». Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом…

— Федор Павлович, это несносно! Ведь вы сами знаете, что вы врете и что этот глупый анекдот неправда, к чему вы ломаетесь? — дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, Миусов.

— Всю жизнь предчувствовал, что неправда! — с увлечением воскликнул Федор Павлович. — Я вам, господа, зато всю правду скажу: старец великий! простите, я последнее, о крещении-то

Дидерота, сам сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал, а прежде никогда и в голову не приходило. Для пикантности присочинил. Для того и ломаюсь, Петр Александрович, чтобы милее быть. А впрочем, и сам не знаю иногда для чего. А что до Дидерота, так я этого «рече безумца» раз двадцать от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал, как у них проживал; от вашей тетеньки, Петр Александрович, Мавры Фоминишны тоже, между прочим, слышал. Все-то они до сих пор уверены, что безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о Боге приходил…

Миусов встал, не только потеряв терпение, но даже как бы забывшись. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в келье происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть уже сорок или пятьдесят лет, еще при прежних старцах, собирались посетители, всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из «высших» даже лиц и даже из ученейших, мало того, некото-

рые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность, все до единого, глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания, тем более что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой — покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях, по крайней мере в некоторых из них, недоумение и удивление. Иеромонахи, впрочем нисколько не изменившие своих физиономий, с серьезным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, готовились уже встать, как Миусов. Алеша готов был заплакать и стоял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственно на которого он надеялся и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и по-видимому с каким-то даже любознательным любопытством

ожидал, чем это все кончится, точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина (семинариста), тоже Алеше очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог: он знал его мысли (хотя знал их один Алеша во всем монастыре).

— Простите меня… — начал Миусов, обращаясь к старцу, — что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности… Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь…

Петр Александрович не договорил и, совсем сконфузившись, хотел было уже выйти из комнаты.

— Не беспокойтесь, прошу вас, — привстал вдруг с своего места на свои хилые ноги старец и, взяв за обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресла. — Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем, — и с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик.

— Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моею живостью или нет? — вскричал вдруг Федор

Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом.

— Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться, — внушительно проговорил ему старец… — Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит.

— Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много, но — с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте… до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Александрович, говорю, а вам, святейшее существо, вот что вам: восторг изливаю! — Он привстал и, подняв вверх руки, произнес: — Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие, — сосцы особенно! Вы меня сейчас замечанием вашим: «Не стыдиться столь самого себя, потому что от сего лишь все и выходит», — вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли.

Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот «давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!» Вот потому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда. От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, — господи! какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! — повергся он вдруг на колени, — что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? — Трудно было и теперь решить: шутит он или в самом деле в таком умилении?

Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес:

— Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное — не лгите.

— То есть это про Дидерота, что ли?

— Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную

ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, — знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной… Да встаньте же, сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты…

— Блаженный человек! Дайте ручку поцеловать, — подскочил Федор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. — Именно, именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще. Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности,

для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть; — вот что вы забыли, великий старец: красиво! Это я в книжку запишу! А лгал я, лгал, решительно всю жизнь мою, на всяк день и час. Воистину ложь есмь и отец лжи! Впрочем, кажется, не отец лжи, это я все в текстах сбиваюсь, ну хоть сын лжи, и того будет довольно. Только… ангел вы мой… про Дидерота иногда можно! Дидерот не повредит, а вот иное словцо повредит. Старец великий, кстати, вот было забыл, а ведь так и положил, еще с третьего года, здесь справиться, именно заехать сюда и настоятельно разузнать и спросить: не прикажите только Петру Александровичу прерывать. Вот что спрошу: справедливо ли, отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и «любезно ее лобызаше», и долго шел, неся ее в руках, и «любезно ее лобызаше». Справедливо это или нет, отцы честные?

— Нет, несправедливо, — сказал старец.

— Ничего подобного во всех Четьих-Минеях не существует. Про какого это святого, вы говорите, так написано? — спросил иеромонах, отец

библиотекарь.

— Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили. Слышал, и знаете кто рассказал? А вот Петр Александрович Миусов, вот что за Дидерота сейчас рассердился, вот он-то и рассказал.

— Никогда я вам этого не рассказывал, я с вами и не говорю никогда вовсе.

— Правда, вы не мне рассказывали; но вы рассказывали в компании, где и я находился, четвертого года это дело было. Я потому и упомянул, что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о сем, не ведали, а я воротился домой с потрясенною верой и с тех пор все более и более сотрясаюсь. Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной! Это уж не Дидерот-с!

Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен.

— Какой вздор, и все это вздор, — бормотал он. — Я действительно, может быть, говорил когда-то… только не вам. Мне самому говорили. Я это в Париже слышал, от одного француза, что будто бы у нас в Четьи-Минеи это за обедней

читают… Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России… долго жил в России… Я сам Четьи-Минеи не читал… да и не стану читать… Мало ли что болтается за обедом?.. Мы тогда обедали…

— Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял! — поддразнивал Федор Павлович.

— Какое мне дело до вашей веры! — крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя, с презрением проговорив: — Вы буквально мараете все, к чему ни прикоснетесь.

Старец вдруг поднялся с места:

— Простите, господа, что оставляю вас пока на несколько лишь минут, — проговорил он, обращаясь ко всем посетителям, — но меня ждут еще раньше вашего прибывшие. А вы все-таки не лгите, — прибавил он, обратившись к Федору Павловичу с веселым лицом.

Он пошел из кельи, Алеша и послушник бросились, чтобы свести его с лестницы. Алеша задыхался, он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галерее, чтобы благословить ожидавших его. Но Федор Павлович все-таки остановил его в дверях кельи.

— Блаженнейший человек! — вскричал он

с чувством, — позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать! Нет, с вами еще можно говорить, можно жить! Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал, можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю: можно с вами жить! А теперь молчу, на все время умолкаю. Сяду в кресло и замолчу. Теперь вам, Петр Александрович, говорить, вы теперь самый главный человек остались… на десять минут.

III

Верующие бабы

Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз всё женщины, баб около двадцати. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две: мать и дочь. Госпожа Хохлакова-мать, дама богатая и всегда со вкусом

одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более тридцати трех лет, и она уже лет пять как была вдовой. Четырнадцатилетняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз, три дня тому назад, посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уже не может вовсе никого принимать, и, настоятельно умоляя, просили еще раз «счастья узреть великого исцелителя».

В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле, подле кресел дочери, а в двух шагах от нее стоял старик монах, не из здешнего монастыря, а захожий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галерее

старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о трех ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему одну кликушу за обе руки. Та, едва лишь завидела старца, вдруг начала, как-то нелепо взвизгивая, икать и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову эпитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по-собачьи на всю церковь, но, когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас «беснование» прекращалось и больные на несколько времени всегда успокоивались. Меня, ребенка, очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих, на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащею строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специали-

стов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, и кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов; кроме того, от безвыходного горя, от побоев и проч., чего иные женские натуры выносить по общему примеру все-таки не могут. Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь, бывало, ее подведут к дарам, которое объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими «клерикалами», происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее, больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило (и должно было происходить) в нервной и, конечно, тоже психически больной женщине непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами, сотрясение, вызванное ожиданием

непременного чуда исцеления и самою полною верой в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось, едва лишь старец накрыл больную эпитрахилью.

Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты; другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал, ее привели не издалека, из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему.

— А вот далекая! — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное.

— Издалека, батюшка, издалека, отселева триста верст. Издалека, отец, издалека, — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она как бы причитывая. Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе

и надорванное: оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывания. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более растравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать беспрерывно рану.

— По мещанству, надоть быть? — продолжал, любопытно в нее вглядываясь, старец.

— Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городу проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне: «Зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам то есть, голубчик, к вам». Пришла, вчера у стояния была, а сегодня и к вам.

— О чем плачешь-то?

— Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схо-

ронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему: отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедные мы, отец, не бедные, сами от себя извоз ведем, все свое содержим, и лошадок и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой, это наверно что так, да и прежде того: чуть я отвернусь, а уж он и ослабеет. А теперь и о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу; а и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе!

— Вот что, мать, — проговорил старец, — однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал Господь. «Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в Царствии Небесном: ты, Господи,

даровал нам жизнь, говорят они Богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, — молвил святой, — и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает». Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой и неправды ей поведать не мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец наверно теперь предстоит пред престолом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся.

Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула.

— Тем самым и Никитушка меня утешал, в одно слово, как ты, говорил: «Неразумная ты, говорит, чего плачешь, сыночек наш наверно теперь у Господа Бога вместе с ангелами воспевает». Говорит он это мне, а и сам плачет, вижу я, как и я же, плачет. «Знаю я, говорю, Никитушка, где ж ему и быть, коль не у Господа Бога, только здесь-то, с нами-то его теперь, Никитушка, нет, подле-то, вот как прежде сидел!» И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть, и не подошла бы

к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только б услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто, помню, как, бывало, бежит ко мне, кричит да смеется, только б я его ножки-то услышала, услышала бы, признала! Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда! Вот его поясочек, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его!..

Она вынула из-за пазухи маленький позументный поясочек своего мальчика и, только лишь взглянула на него, так и затряслась от рыданий, закрыв пальцами глаза свои, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем слезы.

— А это, — проговорил старец, — это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет», и таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой — есть единый от ангелов Божиих — оттуда на тебя

смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то?

— Алексеем, батюшка.

— Имя-то милое. На Алексея человека Божия?

— Божия, батюшка, Божия, Алексея человека Божия!

— Святой-то какой! Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас; зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки; и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? К кому ж он придет, коль вас вместе, отца с матерью, не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай.

— Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал. Никитушка, ты мой Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь! — начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не по-страннически, а по-городски. По глазам ее видно было, что у нее какое-то дело и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерскою вдовой, не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней Васенька, где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал, в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уже год писать перестал. Справлялась она о нем, да, по правде, не знает, где и справиться-то.

— Только и говорит мне намедни Степанида Ильинишна Бедрягина, купчиха она, богатая: возьми ты, говорит, Прохоровна, и запиши ты, говорит, сыночка своего в поминанье, снеси в церковь, да и помяни за упокой. Душа-то его, говорит, затоскует, он и напишет письмо. «И это, — говорит Степанида Ильинишна, — как есть верно, многократно испытано». Да только я сумлеваюсь… Свет ты наш, правда оно аль неправда, и хорошо ли так будет?

— И не думай о сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу да еще

родная мать за упокой поминала! Это великий грех, колдовству подобно, только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли Царицу Небесную, скорую заступницу и помощницу, о здоровье его, да чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое. И вот что я тебе еще скажу, Прохоровна: или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или наверно письмо пришлет. Так ты и знай. Ступай и отселе покойна будь. Жив твой сынок, говорю тебе.

— Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты наш, молебщик ты за всех нас и за грехи наши…

А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда изнуренной, на вид чахоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться.

— Ты с чем, родненькая?

— Разреши мою душу, родимый, — тихо и не спеша промолвила она, стала на колени и поклонилась ему в ноги. — Согрешила, отец родной, греха моего боюсь.

Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен.

— Вдовею я, третий год, — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. — Тяжело было замужем-то, старый был он, больно избил меня. Лежал он больной; думаю я, гляжу на него: а коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль…

— Постой, — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро.

— Третий год? — спросил старец.

— Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала, тоска пристала.

— Издалека?

— За пятьсот верст отселева.

— На исповеди говорила?

— Говорила, по два раза говорила.

— Допустили к причастию-то?

— Допустили. Боюсь; помирать боюсь.

— Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе — и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью

любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примирись с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья… Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог. Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся.

Он перекрестил ее три раза, снял с своей шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребеночком на руках.

— Из Вышегорья, милый.

— Шесть верст, однако, отсюда, с ребеночком томилась. Чего тебе?

— На тебя глянуть пришла. Я ведь у тебя бывала, аль забыл? Не велика же в тебе память, коли уж меня забыл. Сказали у нас, что ты хворый, думаю, что ж, я пойду его сама повидаю: вот и вижу тебя, да какой же ты хворый? Еще двадцать лет проживешь, право, Бог с тобою! Да и мало ли за тебя молебщиков, тебе ль хворать?

— Спасибо тебе за все, милая.

— Кстати будет просьбица моя невеликая: вот тут шестьдесят копеек, отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и думаю: лучше уж чрез него подам, уж он знает, которой отдать.

— Спасибо, милая, спасибо, добрая. Люблю тебя. Непременно исполню. Девочка на руках-то?

— Девочка, свет, Лизавета.

— Благослови Господь вас обеих, и тебя и младенца Лизавету. Развеселила ты мое сердце, мать. Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные.

Он всех благословил и глубоко всем поклонился.

IV

Маловерная дама

Приезжая дама помещица, взирая на всю сцену

разговора с простонародьем и благословения его, проливала тихие слезы и утирала их платочком. Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми. Когда старец подошел наконец и к ней, она встретила его восторженно:

— Я столько, столько вынесла, смотря на всю эту умилительную сцену… — не договорила она от волнения. — О, я понимаю, что вас любит народ, я сама люблю народ, я желаю его любить, да и как не любить народ, наш прекрасный, простодушный в своем величии русский народ!

— Как здоровье вашей дочери? Вы опять пожелали со мною беседовать?

— О, я настоятельно просила, я умоляла, я готова была на колени стать и стоять на коленях хоть три дня пред вашими окнами, пока бы вы меня впустили. Мы приехали к вам, великий исцелитель, чтобы высказать всю нашу восторженную благодарность. Ведь вы Лизу мою исцелили, исцелили совершенно, а чем? — тем, что в четверг помолились над нею, возложили на нее ваши руки. Мы облобызать эти руки спешили, излить наши чувства и наше благоговение!

— Как так исцелил? Ведь она все еще в кресле лежит?

— Но ночные лихорадки совершенно исчезли, вот уже двое суток, с самого четверга, — нервно заспешила дама. — Мало того: у ней ноги окрепли. Сегодня утром она встала здоровая, она спала всю ночь, посмотрите на ее румянец, на ее светящиеся глазки. То все плакала, а теперь смеется, весела, радостна. Сегодня непременно требовала, чтоб ее поставили на ноги постоять, и она целую минуту простояла сама, безо всякой поддержки. Она бьется со мной об заклад, что через две недели будет кадриль танцевать. Я призывала здешнего доктора Герценштубе; он пожимает плечами и говорит: дивлюсь, недоумеваю. И вы хотите, чтобы мы не беспокоили вас, могли не лететь сюда, не благодарить? Lise, благодари же, благодари!

Миленькое, смеющееся личико Lise сделалось было вдруг серьезным, она приподнялась в креслах, сколько могла, и, смотря на старца, сложила пред ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг рассмеялась…

— Это я на него, на него! — указала она на Алешу, с детской досадой на себя за то, что не вытерпела и рассмеялась. Кто бы посмотрел на Алешу, стоявшего на шаг позади старца, тот заметил бы в его лице быструю краску, в один миг заливщую

его щеки. Глаза его сверкнули и потупились.

— У ней к вам, Алексей Федорович, поручение… Как ваше здоровье, — продолжала маменька, обращаясь вдруг к Алеше и протягивая к нему свою прелестно гантированную ручку. Старец оглянулся и вдруг внимательно посмотрел на Алешу. Тот приблизился к Лизе и, как-то странно и неловко усмехаясь, протянул и ей руку. Lise сделала важную физиономию.

— Катерина Ивановна присылает вам чрез меня вот это, — подала она ему маленькое письмецо. — Она особенно просит, чтобы вы зашли к ней, да поскорей, поскорей, и чтобы не обманывать, а непременно прийти.

— Она меня просит зайти? К ней меня… Зачем же? — с глубоким удивлением пробормотал Алеша. Лицо его вдруг стало совсем озабоченное.

— О, это все по поводу Дмитрия Федоровича и… всех этих последних происшествий, — бегло пояснила мамаша. — Катерина Ивановна остановилась теперь на одном решении… но для этого ей непременно надо вас видеть… зачем? Конечно не знаю, но она просила как можно скорей. И вы это сделаете, наверно сделаете, тут даже христианское чувство велит.

— Я видел ее всего только один раз, — продол-

жал все в том же недоумении Алеша.

— О, это такое высокое, такое недостижимое существо!.. Уж по одним страданиям своим... Сообразите, что она вынесла, что она теперь выносит, сообразите, что ее ожидает... все это ужасно, ужасно!

— Хорошо, я приду, — решил Алеша, пробежав коротенькую и загадочную записочку, в которой, кроме убедительной просьбы прийти, не было никаких пояснений.

— Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет, — вдруг, вся одушевясь, вскричала Lise. — А я ведь маме говорю: ни за что он не пойдет, он спасается. Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда думала, что вы прекрасный, вот что мне приятно вам теперь сказать!

— Lise! — внушительно проговорила мамаша, впрочем тотчас же улыбнулась.

— Вы и нас забыли, Алексей Федорович, вы совсем не хотите бывать у нас: а между тем Lise мне два раза говорила, что только с вами ей хорошо. — Алеша поднял потупленные глаза, опять вдруг покраснел и опять вдруг, сам не зная чему, усмехнулся. Впрочем, старец уже не наблюдал его. Он вступил в разговор с захожим монахом, ожидавшим, как мы уже говорили, подле кресел

Lise его выхода. Это был, по-видимому, из самых простых монахов, то есть из простого звания, с коротеньким, нерушимым мировоззрением, но верующий и в своем роде упорный. Он объявил себя откуда-то с дальнего севера, из Обдорска, от святого Сильвестра, из одного бедного монастыря всего в девять монахов. Старец благословил его и пригласил зайти к нему в келью, когда ему будет угодно.

— Как же вы дерзаете делать такие дела? — спросил вдруг монах, внушительно и торжественно указывая на Lise. Он намекал на ее «исцеление».

— Об этом, конечно, говорить еще рано. Облегчение не есть еще полное исцеление и могло произойти и от других причин. Но если что и было, то ничьею силой, кроме как Божиим изволением. Все от Бога. Посетите меня, отец, — прибавил он монаху, — а то не во всякое время могу: хвораю и знаю, что дни мои сочтены.

— О нет, нет, Бог вас у нас не отнимет, вы проживете еще долго, долго, — вскричала мамаша. — Да и чем вы больны? Вы смотрите таким здоровым, веселым, счастливым.

— Мне сегодня необыкновенно легче, но я уже знаю, что это всего лишь минута. Я мою болезнь

теперь безошибочно понимаю. Если же я вам кажусь столь веселым, то ничем и никогда не могли вы меня столь обрадовать, как сделав такое замечание. Ибо для счастия созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы.

— О, как вы говорите, какие смелые и высшие слова, — вскричала мамаша. — Вы скажете и как будто пронзите. А между тем счастие, счастие — где оно? Кто может сказать про себя, что он счастлив? О, если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня еще раз вас видеть, то выслушайте все, что я вам прошлый раз не договорила, не посмела сказать, все, чем я так страдаю, и так давно, давно! Я страдаю, простите меня, я страдаю… — И она в каком-то горячем порывистом чувстве сложила пред ним руки.

— Чем же особенно?

— Я страдаю… неверием…

— В Бога неверием?

— О нет, нет, я не смею и подумать об этом, но будущая жизнь — это такая загадка! И никто-то, ведь никто на нее не отвечает! Послушайте, вы целитель, вы знаток души человеческой; я,

конечно, не смею претендовать на то, чтобы вы мне совершенно верили, но уверяю вас самым великим словом, что я не из легкомыслия теперь говорю, что мысль эта о будущей загробной жизни до страдания волнует меня, до ужаса и испуга… И я не знаю, к кому обратиться, я не смела всю жизнь… И вот я теперь осмеливаюсь обратиться к вам… О боже, за какую вы меня теперь сочтете! — Она всплеснула руками.

— Не беспокойтесь о моем мнении, — ответил старец. — Я вполне верую в искренность вашей тоски.

— О, как я вам благодарна! Видите, я закрываю глаза и думаю: если все веруют, то откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила — умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя. Это ужасно! Чем, чем возвратить веру? Впрочем, я верила, лишь когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая… Чем же, чем это доказать, я теперь пришла повергнуться пред вами и просить вас об этом. Ведь если я упущу и теперешний случай — то мне во всю жизнь никто уж не ответит.

Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастие! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно!

— Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно.

— Как? Чем?

— Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. Это испытано, это точно.

— Деятельной любви? Вот и опять вопрос, и такой вопрос, такой вопрос! Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Lise и идти в сестры милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю, и в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками,

я была бы сиделкой у этих страдальцев, я готова целовать эти язвы…

— И то уж много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а не о чем ином. Нет-нет да невзначай и в самом деле сделаете какое-нибудь доброе дело.

— Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? — горячо и почти как бы исступленно продолжала дама. — Вот главнейший вопрос! Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя: долго ли бы ты выдержала на этом пути? И если больной, язвы которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас же благодарностью, а, напротив, станет тебя же мучить капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству (как и часто случается с очень страдающими) — что тогда? Продолжится твоя любовь или нет? И вот — представьте, я с содроганием это уже решила: если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою «деятельную» любовь к человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить!

Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив, с вызывающею решимостью поглядела на старца.

— Это точь-в-точь как рассказывал мне, давно уже впрочем, один доктор, — заметил старец. — Человек был уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил так же откровенно, как вы, хотя и шутя, но скорбно шутя; я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если б это вдруг как-нибудь потребовалось, а между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть: одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей

в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще.

— Но что же делать? Что же в таком случае делать? Тут надо в отчаяние прийти?

— Нет, ибо и того довольно, что вы о сем сокрушаетесь. Сделайте, что можете, и сочтется вам. У вас же много уже сделано, ибо вы могли столь глубоко и искренно сознать себя сами! Если же вы и со мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы, как теперь от меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви; так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет как призрак. Тут, понятно, и о будущей жизни забудете, и сами собой под конец как-нибудь успокоитесь.

— Вы меня раздавили! Я теперь только, вот в это мгновение, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы моей искренности, когда вам рассказывала о том, что не выдержу неблагодарности. Вы мне подсказали меня, вы уловили меня и мне же объяснили меня!

— Взаправду вы говорите? Ну теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастия, то

всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели,

но даже как бы от нее удалились, — в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Простите, что пробыть не могу с вами долее, ждут меня. До свидания.

Дама плакала.

— Lise, Lise, благословите же ее, благословите! — вдруг вспорхнулась она вся.

— А ее и любить не стоит. Я видел, как она все время шалила, — шутливо произнес старец. — Вы зачем все время смеялись над Алексеем?

А Lise и вправду все время занималась этою проделкой. Она давно уже, еще с прошлого раза, заметила, что Алеша ее конфузится и старается не смотреть на нее, и вот это ее ужасно стало забавлять. Она пристально ждала и ловила его взгляд: не выдерживая упорно направленного на него взгляда, Алеша нет-нет и вдруг невольно, непреодолимою силой, взглядывал на нее сам, и тотчас же она усмехалась торжествующею улыбкой прямо ему в глаза. Алеша конфузился и досадовал еще более. Наконец совсем от нее отвернулся и спрятался за спину старца. После нескольких минут он опять, влекомый тою же

непреодолимою силой, повернулся посмотреть, глядят ли на него или нет, и увидел, что Lise, совсем почти свесившись из кресел, выглядывала на него сбоку и ждала изо всех сил, когда он поглядит; поймав же его взгляд, расхохоталась так, что даже и старец не выдержал:

— Вы зачем его, шалунья, так стыдите?

Lise вдруг, совсем неожиданно, покраснела, сверкнула глазками, лицо ее стало ужасно серьезным, и она с горячею, негодующею жалобой вдруг заговорила скоро, нервно:

— А он зачем все забыл? Он меня маленькую на руках носил, мы играли с ним. Ведь он меня читать ходил учить, вы это знаете? Он два года назад, прощаясь, говорил, что никогда не забудет, что мы вечные друзья, вечные, вечные! И вот он вдруг меня теперь боится, я его съем, что ли? Чего он не хочет подойти, чего он не разговаривает? Зачем он к нам не хочет прийти? Разве вы его не пускаете: ведь мы же знаем, что он везде ходит. Мне неприлично его звать, он первый должен бы был припомнить, коли не забыл. Нет-с, он теперь спасается! Вы что на него эту долгополую-то ряску надели… Побежит, упадет…

И она вдруг, не выдержав, закрыла лицо рукой и рассмеялась ужасно, неудержимо, своим длин-

ным, нервным, сотрясающимся и неслышным смехом. Старец выслушал ее улыбаясь и с нежностью благословил; когда же она стала целовать его руку, то вдруг прижала ее к глазам своим и заплакала:

— Вы на меня не сердитесь, я дура, ничего не стою… и Алеша, может быть, прав, очень прав, что не хочет к такой смешной ходить.

— Непременно пришлю его, — решил старец.

V

Буди, буди!

Отсутствие старца из кельи продолжалось минут около двадцати пяти. Было уже за половину первого, а Дмитрия Федоровича, ради которого все собрались, все еще не бывало. Но о нем почти как бы и забыли, и когда старец вступил опять в келью, то застал самый оживленный общий разговор между своими гостями. В разговоре участвовали прежде всего Иван Федорович и оба иеромонаха. Ввязывался, и по-видимому очень горячо, в разговор и Миусов, но ему опять не везло; он был видимо на втором плане, и ему даже мало отвечали, так что это новое обстоятельство лишь усилило все накоплявшуюся его

раздражительность. Дело в том, что он и прежде с Иваном Федоровичем несколько пикировался в познаниях и некоторую небрежность его к себе хладнокровно не выносил: «До сих пор, по крайней мере, стоял на высоте всего, что есть передового в Европе, а это новое поколение решительно нас игнорирует», — думал он про себя. Федор Павлович, который сам дал слово усесться на стуле и замолчать, действительно некоторое время молчал, но с насмешливою улыбочкой следил за своим соседом Петром Александровичем и видимо радовался его раздражительности. Он давно уже собирался отплатить ему кое за что и теперь не хотел упустить случая. Наконец не вытерпел, нагнулся к плечу соседа и вполголоса поддразнил его еще раз:

— Ведь вы давеча почему не ушли после «любезно-то лобызаше» и согласились в такой неприличной компании оставаться? А потому, что чувствовали себя униженным и оскорбленным и остались, чтобы для реваншу выставить ум. Теперь уж вы не уйдете, пока им ума своего не выставите.

— Вы опять? Сейчас уйду, напротив.

— Позже, позже всех отправитесь! — кольнул еще раз Федор Павлович. Это было почти в самый

момент возвращения старца.

Спор на одну минутку затих, но старец, усевшись на прежнее место, оглядел всех, как бы приветливо вызывая продолжать. Алеша, изучивший почти всякое выражение его лица, видел ясно, что он ужасно утомлен и себя пересиливает. В последнее время болезни с ним случались от истощения сил обмороки. Почти такая же бледность, как пред обмороком, распространялась и теперь по его лицу, губы его побелели. Но он, очевидно, не хотел распустить собрание; казалось, он имел притом какую-то свою цель — какую же? Алеша пристально следил за ним.

— О любопытнейшей их статье толкуем, — произнес иеромонах Иосиф, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана Федоровича. — Нового много выводят, да, кажется, идея-то о двух концах. По поводу вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права ответили журнальною статьею одному духовному лицу, написавшему о вопросе сем целую книгу…

— К сожалению, вашей статьи не читал, но о ней слышал, — ответил старец, пристально и зорко вглядываясь в Ивана Федоровича.

— Они стоят на любопытнейшей точке, — про-

должал отец библиотекарь, — по-видимому, совершенно отвергают в вопросе о церковно-общественном суде разделение церкви от государства.

— Это любопытно, но в каком же смысле? — спросил старец Ивана Федоровича.

Тот наконец ему ответил, но не свысока-учтиво, как боялся еще накануне Алеша, а скромно и сдержанно, с видимою предупредительностью и, по-видимому, без малейшей задней мысли.

— Я иду из положения, что это смешение элементов, то есть сущностей церкви и государства, отдельно взятых, будет, конечно, вечным, несмотря на то, что оно невозможно и что его никогда нельзя будет привести не только в нормальное, но и в сколько-нибудь согласимое состояние, потому что ложь лежит в самом основании дела. Компромисс между государством и церковью в таких вопросах, как например о суде, по-моему, в совершенной и чистой сущности своей невозможен. Духовное лицо, которому я возражал, утверждает, что церковь занимает точное и определенное место в государстве. Я же возразил ему, что, напротив, церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это по-

чему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества.

— Совершенно справедливо! — твердо и нервно проговорил отец Паисий, молчаливый и ученый иеромонах.

— Чистейшее ультрамонтанство! — вскричал Миусов, в нетерпении переложив ногу на ногу.

— Э, да у нас и гор-то нету! — воскликнул отец Иосиф и, обращаясь к старцу, продолжал: — Они отвечают, между прочим, на следующие «основные и существенные» положения своего противника, духовного лица, заметьте себе. Первое: что «ни один общественный союз не может и не должен присвоивать себе власть — распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов». Второе: что «уголовная и судно-гражданская власть не должна принадлежать церкви и несовместима с природой ее и как божественного установления, и как союза людей для религиозных целей» и наконец, в-третьих: что «церковь есть царство не от мира сего»...

— Недостойнейшая игра слов для духовного лица! — не вытерпел и прервал опять отец Паисий. — Я читал эту книгу, на которую вы

возражали, — обратился он к Ивану Федоровичу, — и удивлен был словами духовного лица, что «церковь есть царство не от мира сего». Если не от мира сего, то, стало быть, и не может быть на земле ее вовсе. В святом Евангелии слова «не от мира сего» не в том смысле употреблены. Играть такими словами невозможно. Господь наш Иисус Христос именно приходил установить церковь на земле. Царство Небесное, разумеется, не от мира сего, а в небе, но в него входят не иначе как чрез церковь, которая основана и установлена на земле. А потому светские каламбуры в этом смысле невозможны и недостойны. Церковь же есть воистину царство и определена царствовать и в конце своем должна явиться как царство на всей земле несомненно — на что имеем обетование…

Он вдруг умолк, как бы сдержав себя. Иван Федорович, почтительно и внимательно его выслушав, с чрезвычайным спокойствием, но попрежнему охотно и простодушно продолжал, обращаясь к старцу:

— Вся мысль моей статьи в том, что в древние времена, первых трех веков христианства, христианство на земле являлось лишь церковью и было лишь церковь. Когда же римское языче-

ское государство возжелало стать христианским, то непременно случилось так, что, став христианским, оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставаться государством языческим по-прежнему, в чрезвычайно многих своих отправлениях. В сущности так несомненно и должно было произойти. Но в Риме, как в государстве, слишком многое осталось от цивилизации и мудрости языческой, как например самые даже цели и основы государства. Христова же церковь, вступив в государство, без сомнения не могла уступить ничего из своих основ, от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать не иначе как свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей самим Господом, между прочим: обратить весь мир, а стало быть, и все древнее языческое государство в церковь. Таким образом (то есть в целях будущего), не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как «всякий общественный союз» или как «союз людей для религиозных целей» (как выражается о церкви автор, которому возражаю), а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковны-

ми свои цели. Все же это ничем не унизит его, не отнимет ни чести, ни славы его как великого государства, ни славы властителей его, а лишь поставит его с ложной, еще языческой и ошибочной дороги на правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным целям. Вот почему автор книги об «Основах церковно-общественного суда» судил бы правильно, если бы, изыскивая и предлагая эти основы, смотрел бы на них как на временный, необходимый еще в наше грешное и незавершившееся время компромисс, но не более. Но чуть лишь сочинитель этих основ осмеливается объявлять, что основы, которые предлагает он теперь и часть которых перечислил сейчас отец Иосиф, суть основы незыблемые, стихийные и вековечные, то уже прямо идет против церкви и святого, вековечного и незыблемого предназначения ее. Вот вся моя статья, полный ее конспект.

— То есть в двух словах, — упирая на каждое слово, проговорил опять отец Паисий, — по иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет

того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, — и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!

— Ну-с, признаюсь, вы меня теперь несколько ободрили, — усмехнулся Миусов, переложив опять ногу на ногу. — Сколько я понимаю, это, стало быть, осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии. Это как угодно. Прекрасная утопическая мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и проч. Что-то даже похожее на социализм. А то я думал, что все это серьезно и что церковь теперь, например, будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а пожалуй, так и смертную казнь.

— Да если б и теперь был один лишь церковно-общественный суд, то и теперь бы церковь не посылала на каторгу или на смертную казнь. Преступление и взгляд на него должны бы были

несомненно тогда измениться, конечно мало-помалу, не вдруг и не сейчас, но, однако, довольно скоро… — спокойно и не смигнув глазом произнес Иван Федорович.

— Вы серьезно? — пристально глянул на него Миусов.

— Если бы все стало церковью, то церковь отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов, — продолжал Иван Федорович. — Я вас спрашиваю, куда бы пошел отлученный? Ведь тогда он должен был бы не только от людей, как теперь, но и от Христа уйти. Ведь он своим преступлением восстал бы не только на людей, но и на церковь Христову. Это и теперь, конечно, так в строгом смысле, но все-таки не объявлено, и совесть нынешнего преступника весьма и весьма часто вступает с собою в сделки: «Украл, дескать, но не на церковь иду, Христу не враг» — вот что говорит себе нынешний преступник сплошь да рядом, ну а тогда, когда церковь станет на место государства, тогда трудно было бы ему это сказать, разве с отрицанием всей церкви на всей земле: «Все, дескать, ошибаются, все уклонились, все ложная церковь, я один, убийца и вор, — справедливая христианская церковь». Это ведь очень

трудно себе сказать, требует условий огромных, обстоятельств, не часто бывающих. Теперь, с другой стороны, возьмите взгляд самой церкви на преступление: разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого, и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне для охранения общества, преобразиться, и уже вполне и не ложно, в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его…

— То есть что же это такое? Я опять перестаю понимать, — перебил Миусов, — опять какая-то мечта. Что-то бесформенное, да и понять нельзя. Как это отлучение, что за отлучение? Я подозреваю, вы просто потешаетесь, Иван Федорович.

— Да ведь по-настоящему то же самое и теперь, — заговорил вдруг старец, и все разом к нему обратились, — ведь если бы теперь не было Христовой церкви, то не было бы преступнику никакого и удержу в злодействе и даже кары за него потом, то есть кары настоящей, не механической, как они сказали сейчас, и которая лишь раздражает в большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании собственной

совести.

— Как же так, позвольте узнать? — с живейшим любопытством спросил Миусов.

— Это вот как, — начал старец. — Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никого не исправляют, а главное, почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений не только не уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться. И выходит, что общество, таким образом, совсем не охранено, ибо хоть и отсекается вредный член механически и ссылается далеко, с глаз долой, но на его место тотчас же появляется другой преступник, а может, и два другие. Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало,

кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется. Не отлучает она его от себя, а лишь не оставляет его отеческим назиданием. Мало того, даже старается сохранить с преступником все христианское церковное общение: допускает его к церковным службам, к святым дарам, дает ему подаяние и обращается с ним более как с плененным, чем как с виновным. И что было бы с преступником, о господи! если б и христианское общество, то есть церковь, отвергло его подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский закон? Что было бы, если б и церковь карала его своим отлучением тотчас же и каждый раз вослед кары государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для преступника русского, ибо русские преступники еще веруют. А впрочем, кто знает: может быть, случилось бы тогда страшное дело — произошла бы, может быть, потеря веры в отчаянном сердце преступника, и тогда что? Но церковь, как мать нежная и любящая, от деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком больно наказан

виновный государственным судом, и надо же его хоть кому-нибудь пожалеть. Главное же потому устраняется, что суд церкви есть суд единственно вмещающий в себе истину и ни с каким иным судом вследствие сего существенно и нравственно сочетаться даже и в компромисс временный не может. Тут нельзя уже в сделки вступать. Иностранный преступник, говорят, редко раскаивается, ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступление его не есть преступление, а лишь восстание против несправедливо угнетающей силы. Общество отсекает его от себя вполне механически торжествующею над ним силой и сопровождает отлучение это ненавистью (так по крайней мере они сами о себе, в Европе, повествуют), — ненавистью и полнейшим к дальнейшей судьбе его, как брата своего, равнодушием и забвением. Таким образом, все происходит без малейшего сожаления церковного, ибо во многих случаях там церквей уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских зем-

лях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство. А потому сам преступник членом церкви уж и не сознает себя и, отлученный, пребывает в отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такою ненавистью, что самое общество как бы уже само отлучает от себя. Чем это кончится, можете сами рассудить. Во многих случаях, казалось бы, и у нас то же; но в том и дело, что, кроме установленных судов, есть у нас, сверх того, еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того, есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом души его, признаваемый. Справедливо и то, что было здесь сейчас сказано, что если бы действительно наступил суд церкви, и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее

преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего. Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предвидении его и в любви его. И что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди, буди.

— Буди! буди! — благоговейно и сурово подтвердил отец Паисий.

— Странно, в высшей степени странно! — произнес Миусов, и не то что с горячностью, а как бы с затаенным каким-то негодованием.

— Что же кажется вам столь странным? — осторожно осведомился отец Иосиф.

— Да что же это в самом деле такое? — воскликнул Миусов, как бы вдруг прорвавшись, — устраняется на земле государство, а церковь возводится на степень государства! Это не то что ультрамонтанство, это архиультрамонтанство! Это папе Григорию Седьмому не мерещилось!

— Совершенно обратно изволите понимать! — строго проговорил отец Паисий, — не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение! А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет.

Миусов внушительно помолчал. Вся фигура его выразила собою необыкновенное собственное достоинство. Свысока-снисходительная улыбка показалась на его губах. Алеша следил за всем с сильно бьющимся сердцем. Весь этот разговор взволновал его до основания. Он случайно взглянул на Ракитина; тот стоял неподвижно на своем прежнем месте у двери, внимательно вслушиваясь и всматриваясь, хотя и опустив глаза. Но по

оживленному румянцу на его щеках Алеша догадался, что и Ракитин взволнован, кажется, не меньше его; Алеша знал, чем он взволнован.

— Позвольте мне сообщить вам один маленький анекдот, господа, — внушительно и с каким-то особенно осанистым видом проговорил вдруг Миусов. — В Париже, уже несколько лет тому, вскоре после декабрьского переворота, мне пришлось однажды, делая по знакомству визит одному очень-очень важному и управляющему тогда лицу, повстречать у него одного прелюбопытнейшего господина. Был этот индивидуум не то что сыщиком, а вроде управляющего целою командой политических сыщиков, — в своем роде довольно влиятельная должность. Придравшись к случаю, я, из чрезвычайного любопытства, разговорился с ним; а так как он принят был не по знакомству, а как подчиненный чиновник, пришедший с известного рода рапортом, то, видя, с своей стороны, как я принят у его начальника, он удостоил меня некоторою откровенностию, — ну, разумеется, в известной степени, то есть скорее был вежлив, чем откровенен, именно как французы умеют быть вежливыми, тем более что видел во мне иностранца. Но я его очень понял. Тема шла о социалистах-революционерах,

которых тогда, между прочим, преследовали. Опуская главную суть разговора, приведу лишь одно любопытнейшее замечание, которое у этого господчика вдруг вырвалось: «Мы, — сказал он, — собственно этих всех социалистов — анархистов, безбожников и революционеров — не очень-то и опасаемся; мы за ними следим, и ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ! Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника». Слова эти и тогда меня поразили, но теперь у вас, господа, они мне как-то вдруг припомнились…

— То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? — прямо и без обиняков спросил отец Паисий. Но прежде чем Петр Александрович сообразил дать ответ, отворилась дверь и вошел столь опоздавший Дмитрий Федорович. Его и вправду как бы перестали ждать, и внезапное появление его произвело в первый момент даже некоторое удивление.

VI

Зачем живет такой человек!

Дмитрий Федорович, двадцативосьмилетний молодой человек, среднего роста и приятного лица, казался, однако же, гораздо старее своих лет. Был он мускулист, и в нем можно было угадывать значительную физическую силу, тем не менее в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, цвет же их отливал какою-то нездоровою желтизной. Довольно большие темные глаза навыкате смотрели хотя, по-видимому, и с твердым упорством, но как-то неопределенно. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое, иногда совсем не соответствующее настоящей минуте. «Трудно узнать, о чем он думает», — отзывались иной раз разговаривавшие с ним. Иные, видевшие в его глазах что-то задумчивое и угрюмое, случалось, вдруг поражались внезапным смехом его, свидетельствовавшим о веселых и игривых мыслях, бывших в нем именно в то время, когда он смотрел с такою угрюмостью. Впрочем,

некоторая болезненность его лица в настоящую минуту могла быть понятна: все знали или слышали о чрезвычайно тревожной и «кутящей» жизни, которой он именно в последнее время у нас предавался, равно как всем известно было и то необычайное раздражение, до которого он достиг в ссорах со своим отцом из-за спорных денег. По городу ходило уже об этом несколько анекдотов. Правда, что он и от природы был раздражителен, «ума отрывистого и неправильного», как характерно выразился о нем у нас наш мировой судья Семен Иванович Качальников в одном собрании. Вошел он безукоризненно и щегольски одетый, в застегнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Темно-русые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками вперед. Шагал он решительно, широко, по-фрунтовому. На мгновение остановился он на пороге и, окинув всех взглядом, прямо направился к старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец, привстав, благословил его; Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением, почти с раздраже-

нием произнес:

— Простите великодушно за то, что заставил столько ждать. Но слуга Смердяков, посланный батюшкою, на настойчивый мой вопрос о времени, ответил мне два раза самым решительным тоном, что назначено в час. Теперь я вдруг узнаю…

— Не беспокойтесь, — перебил старец, — ничего, несколько замешкались, не беда…

— Чрезвычайно вам благодарен и менее не мог ожидать от вашей доброты. — Отрезав это, Дмитрий Федорович еще раз поклонился, затем, вдруг обернувшись в сторону своего «батюшки», сделал и тому такой же почтительный и глубокий поклон. Видно было, что он обдумал этот поклон заранее и надумал его искренно, почтя своею обязанностью выразить тем свою почтительность и добрые намерения. Федор Павлович, хоть и застигнутый врасплох, тотчас по-своему нашелся: в ответ на поклон Дмитрия Федоровича он вскочил с кресел и ответил сыну точно таким же глубоким поклоном. Лицо его сделалось вдруг важно и внушительно, что придало ему, однако, решительно злой вид. Затем молча, общим поклоном откланявшись всем бывшим в комнате, Дмитрий Федорович своими большими

и решительными шагами подошел к окну, уселся на единственный оставшийся стул неподалеку от отца Паисия и, весь выдвинувшись вперед на стуле, тотчас приготовился слушать продолжение им прерванного разговора.

Появление Дмитрия Федоровича заняло не более каких-нибудь двух минут, и разговор не мог не возобновиться. Но на этот раз на настойчивый и почти раздражительный вопрос отца Паисия Петр Александрович не почел нужным ответить.

— Позвольте мне эту тему отклонить, — произнес он с некоторою светскою небрежностью. — Тема эта к тому же мудреная. Вот Иван Федорович на нас усмехается: должно быть, у него есть что-нибудь любопытное и на этот случай. Вот его спросите.

— Ничего особенного, кроме маленького замечания, — тотчас же ответил Иван Федорович, — о том, что вообще европейский либерализм, и даже наш русский либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод — конечно, характерная черта. Впрочем, социализм с христианством смешивают, как оказывается, не одни либералы и дилетанты, а вместе с ними, во многих случаях, и жандармы,

то есть заграничные разумеется. Ваш парижский анекдот довольно характерен, Петр Александрович.

— Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить, — повторил Петр Александрович, — а вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каж-

дого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович.

— Позвольте, — неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович, — чтобы не ослышаться: «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника»! Так или не так?

— Точно так, — сказал отец Паисий.

— Запомню.

Произнеся это, Дмитрий Федорович так же внезапно умолк, как внезапно влетел в разговор. Все посмотрели на него с любопытством.

— Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры

в бессмертие души их? — спросил вдруг старец Ивана Федоровича.

— Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия.

— Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны!

— Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович.

— Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе.

— Может быть, вы правы!.. Но все же я и не совсем шутил… — вдруг странно признался, впрочем быстро покраснев, Иван Федорович.

— Не совсем шутили, это истинно. Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаяния и вы забавляетесь — и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя… В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения…

— А может ли быть он во мне решен? Решен в сторону положительную? — продолжал странно спрашивать Иван Федорович, все с какою-то

необъяснимою улыбкой смотря на старца.

— Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, «горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесех есть». Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши!

Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Федоровича. Но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Федоровича, разговор со старцем как-то всех поразили своею загадочностью и даже какою-то торжественностью, так что все на минуту было примолкли, а в лице Алеши выразился почти испуг. Но Миусов вдруг вскинул плечами, и в ту же минуту Федор Павлович вскочил со стула.

— Божественный и святейший старец! — вскричал он, указывая на Ивана Федоровича. — Это мой сын, плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать,

Карл Мор, а вот этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, — это уж непочтительнейший Франц Мор, — оба из «Разбойников» Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf von Moor[6]! Рассудите и спасите! Нуждаемся не только в молитвах, но и в пророчествах ваших.

— Говорите без юродства и не начинайте оскорблением домашних ваших, — ответил старец слабым изнеможенным голосом. Он видимо уставал, чем далее, тем более, и приметно лишался сил.

— Недостойная комедия, которую я предчувствовал, еще идя сюда! — воскликнул Дмитрий Федорович в негодовании и тоже вскочив с места. — Простите, преподобный отец, — обратился он к старцу, — я человек необразованный и даже не знаю, как вас именовать, но вас обманули, а вы слишком были добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшке нужен лишь скандал, для чего — это уж его расчет. У него всегда свой расчет. Но, кажется, я теперь знаю для чего…

— Обвиняют меня все, все они! — кричал в свою очередь Федор Павлович, — вот и Петр Алексан-

---

[6] Сноски: 6
Владетельный граф фон Моор (*нем.*).

дрович обвиняет. Обвиняли, Петр Александрович, обвиняли! — обернулся он вдруг к Миусову, хотя тот и не думал перебивать его. — Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш на баш; но позвольте, разве не существует суда? Там вам сочтут, Дмитрий Федорович, по самым же распискам вашим, письмам и договорам, сколько у вас было, сколько вы истребили и сколько у вас остается! Отчего Петр Александрович уклоняется произнести суждение? Дмитрий Федорович ему не чужой. Оттого, что все на меня, а Дмитрий Федорович в итоге еще мне же должен, да не сколько-нибудь, а несколько тысяч-с, на что имею все документы! Ведь город трещит и гремит от его кутежей! А там, где он прежде служил, там по тысяче и по две за обольщение честных девиц платил; это, Дмитрий Федорович, нам известно-с, в самых секретных подробностях, и я докажу-с… Святейший отец, верите ли: влюбил в себя благороднейшую из девиц, хорошего дома, с состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника, заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, компрометировал девушку предложением руки, теперь она здесь, теперь она сирота, его невеста, а он, на глазах ее, к одной здешней обольстительнице ходит.

Но хоть обольстительница эта и жила, так сказать, в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого, крепость неприступная для всех, все равно что жена законная, ибо добродетельна, — да-с! отцы святые, она добродетельна! А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключом отпереть, для чего он теперь надо мной и куражится, хочет с меня денег сорвать, а пока уж тысячи на эту обольстительницу просорил; на то и деньги занимает беспрерывно, и, между прочим, у кого, как вы думаете? Сказать аль нет, Митя?

— Молчать! — закричал Дмитрий Федорович, — подождите, пока я выйду, а при мне не смейте марать благороднейшую девицу… Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее… Не позволю!

Он задыхался.

— Митя! Митя! — слабонервно и выдавливая из себя слезы, вскричал Федор Павлович, — а родительское-то благословение на что? А ну прокляну, что тогда будет?

— Бесстыдник и притворщик! — неистово рявкнул Дмитрий Федорович.

— Это он отца, отца! Что же с прочими? Господа, представьте себе: есть здесь бедный,

но почтенный человек, отставной капитан, был в несчастье, отставлен от службы, но не гласно, не по суду, сохранив всю свою честь, многочисленным семейством обременен. А три недели тому наш Дмитрий Федорович в трактире схватил его за бороду, вытащил за эту самую бороду на улицу и на улице всенародно избил, и все за то, что тот состоит негласным поверенным по одному моему делишку.

— Ложь все это! Снаружи правда, внутри ложь! — весь в гневе дрожал Дмитрий Федорович. — Батюшка! Я свои поступки не оправдываю; да, всенародно признаюсь: я поступил как зверь с этим капитаном и теперь сожалею и собой гнушаюсь за зверский гнев, но этот ваш капитан, ваш поверенный, пошел вот к этой самой госпоже, о которой вы выражаетесь, что она обольстительница, и стал ей предлагать от вашего имени, чтоб она взяла имеющиеся у вас мои векселя и подала на меня, чтобы по этим векселям меня засадить, если я уж слишком буду приставать к вам в расчетах по имуществу. Вы же теперь меня упрекаете тем, что я имею слабость к этой госпоже, тогда как сами же учили ее заманить меня! Ведь она прямо в глаза рассказывает, сама мне рассказывала, над вами смеясь! Заса-

дить же вы меня хотите только потому, что меня к ней же ревнуете, потому что сами вы приступать начали к этой женщине со своею любовью, и мне это опять-таки все известно, и опять-таки она смеялась, — слышите, — смеясь над вами, пересказывала. Так вот вам, святые люди, этот человек, этот упрекающий развратного сына отец! Господа свидетели, простите гнев мой, но я предчувствовал, что этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал. Я пошел с тем, чтобы простить, если б он протянул мне руку, простить и прощения просить! Но так как он оскорбил сию минуту не только меня, но и благороднейшую девицу, которой даже имени не смею произнести всуе из благоговения к ней, то и решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы он и отец мой!..

Он не мог более продолжать. Глаза его сверкали, он дышал трудно. Но и все в келье были взволнованы. Все, кроме старца, с беспокойством встали со своих мест. Отцы иеромонахи смотрели сурово, но ждали, однако, воли старца. Тот же сидел совсем уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляющая улыбка светилась на губах его; он изредка подымал руку, как бы желая остановить беснующихся,

и уж, конечно, одного жеста его было бы достаточно, чтобы сцена была прекращена; но он сам как будто чего-то еще выжидал и пристально приглядывался, как бы желая что-то еще понять, как бы еще не уяснив себе чего-то. Наконец Петр Александрович Миусов окончательно почувствовал себя униженным и опозоренным.

— В происшедшем скандале мы все виноваты! — горячо проговорил он, — но я все же ведь не предчувствовал, идя сюда, хотя и знал, с кем имею дело… Это надо кончить сейчас же! Ваше преподобие, поверьте, что я всех обнаруженных здесь подробностей в точности не знал, не хотел им верить и только теперь в первый раз узнаю… Отец ревнует сына к скверного поведения женщине и сам с этою же тварью сговаривается засадить сына в тюрьму… И вот в такой-то компании меня принудили сюда явиться… Я обманут, я заявляю всем, что обманут не меньше других…

— Дмитрий Федорович! — завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович, — если бы только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль… на пистолетах, на расстоянии трех шагов… через платок! через платок! — кончил он, топая обеими ногами.

Есть у старых лгунов, всю жизнь свою про-

актерствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это самое мгновение (или секунду только спустя) могли бы сами шепнуть себе: «Ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь ты актер и теперь, несмотря на весь твой „святой“ гнев и „святую“ минуту гнева».

Дмитрий Федорович страшно нахмурился и с невыразимым презрением поглядел на отца.

— Я думал… я думал, — как-то тихо и сдержанно проговорил он, — что приеду на родину с ангелом души моей, невестою моей, чтобы лелеять его старость, а вижу лишь развратного сладострастника и полнейшего комедианта!

— На дуэль! — завопил опять старикашка, задыхаясь и брызгая с каждым словом слюной. — А вы, Петр Александрович Миусов, знайте, сударь, что, может быть, во всем вашем роде нет и не было выше и честнее — слышите, честнее — женщины, как эта, по-вашему, тварь, как вы осмелились сейчас назвать ее! А вы, Дмитрий Федорович, на эту же «тварь» вашу невесту променяли, стало быть, сами присудили, что и невеста ваша подошвы ее не стоит, вот какова эта тварь!

— Стыдно! — вырвалось вдруг у отца Иосифа.

— Стыдно и позорно! — своим отроческим голосом, дрожащим от волнения, и весь покраснев, крикнул вдруг Калганов, все время молчавший.

— Зачем живет такой человек! — глухо прорычал Дмитрий Федорович, почти уже в исступлении от гнева, как-то чрезвычайно приподняв плечи и почти от того сгорбившись, — нет, скажите мне, можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю, — оглядел он всех, указывая на старика рукой. Он говорил медленно и мерно.

— Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу, — набросился Федор Павлович на отца Иосифа. — Вот ответ на ваше «стыдно»! Что стыдно? Эта «тварь», эта «скверного поведения женщина», может быть, святее вас самих, господа спасающиеся иеромонахи! Она, может быть, в юности пала, заеденная средой, но она «возлюбила много», а возлюбившую много и Христос простил…

— Христос не за такую любовь простил… — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа.

— Нет, за такую, за эту самую, монахи, за эту! Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники! Пескариков кушаете, в день по пескарику, и думаете пескариками Бога купить!

— Невозможно, невозможно! — слышалось

в келье со всех сторон.

Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец. Совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех, Алеша успел, однако, поддержать его за руку. Старец шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился пред ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли. Алеша был так изумлен, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах.

— Простите! Простите все! — проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям.

Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений как пораженный: ему поклон в ноги — что такое? Наконец вдруг вскрикнул: «О боже!» — и, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой и все гости, от смущения даже не простясь и не откланявшись хозяину. Одни только иеромонахи опять подошли под благословение.

— Это что же он в ноги-то, это эмблема какая-нибудь? — попробовал было разговор начать вдруг почему-то присмиревший Федор Павлович, ни к кому, впрочем, не осмеливаясь обратиться лично. Они все выходили в эту минуту из ограды скита.

— Я за сумасшедший дом и за сумасшедших не отвечаю, — тотчас же озлобленно ответил Миусов, — но зато избавлю себя от вашего общества, Федор Павлович, и поверьте, что навсегда. Где этот давешний монах?..

Но «этот монах», то есть тот, который приглашал их давеча на обед к игумену, ждать себя не заставил. Он тут же встретил гостей, тотчас же как они сошли с крылечка из кельи старца, точно дожидал их все время.

— Сделайте одолжение, почтенный отец, засвидетельствуйте все мое глубокое уважение отцу игумену и извините меня лично, Миусова, пред его высокопреподобием в том, что по встретившимся внезапно непредвиденным обстоятельствам ни за что не могу иметь честь принять участие в его трапезе, несмотря на все искреннейшее желание мое, — раздражительно проговорил монаху Петр Александрович.

— А ведь непредвиденное-то обстоятельство —

это ведь я! — сейчас же подхватил Федор Павлович. — Слышите, отец, это Петр Александрович со мной не желает вместе оставаться, а то бы он тотчас пошел. И пойдете, Петр Александрович, извольте пожаловать к отцу игумену, и — доброго вам аппетита! Знайте, что это я уклонюсь, а не вы. Домой, домой, дома поем, а здесь чувствую себя неспособным, Петр Александрович, мой любезнейший родственник.

— Не родственник я вам и никогда им не был, низкий вы человек!

— Я нарочно и сказал, чтобы вас побесить, потому что вы от родства уклоняетесь, хотя все-таки вы родственник, как ни финтите, по святцам докажу; за тобой, Иван Федорович, я в свое время лошадей пришлю, оставайся, если хочешь, и ты. Вам же, Петр Александрович, даже приличие велит теперь явиться к отцу игумену, надо извиниться в том, что мы с вами там накутили…

— Да правда ли, что вы уезжаете? Не лжете ли вы?

— Петр Александрович, как же бы я посмел после того, что случилось! Увлекся, простите, господа, увлекся! И, кроме того, потрясен! Да и стыдно. Господа, у иного сердце как у Александра Македонского, а у другого — как у собачки

Фидельки. У меня — как у собачки Фидельки. Обробел! Ну как после такого эскапада да еще на обед, соусы монастырские уплетать? Стыдно, не могу, извините!

«Черт его знает, а ну как обманывает!» — остановился в раздумье Миусов, следя недоумевающим взглядом за удалявшимся шутом. Тот обернулся и, заметив, что Петр Александрович за ним следит, послал ему рукою поцелуй.

— Вы-то идете к игумену? — отрывисто спросил Миусов Ивана Федоровича.

— Почему же нет? К тому же я особенно приглашен игуменом еще вчерашнего дня.

— К несчастию, я действительно чувствую себя почти в необходимости явиться на этот проклятый обед, — все с тою же горькою раздражительностью продолжал Миусов, даже и не обращая внимания, что монашек слушает. — Хоть там-то извиниться надо за то, что мы здесь натворили, и разъяснить, что это не мы… Как вы думаете?

— Да, надо разъяснить, что это не мы. К тому же батюшки не будет, — заметил Иван Федорович.

— Да еще же бы с вашим батюшкой! Проклятый этот обед!

И однако, все шли. Монашек молчал и слушал.

Дорогой через песок он только раз лишь заметил, что отец игумен давно уже ожидают и что более получаса опоздали. Ему не ответили. Миусов с ненавистью посмотрел на Ивана Федоровича.

«А ведь идет на обед как ни в чем не бывало! — подумал он. — Медный лоб и карамазовская совесть».

VII

Семинарист-карьерист

Алеша довел своего старца в спаленку и усадил на кровать. Это была очень маленькая комнатка с необходимою мебелью; кровать была узенькая, железная, а на ней вместо тюфяка один только войлок. В уголку, у икон, стоял налой, а на нем лежали крест и Евангелие. Старец опустился на кровать в бессилии; глаза его блестели, и дышал он трудно. Усевшись, он пристально и как бы обдумывая нечто посмотрел на Алешу.

— Ступай, милый, ступай, мне и Порфирия довольно, а ты поспеши. Ты там нужен, ступай к отцу игумену, за обедом и прислужи.

— Благословите здесь остаться, — просящим голосом вымолвил Алеша.

— Ты там нужнее. Там миру нет. Прислужишь

и пригодишься. Подымутся беси, молитву читай. И знай, сынок (старец любил его так называть), что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша. Как только сподобит Бог преставиться мне — и уходи из монастыря. Совсем иди.

Алеша вздрогнул.

— Чего ты? Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши. А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай. Запомни слово мое отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобой, но не только дни, а и часы мои сочтены.

В лице Алеши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись.

— Чего же ты снова? — тихо улыбнулся старец. — Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся. Радуемся и молим о нем. Оставь же меня. Молиться надо. Ступай и поспеши. Около братьев будь. Да не около одного, а около обоих.

Старец поднял руку благословить. Возражать было невозможно, хотя Алеше чрезвычайно хотелось остаться. Хотелось ему еще спросить, и даже с языка срывался вопрос: «Что предозначал этот земной поклон брату Дмитрию?» — но он не посмел спросить. Он знал, что старец и сам бы, без вопроса, ему разъяснил, если бы можно было. Но значит, не было на то его воли. А поклон этот страшно поразил Алешу; он веровал слепо, что в нем был таинственный смысл. Таинственный, а может быть, и ужасный. Когда он вышел за ограду скита, чтобы поспеть в монастырь к началу обеда у игумена (конечно, чтобы только прислужить за столом), у него вдруг больно сжалось сердце, и он остановился на месте: пред ним как бы снова прозвучали слова старца, предрекавшего столь близкую кончину свою. Что предрекал, да еще с такою точностию, старец, то должно было случиться несомненно, Алеша веровал тому свято. Но как же он останется без него, как же будет он не видеть его, не слышать его? И куда он пойдет? Велит не плакать и идти из монастыря, господи! Давно уже Алеша не испытывал такой тоски. Он пошел поскорее лесом, отделявшим скит от монастыря, и, не в силах даже выносить свои мысли, до того они

давили его, стал смотреть на вековые сосны по обеим сторонам лесной дорожки. Переход был не длинен, шагов в пятьсот, не более; в этот час никто бы не мог и повстречаться, но вдруг на первом изгибе дорожки он заметил Ракитина. Тот поджидал кого-то.

— Не меня ли ждешь? — спросил, поравнявшись с ним, Алеша.

— Именно тебя, — усмехнулся Ракитин. — Поспешаешь к отцу игумену. Знаю; у того стол. С самого того времени, как архиерея с генералом Пахатовым принимал, помнишь, такого стола еще не было. Я там не буду, а ты ступай, соусы подавай. Скажи ты мне, Алексей, одно: что сей сон значит? Я вот что хотел спросить.

— Какой сон?

— А вот земной-то поклон твоему братцу Дмитрию Федоровичу. Да еще как лбом-то стукнулся!

— Это ты про отца Зосиму?

— Да, про отца Зосиму.

— Лбом?

— А, непочтительно выразился! Ну, пусть непочтительно. Итак, что же сей сон означает?

— Не знаю, Миша, что значит.

— Так я и знал, что он тебе это не объяснит. Мудреного тут, конечно, нет ничего, одни бы,

кажись, всегдашние благоглупости. Но фокус был проделан нарочно. Вот теперь и заговорят все святоши в городе и по губернии разнесут: «Что, дескать, сей сон означает?» По-моему, старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас.

— Какую уголовщину?

Ракитину видимо хотелось что-то высказать.

— В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой. Вот отец Зосима и стукнулся лбом на всякий будущий случай. Потом что случится: «Ах, ведь это старец святой предрек, напророчествовал», — хотя какое бы в том пророчество, что он лбом стукнулся? Нет, это, дескать, эмблема была, аллегория, и черт знает что! Расславят, запомнят: преступление, дескать, предугадал, преступника отметил. У юродивых и все так: на кабак крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец: праведника палкой вон, а убийце в ноги поклон.

— Какое преступление? Какому убийце? Что ты? — Алеша стал как вкопанный, остановился и Ракитин.

— Какому? Быдто не знаешь? Бьюсь об заклад, что ты сам уж об этом думал. Кстати, это любопыт-

но: слушай, Алеша, ты всегда правду говоришь, хотя всегда между двух стульев садишься: думал ты об этом или не думал, отвечай?

— Думал, — тихо ответил Алеша. Даже Ракитин смутился.

— Что ты? Да неужто и ты уж думал? — вскричал он.

— Я… я не то чтобы думал, — пробормотал Алеша, — а вот как ты сейчас стал про это так странно говорить, то мне и показалось, что я про это сам думал.

— Видишь (и как ты это ясно выразил), видишь? Сегодня, глядя на папашу и на братца Митеньку, о преступлении подумал? Стало быть, не ошибаюсь же я?

— Да подожди, подожди, — тревожно прервал Алеша, — из чего ты-то все это видишь?.. Почему это тебя так занимает, вот первое дело?

— Два вопроса раздельные, но естественные. Отвечу на каждый порознь. Почему вижу? Ничего я бы тут не видел, если бы Дмитрия Федоровича, брата твоего, вдруг сегодня не понял всего как есть, разом и вдруг, всего как он есть. По какой-то одной черте так и захватил его разом всего. У этих честнейших, но любострастных людей есть черта, которую не переходи. Не то — не то он

и папеньку ножом пырнет. А папенька пьяный и невоздержный беспутник, никогда и ни в чем меры не понимал — не удержатся оба, и бух оба в канаву…

— Нет, Миша, нет, если только это, так ты меня ободрил. До того не дойдет.

— А чего ты весь трясешься? Знаешь ты штуку? Пусть он и честный человек, Митенька-то (он глуп, но честен); но он — сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь я только на тебя, Алеша, дивлюсь: как это ты девственник? Ведь и ты Карамазов! Ведь в вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. Ну вот эти три сладострастника друг за другом теперь и следят… с ножами за сапогом. Состукнулись трое лбами, а ты, пожалуй, четвертый.

— Ты про эту женщину ошибаешься. Дмитрий ее… презирает, — как-то вздрагивая, проговорил Алеша.

— Грушеньку-то? Нет, брат, не презирает. Уж когда невесту свою въявь на нее променял, то не презирает. Тут… тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладо-

страстник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки… Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может.

— Я это понимаю, — вдруг брякнул Алеша.

— Быдто? И впрямь, стало быть, ты это понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что понимаешь, — с злорадством проговорил Ракитин. — Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Тем драгоценнее признание: стало быть, тебе уж знакомая тема, об этом уж думал, о сладострастье-то. Ах ты, девственник! Ты, Алешка, тихоня, ты святой, я согласен, но ты тихоня, и черт знает о чем ты уж не думал, черт знает что тебе уж известно! Девственник, а уж такую глубину прошел, — я тебя давно наблюдаю. Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне — стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. По отцу сладострастник, по матери юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? Знаешь что:

Грушенька просила меня: «Приведи ты его (тебя то есть), я с него ряску стащу». Да ведь как просила-то: приведи да приведи! Подумал только: чем ты это ей так любопытен? Знаешь, необычайная и она женщина тоже!

— Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. — Договаривай, Михаил, о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу.

— Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые! Брат твой Иван теперь богословские статейки пока в шутку по какому-то глупейшему неизвестному расчету печатает, будучи сам атеистом, и в подлости этой сам сознается — брат твой этот, Иван. Кроме того, от братца Мити невесту себе отбивает, ну и этой цели кажется, что достигнет. Да еще как: с согласия самого Митеньки, потому что Митенька сам ему невесту свою уступает, чтобы только отвязаться от нее да уйти поскорей к Грушеньке. И все это при всем своем благородстве и бескорыстии, заметь себе это. Вот эти-то люди самые роковые и есть! Черт вас разберет

после этого: сам подлость свою сознает и сам в подлость лезет! Слушай дальше: Митеньке теперь пересекает дорогу старикашка отец. Ведь тот по Грушеньке с ума вдруг сошел, ведь у него слюна бежит, когда на нее глядит только. Ведь это он только из-за нее одной в келье сейчас скандал такой сделал, за то только, что Миусов ее беспутною тварью назвать осмелился. Влюбился хуже кошки. Прежде она ему тут только по делишкам каким-то темным да кабачным на жалованье прислуживала, а теперь вдруг догадался и разглядел, остервенился, с предложениями лезет, не с честными конечно. Ну и столкнутся же они, папенька с сыночком, на этой дорожке. А Грушенька ни тому, ни другому; пока еще виляет да обоих дразнит, высматривает, который выгоднее, потому хоть у папаши можно много денег тяпнуть, да ведь зато он не женится, а пожалуй, так под конец ожидовеет и запрет кошель. В таком случае и Митенька свою цену имеет; денег у него нет, но зато способен жениться. Да-с, способен жениться! Бросить невесту, несравненную красоту, Катерину Ивановну, богатую, дворянку и полковничью дочь, и жениться на Грушеньке, бывшей содержанке старого купчишки, развратного мужика и городского головы Самсонова. Из всего

сего действительно может столкновение произойти уголовное. А этого брат твой Иван и ждет, тут он и в малине: и Катерину Ивановну приобретет, по которой сохнет, да и шестьдесят ее тысяч приданого тяпнет. Маленькому-то человечку и голышу, как он, это и весьма прельстительно для начала. И ведь заметь себе: не только Митю не обидит, но даже по гроб одолжит. Ведь я наверно знаю, что Митенька сам и вслух, на прошлой неделе еще, кричал в трактире пьяный, с цыганками, что недостоин невесты своей Катеньки, а брат Иван — так вот тот достоин. А сама Катерина Ивановна уж, конечно, такого обворожителя, как Иван Федорович, под конец не отвергнет; ведь она уж и теперь между двумя ими колеблется. И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы все пред ним благоговеете? А он над вами же смеется: в малине, дескать, сижу и на ваш счет лакомствую.

— Почему ты все это знаешь? Почему так утвердительно говоришь? — резко и нахмурившись спросил вдруг Алеша.

— А почему ты теперь спрашиваешь и моего ответа вперед боишься? Значит, сам соглашаешься, что я правду сказал.

— Ты Ивана не любишь. Иван не польстится

на деньги.

— Быдто? А красота Катерины Ивановны? Не одни же тут деньги, хотя и шестьдесят тысяч вещь прельстительная.

— Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет.

— Это еще что за сон? Ах вы… дворяне!

— Эх, Миша, душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить.

— Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эк ведь Иван вам загадку задал! — с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекосились. — Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами — поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: «Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено». (А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул: «Запомню!») Соблазнительная теория подлецам… Я ругаюсь, это глупо… не подлецам, а школьным фанфаронам с «неразрешимою глубиной мыслей». Хвастунишка, а суть-то вся: «С одной стороны, нельзя

не признаться, а с другой — нельзя не сознаться!» Вся его теория — подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет…

Ракитин разгорячился, почти не мог сдержать себя. Но вдруг, как бы вспомнив что-то, остановился.

— Ну довольно, — еще кривее улыбнулся он, чем прежде. — Чего ты смеешься? Думаешь, что я пошляк?

— Нет, я и не думал думать, что ты пошляк. Ты умен, но… оставь, это я сдуру усмехнулся. Я понимаю, что ты можешь разгорячиться, Миша. По твоему увлечению я догадался, что ты сам неравнодушен к Катерине Ивановне, я, брат, это давно подозревал, а потому и не любишь брата Ивана. Ты к нему ревнуешь?

— И к ее денежкам тоже ревную? Прибавляй, что ли?

— Нет, я ничего о деньгах не прибавлю, я не стану тебя обижать.

— Верю, потому что ты сказал, но черт вас возьми опять-таки с твоим братом Иваном! Не поймете вы никто, что его и без Катерины Ивановны можно весьма не любить. И за что я его

стану любить, черт возьми! Ведь удостоивает же он меня сам ругать. Почему же я его не имею права ругать?

— Я никогда не слыхал, чтоб он хоть что-нибудь сказал о тебе, хорошего или дурного; он совсем о тебе не говорит.

— А я так слышал, что третьего дня у Катерины Ивановны он отделывал меня на чем свет стоит — вот до чего интересовался вашим покорным слугой. И кто, брат, кого после этого ревнует — не знаю! Изволил выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики, буду писать лет десяток и в конце концов переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть, в сущности, держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей, по толкованию твоего братца, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством како-

го-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем чтобы перевесть в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил: у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую…

— Ах, Миша, ведь это, пожалуй, как есть все и сбудется, до последнего даже слова! — вскричал вдруг Алеша, не удержавшись и весело усмехаясь.

— И вы в сарказмы пускаетесь, Алексей Федорович.

— Нет, нет, я шучу, извини. У меня совсем другое на уме. Позволь, однако: кто бы тебе мог такие подробности сообщить, и от кого бы ты мог о них слышать. Ты не мог ведь быть у Катерины Ивановны лично, когда он про тебя говорил?

— Меня не было, зато был Дмитрий Федорович, и я слышал это своими ушами от Дмитрия же Федоровича, то есть, если хочешь, он не мне говорил, а я подслушал, разумеется поневоле, потому что у Грушеньки в ее спальне сидел и выйти не мог все время, пока Дмитрий Федорович в следующей комнате находился.

— Ах да, я и забыл, ведь она тебе родственни-

ца…

— Родственница? Это Грушенька-то мне родственница? — вскричал вдруг Ракитин, весь покраснев. — Да ты с ума спятил, что ли? Мозги не в порядке.

— А что? Разве не родственница? Я так слышал…

— Где ты мог это слышать? Нет, вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите, тогда как отец твой бегал шутом по чужим столам да при милости на кухне числился. Положим, я только поповский сын и тля пред вами, дворянами, но не оскорбляйте же меня так весело и беспутно. У меня тоже честь есть, Алексей Федорович. Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке, прошу понять-с!

Ракитин был в сильном раздражении.

— Извини меня ради Бога, я никак не мог предполагать, и притом какая она публичная? Разве она… такая? — покраснел вдруг Алеша. — Повторяю тебе, я так слышал, что родственница. Ты к ней часто ходишь и сам мне говорил, что ты с нею связей любви не имеешь… Вот я никогда не думал, что уж ты-то ее так презираешь! Да неужели она достойна того?

— Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои

причины, ну и довольно с тебя. А насчет родства, так скорей твой братец али даже сам батюшка навяжет ее тебе, а не мне, в родню. Ну вот и дошли. Ступай-ка на кухню лучше. Ай! что тут такое, что это? Аль опоздали? Да не могли же они так скоро отобедать? Аль тут опять что Карамазовы напрокудили? Наверно так. Вот и батюшка твой, и Иван Федорович за ним. Это они от игумена вырвались. Вон отец Исидор с крыльца кричит им что-то вослед. Да и батюшка твой кричит и руками махает, верно бранится. Ба, да вон и Миусов в коляске уехал, видишь, едет. Вот и Максимов-помещик бежит — да тут скандал; значит, не было обеда! Уж не прибили ли они игумена? Али их, пожалуй, прибили? Вот бы стоило!..

Ракитин восклицал не напрасно. Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Все произошло «по вдохновению».

VIII

Скандал

Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче, как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем

роде процесс, ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дрянного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. «По крайней мере монахи-то уж тут не виноваты ни в чем, — решил он вдруг на крыльце игумена, — а если и тут порядочный народ (этот отец Николай игумен тоже, кажется, из дворян), то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым?.. Спорить не буду, буду даже поддакивать, завлеку любезностью и… и… наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому шуту, этому пьеро и попался впросак точно так же, как и они все…»

Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы (где все это — он и сам не знал) он решил им уступить окончательно, раз навсегда, сегодня же, тем более что все это очень немногого стоило, и все свои иски против монастыря прекратить.

Все эти благие намерения еще более укрепились, когда они вступили в столовую отца игумена. Столовой у того, впрочем, не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всем помещении, правда гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у старца.

Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом: мебель была кожаная, красного дерева, старой моды двадцатых годов; даже полы были некрашеные; зато все блистало чистотой, на окнах было много дорогих цветов; но главную роскошь в эту минуту, естественно, составлял роскошно сервированный стол, хотя, впрочем, и тут говоря относительно: скатерть была чистая, посуда блестящая; превосходно выпеченный хлеб трех сортов, две бутылки вина, две бутылки великолепного монастырского меду и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом, славившимся в околотке. Водки не было вовсе. Ракитин повествовал потом, что обед приготовлен был на этот раз из пяти блюд: была уха со стерлядью и с пирожками с рыбой; затем разварная рыба, как-то отменно и особенно приготовленная; затем котлеты из красной рыбы, мороженое и компот и, наконец, киселек вроде бланманже. Все это пронюхал Ракитин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, с которою тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своем

самомнении. Он знал наверно, что будет в своем роде деятелем, но Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не сознает того сам, напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут уж не только Алеша, но и никто бы не мог ничего сделать.

Ракитин, как лицо мелкое, приглашен быть к обеду не мог, зато были приглашены отец Иосиф и отец Паисий и с ними еще один иеромонах. Они уже ожидали в столовой игумена, когда вступили Петр Александрович, Калганов и Иван Федорович. Дожидался еще в сторонке и помещик Максимов. Отец игумен, чтобы встретить гостей, выступил вперед на средину комнаты. Это был высокий, худощавый, но все еще сильный старик, черноволосый, с сильною проседью, с длинным постным и важным лицом. Он раскланялся с гостями молча, но те на этот раз подошли под благословение. Миусов рискнул было даже поцеловать ручку, но игумен вовремя как-то отдернул, и поцелуй не состоялся. Зато Иван Федорович и Калганов благословились на этот раз вполне, то есть с самым простодушным и простонародным чмоком в руку.

— Мы должны сильно извиниться, ваше высокопреподобие, — начал Петр Александрович, с любезностью осклабляясь, но все же важным и почтительным тоном, — извиниться, что являемся одни без приглашенного вами сопутника нашего, Федора Павловича; он принужден был от вашей трапезы уклониться, и не без причины. В келье у преподобного отца Зосимы, увлекшись своею несчастною родственною распрей с сыном, он произнес несколько слов совершенно некстати… словом сказать, совершенно неприличных… о чем, как кажется (он взглянул на иеромонахов), вашему высокопреподобию уже и известно. А потому, сам сознавая себя виновным и искренно раскаиваясь, почувствовал стыд и, не могши преодолеть его, просил нас, меня и сына своего, Ивана Федоровича, заявить пред вами все свое искреннее сожаление, сокрушение и покаяние… Одним словом, он надеется и хочет вознаградить все потом, а теперь, испрашивая вашего благословения, просит вас забыть о случившемся…

Миусов умолк. Произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен, до того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне и искренно любил опять человечество. Игумен, с важностью

выслушав его, слегка наклонил голову и произнес в ответ:

— Чувствительно сожалею об отлучившемся. Может быть, за трапезой нашею он полюбил бы нас, равно как и мы его. Милости просим, господа, откушать.

Он стал перед образом и начал вслух молитву. Все почтительно преклонили головы, а помещик Максимов даже особенно выставился вперед, сложив перед собой ладошками руки от особого благоговения.

И вот тут-то Федор Павлович и выкинул свое последнее колено. Надо заметить, что он действительно хотел было уехать и действительно почувствовал невозможность, после своего позорного поведения в келье старца, идти как ни в чем не бывало к игумену на обед. Не то чтоб он стыдился себя так уж очень и обвинял; может быть, даже совсем напротив; но все же он чувствовал, что обедать-то уж неприлично. Но только было подали к крыльцу гостиницы его дребезжащую коляску, как он, уже влезая в нее, вдруг приостановился. Ему вспомнились его же собственные слова у старца: «Мне все так и кажется, когда я вхожу куда-нибудь, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, — так вот давай же я

и в самом деле сыграю шута, потому что вы все до единого глупее и подлее меня». Ему захотелось всем отомстить за собственные пакости. Вспомнил он вдруг теперь кстати, как когда-то, еще прежде, спросили его раз: «За что вы такого-то так ненавидите?» И он ответил тогда, в припадке своего шутовского бесстыдства: «А вот за что: он, правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость, и только что сделал, тотчас же за то и возненавидел его». Припомнив это теперь, он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. «А коль начал, так и кончить», — решил он вдруг. Сокровеннейшее ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами: «Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства: не стыжусь, дескать, вас, да и только!» Кучеру он велел подождать, а сам скорыми шагами воротился в монастырь и прямо к игумену. Он еще не знал хорошо, что сделает, но знал, что уже не владеет собою и — чуть толчок — мигом дойдет теперь до последнего предела какой-нибудь мерзости, — впрочем, только мерзости, а отнюдь не какого-нибудь преступления или такой выходки, за которую может суд

наказать. В последнем случае он всегда умел себя сдерживать и даже сам себе дивился насчет этого в иных случаях. Он показался в столовой игумена ровно в тот миг, когда кончилась молитва и все двинулись к столу. Остановившись на пороге, оглядел компанию и засмеялся длинным, наглым, злым смешком, всем отважно глядя в глаза.

— А они-то думали, я уехал, а я вот он! — вскричал он на всю залу.

Одно мгновение все смотрели на него в упор и молчали, и вдруг все почувствовали, что выйдет сейчас что-нибудь отвратительное, нелепое, с несомненным скандалом. Петр Александрович из самого благодушного настроения перешел немедленно в самое свирепое. Все, что угасло было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось.

— Нет, вынести этого я не могу! — вскричал он, — совсем не могу и… никак не могу!

Кровь бросилась ему в голову. Он даже спутался, но было уже не до слога, и он схватил свою шляпу.

— Чего такого он не может? — вскричал Федор Павлович, — «никак не может и ни за что не может»? Ваше преподобие, входить мне аль нет? Принимаете сотрапезника?

— Милости просим от всего сердца, — ответил игумен. — Господа! Позволю ли себе, — прибавил он вдруг, — просить вас от всей души, оставив случайные распри ваши, сойтись в любви и родственном согласии, с молитвой ко Господу, за смиренною трапезою нашей…

— Нет, нет, невозможно, — крикнул как бы не в себе Петр Александрович.

— А коли Петру Александровичу невозможно, так и мне невозможно, и я не останусь. Я с тем и шел. Я всюду теперь буду с Петром Александровичем: уйдете, Петр Александрович, и я пойду, останетесь — и я останусь. Родственным-то согласием вы его наипаче кольнули, отец игумен: не признает он себя мне родственником! Так ли, фон Зон? Вот и фон Зон стоит. Здравствуй, фон Зон.

— Вы… это мне-с? — пробормотал изумленный помещик Максимов.

— Конечно, тебе, — крикнул Федор Павлович. — А то кому же? Не отцу же игумену быть фон Зоном!

— Да ведь и я не фон Зон, я Максимов.

— Нет, ты фон Зон. Ваше преподобие, знаете вы, что такое фон Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище — так, кажется,

у вас сии места именуются, — убили и ограбили и, несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне, за нумером. А когда заколачивали, то блудные плясавицы пели песни и играли на гуслях, то есть на фортоплясах. Так вот это тот самый фон Зон и есть. Он из мертвых воскрес, так ли, фон Зон?

— Что же это такое? Как же это? — послышались голоса в группе иеромонахов.

— Идем! — крикнул Петр Александрович, обращаясь к Калганову.

— Нет-с, позвольте! — визгливо перебил Федор Павлович, шагнув еще шаг в комнату, — позвольте и мне довершить. Там в келье ославили меня, что я будто бы непочтительно вел себя, а именно тем, что про пескариков крикнул. Петр Александрович Миусов, родственник мой, любит, чтобы в речи было plus de noblesse que de sincerite[7], а я, обратно, люблю, чтобы в моей речи было plus de sincerite que de noblesse[8], и — напле-

---

[7] Сноски: 7
Больше благородства, чем искренности (*фр.*).

[8] Сноски: 8
Больше искренности, чем благородства (*фр.*).

вать на noblesse[9]! Так ли, фон Зон? Позвольте, отец игумен, я хоть и шут и представляюсь шутом, но я рыцарь чести и хочу высказать. Да-с, я рыцарь чести, а в Петре Александровиче — прищемленное самолюбие и ничего больше. Я и приехал-то, может быть, сюда давеча, чтобы посмотреть да высказать. У меня здесь сын Алексей спасается; я отец, я об его участи забочусь и должен заботиться. Я все слушал да представлялся, да и смотрел потихоньку, а теперь хочу вам и последний акт представления проделать. У нас ведь как? У нас что падает, то уж и лежит. У нас что раз упало, то уж и вовеки лежи. Как бы не так-с! Я встать желаю. Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедоваться? Святыми отцами установлено исповедание на ухо, тогда только исповедь ваша будет таинством, и это издревле. А то как я ему объясню при всех, что я, например, то и то… ну то есть то и то, понимаете? Иногда ведь и сказать неприлично. Так ведь это скандал! Нет, отцы,

---

[9] Сноски: 9
Благородство (*фр.*).

с вами тут, пожалуй, в хлыстовщину втянешься… Я при первом же случае напишу в синод, а сына своего Алексея домой возьму…

Здесь нотабене. Федор Павлович слышал, где в колокола звонят. Были когда-то злые сплетни, достигшие даже до архиерея (не только по нашему, но и в других монастырях, где установилось старчество), что будто слишком уважаются старцы, в ущерб даже сану игуменскому, и что, между прочим, будто бы старцы злоупотребляют таинством исповеди и проч., и проч. Обвинения нелепые, которые и пали в свое время сами собой и у нас, и повсеместно. Но глупый дьявол, который подхватил и нес Федора Павловича на его собственных нервах куда-то все дальше и дальше в позорную глубину, подсказал ему это бывшее обвинение, в котором Федор Павлович сам не понимал первого слова. Да и высказать-то его грамотно не сумел, тем более что на этот раз никто в келье старца на коленях не стоял и вслух не исповедовался, так что Федор Павлович ничего не мог подобного сам видеть и говорил лишь по старым слухам и сплетням, которые кое-как припомнил. Но, высказав свою глупость, он почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же доказать слушателям,

а пуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом все больше и нелепее будет прибавлять к сказанному уже вздору еще такого же, — но уж сдержать себя не мог и полетел как с горы.

— Какая подлость! — крикнул Петр Александрович.

— Простите, — сказал вдруг игумен. — Было сказано издревле: «И начат глаголати на мя многая некая, даже и до скверных некиих вещей. Аз же вся слышав, глаголах в себе: се врачество Иисусово есть и послал исцелити тщеславную душу мою». А потому и мы благодарим вас с покорностью, гость драгоценный!

И он поклонился Федору Павловичу в пояс.

— Те-те-те! Ханжество и старые фразы! Старые фразы и старые жесты! Старая ложь и казенщина земных поклонов! Знаем мы эти поклоны! «Поцелуй в губы и кинжал в сердце», как в «Разбойниках» Шиллера. Не люблю, отцы, фальши, а хочу истины! Но не в пескариках истина, и я это провозгласил! Отцы монахи, зачем поститесь? Зачем вы ждете за это себе награды на небеси? Так ведь из-за этакой награды и я пойду поститься! Нет, монах святой, ты будь-ка добродетелен

в жизни, принеси пользу обществу, не заключаясь в монастыре на готовые хлеба и не ожидая награды там наверху, — так это-то потруднее будет. Я тоже ведь, отец игумен, умею складно сказать. Что у них тут наготовлено? — подошел он к столу. — Портвейн старый Фактори, медок разлива братьев Елисеевых, ай да отцы! Не похоже ведь на пескариков. Ишь бутылочек-то отцы наставили, хе-хе-хе! А кто это все доставлял сюда? Это мужик русский, труженик, своими мозольными руками заработанный грош сюда несет, отрывая его от семейства и от нужд государственных! Ведь вы, отцы святые, народ сосете!

— Это уж совсем недостойно с вашей стороны, — проговорил отец Иосиф. Отец Паисий упорно молчал. Миусов бросился бежать из комнаты, а за ним и Калганов.

— Ну, отцы, и я за Петром Александровичем! Больше я к вам не приду, просить будете на коленях, не приду. Тысячу рубликов я вам прислал, так вы опять глазки навострили, хе-хе-хе! Нет, еще не прибавлю. Мщу за мою прошедшую молодость, за все унижение мое! — застучал он кулаком по столу в припадке выделанного чувства. — Много значил этот монастырек в моей жизни! Много горьких слез я из-за него пролил!

Вы жену мою, кликушу, восставляли против меня. Вы меня на семи соборах проклинали, по околотку разнесли! Довольно, отцы, нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог. Ни тысячи, ни ста рублей, ни ста копеек, ничего от меня не получите!

Опять нотабене. Никогда и ничего такого особенного не значил наш монастырь в его жизни, и никаких горьких слез не проливал он из-за него. Но он до того увлекся выделанными слезами своими, что на одно мгновение чуть было себе сам не поверил; даже заплакал было от умиления; но в тот же миг почувствовал, что пора поворачивать оглобли назад. Игумен на злобную ложь его наклонил голову и опять внушительно произнес:

— Сказано снова: «Претерпи смотрительне находящее на тя невольно бесчестие с радостию, и да не смутишися, ниже возненавидиши бесчестящего тя». Так и мы поступим.

— Те-те-те, вознепщеваху! и прочая галиматья! Непщуйте, отцы, а я пойду. А сына моего Алексея беру отселе родительскою властию моею навсегда. Иван Федорович, почтительнейший сын мой, позвольте вам приказать за мною следовать! Фон Зон, чего тебе тут оставаться! Приходи сейчас

ко мне в город. У меня весело. Всего верстушка какая-нибудь, вместо постного-то масла подам поросенка с кашей; пообедаем; коньячку поставлю, потом ликерцу; мамуровка есть… Эй, фон Зон, не упускай своего счастия!

Он вышел, крича и жестикулируя. Вот в это-то мгновение Ракитин и увидел его выходящего и указал Алеше.

— Алексей! — крикнул ему издали отец, завидев его, — сегодня же переезжай ко мне совсем, и подушку и тюфяк тащи, и чтобы твоего духу здесь не пахло.

Алеша остановился как вкопанный, молча и внимательно наблюдая сцену. Федор Павлович между тем влез в коляску, а за ним, даже и не оборотившись к Алеше проститься, молча и угрюмо стал было влезать Иван Федорович. Но тут произошла еще одна паясническая и невероятная почти сцена, восполнившая эпизод. Вдруг у подножки коляски появился помещик Максимов. Он прибежал запыхавшись, чтобы не опоздать. Ракитин и Алеша видели, как он бежал. Он так спешил, что в нетерпении занес уже ногу на ступеньку, на которой еще стояла левая нога Ивана Федоровича, и, схватившись за кузов, стал было подпрыгивать в коляску.

— И я, и я с вами! — выкрикивал он, подпрыгивая, смеясь мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовый, — возьмите и меня!

— Ну не говорил ли я, — восторженно крикнул Федор Павлович, — что это фон Зон! Что это настоящий воскресший из мертвых фон Зон! Да как ты вырвался оттуда? Что ты там нафонзонил такого и как ты-то мог от обеда уйти? Ведь надо же медный лоб иметь! У меня лоб, а я, брат, твоему удивляюсь! Прыгай, прыгай скорей! Пусти его, Ваня, весело будет. Он тут как-нибудь в ногах полежит. Полежишь, фон Зон? Али на облучок его с кучером примостить?.. Прыгай на облучок, фон Зон!..

Но Иван Федорович, усевшийся уже на место, молча и изо всей силы вдруг отпихнул в грудь Максимова, и тот отлетел на сажень. Если не упал, то только случайно.

— Пошел! — злобно крикнул кучеру Иван Федорович.

— Ну чего же ты? Чего же ты? Зачем ты его так? — вскинулся Федор Павлович, но коляска уже поехала. Иван Федорович не ответил.

— Ишь ведь ты! — помолчав две минуты, проговорил опять Федор Павлович, косясь на сын-

ка. — Сам ведь ты весь этот монастырь затеял, сам подстрекал, сам одобрял, чего ж теперь сердишься?

— Полно вам вздор толочь, отдохните хоть теперь немного, — сурово отрезал Иван Федорович.

Федор Павлович опять помолчал с две минуты.

— Коньячку бы теперь хорошо, — сентенциозно заметил он. Но Иван Федорович не ответил.

— Доедем, и ты выпьешь.

Иван Федорович все молчал.

Федор Павлович подождал еще минуты с две.

— А Алешку-то я все-таки из монастыря возьму, несмотря на то, что вам это очень неприятно будет, почтительнейший Карл фон Мор.

Иван Федорович презрительно вскинул плечами и, отворотясь, стал смотреть на дорогу. Затем уж до самого дома не говорили.

Книга третья. Сладострастники



I

В лакейской

Дом Федора Павловича Карамазова стоял далеко не в самом центре города, но и не совсем на окраине. Был он довольно ветх, но наружность имел приятную: одноэтажный, с мезонином, окрашенный серенькою краской и с красною железною крышкой. Впрочем, мог еще простоять очень долго, был поместителен и уютен. Много было в нем разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок. Водились в нем крысы, но Федор Павлович на них не вполне сердился: «Все же не так скучно по вечерам, когда остаешься один». А он действительно имел обыкновение отпускать слуг на ночь во флигель и в доме сам запирался один на всю ночь. Флигель этот стоял

на дворе, был обширен и прочен; в нем же определил Федор Павлович быть и кухне, хотя кухня была и в доме: не любил он кухонного запаха, и кушанье приносили через двор зимой и летом. Вообще дом был построен на большую семью: и господ, и слуг можно было бы поместить впятеро больше. Но в момент нашего рассказа в доме жил лишь Федор Павлович с Иваном Федоровичем, а в людском флигеле всего только три человека прислуги: старик Григорий, старуха Марфа, его жена, и слуга Смердяков, еще молодой человек. Приходится сказать несколько поподробнее об этих трех служебных лицах. О старике Григории Васильевиче Кутузове мы, впрочем, уже говорили довольно. Это был человек твердый и неуклонный, упорно и прямолинейно идущий к своей точке, если только эта точка по каким-нибудь причинам (часто удивительно нелогическим) становилась пред ним как непреложная истина. Вообще говоря, он был честен и неподкупен. Жена его, Марфа Игнатьевна, несмотря на то что пред волей мужа беспрекословно всю жизнь склонялась, ужасно приставала к нему, например, тотчас после освобождения крестьян, уйти от Федора Павловича в Москву и там начать какую-нибудь торговлишку (у них водились кое-

какие деньжонки); но Григорий решил тогда же и раз навсегда, что баба врет, «потому что всякая баба бесчестна», но что уходить им от прежнего господина не следует, каков бы он там сам ни был, «потому что это ихний таперича долг».

— Ты понимаешь ли, что есть долг? — обратился он к Марфе Игнатьевне.

— Про долг я понимаю, Григорий Васильевич, но какой нам тут долг, чтобы нам здесь оставаться, того ничего не пойму, — ответила твердо Марфа Игнатьевна.

— И не понимай, а оно так будет. Впредь молчи.

Так и вышло: они не ушли, а Федор Павлович назначил им жалованье, небольшое, и жалованье выплачивал. Григорий знал к тому же, что он на барина имеет влияние неоспоримое. Он чувствовал это, и это было справедливо: хитрый и упрямый шут, Федор Павлович, очень твердого характера «в некоторых вещах жизни», как он сам выражался, бывал, к собственному удивлению своему, весьма даже слабоват характером в некоторых других «вещах жизни». И он сам знал в каких, знал и боялся многого. В некоторых вещах жизни надо было держать ухо востро, и при этом тяжело было без верного человека,

а Григорий был человек вернейший. Даже так случалось, что Федор Павлович много раз в продолжение своей карьеры мог быть бит, и больно бит, и всегда выручал Григорий, хотя каждый раз прочитывал ему после того наставление. Но одни побои не испугали бы Федора Павловича: бывали высшие случаи, и даже очень тонкие и сложные, когда Федор Павлович и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке, которую он моментально и непостижимо вдруг иногда начинал ощущать в себе. Это были почти болезненные случаи: развратнейший и в сладострастии своем часто жестокий, как злое насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз, пьяными минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически отзывавшееся в душе его. «Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы», — говаривал он иногда. Вот в эти-то мгновения он и любил, чтобы подле, поблизости, пожалуй хоть и не в той комнате, а во флигеле, был такой человек, преданный, твердый, совсем не такой, как он, не развратный, который хотя бы все это совершающееся беспутство и видел и знал все тайны, но все же из преданности допускал бы

это все, не противился, главное — не укорял и ничем бы не грозил, ни в сем веке, ни в будущем; а в случае нужды так бы и защитил его, — от кого? От кого-то неизвестного, но страшного и опасного. Дело было именно в том, чтобы был непременно *другой* человек, старинный и дружественный, чтобы в больную минуту позвать его, только с тем чтобы всмотреться в его лицо, пожалуй перебросится словцом, совсем даже посторонним каким-нибудь, и коли он ничего, не сердится, то как-то и легче сердцу, а коли сердится, ну, тогда грустней. Случалось (но, впрочем, чрезвычайно редко), что Федор Павлович шел даже ночью во флигель будить Григория, чтобы тот на минутку пришел к нему. Тот приходил, и Федор Павлович заговаривал о совершеннейших пустяках и скоро отпускал, иногда даже с насмешечкой и шуточкой, а сам, плюнув, ложился спать и спал уже сном праведника. Нечто в этом роде случилось с Федором Павловичем и по приезде Алеши. Алеша «пронзил его сердце» тем, что «жил, все видел и ничего не осудил». Мало того, принес с собою небывалую вещь: совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив — всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную прямодушную при-

вязанность к нему, столь мало ее заслужившему. Все это было для старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом, совсем для него, любившего доселе одну лишь «скверну», неожиданным. По уходе Алеши он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать.

Я уже упоминал в начале моего рассказа, как Григорий ненавидел Аделаиду Ивановну, первую супругу Федора Павловича и мать первого сына его, Дмитрия Федоровича, и как, наоборот, защищал вторую его супругу, кликушу, Софью Ивановну, против самого своего господина и против всех, кому бы пришло на ум молвить о ней худое или легкомысленное слово. В нем симпатия к этой несчастной обратилась во что-то священное, так что и двадцать лет спустя он бы не перенес, от кого бы то ни шло, даже худого намека о ней и тотчас бы возразил обидчику. По наружности своей Григорий был человек холодный и важный, не болтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные. Точно так же невозможно было бы разъяснить в нем с первого взгляда: любил он свою безответную, покорную жену или нет, а между тем он ее действительно любил, и та, конечно, это понимала. Эта Марфа Игнатьевна была женщина не только

не глупая, но, может быть, и умнее своего супруга, по меньшей мере рассудительнее его в делах житейских, а между тем она ему подчинялась безропотно и безответно, с самого начала супружества, и бесспорно уважала его за духовный верх. Замечательно, что оба они всю жизнь свою чрезвычайно мало говорили друг с другом, разве о самых необходимых и текущих вещах. Важный и величественный Григорий обдумывал все свои дела и заботы всегда один, так что Марфа Игнатьевна раз навсегда давно уже поняла, что в советах ее он совсем не нуждается. Она чувствовала, что муж ценит ее молчание и признает за это в ней ум. Бить он ее никогда не бивал, разве всего только один раз, да и то слегка. В первый год брака Аделаиды Ивановны с Федором Павловичем, раз в деревне, деревенские девки и бабы, тогда еще крепостные, собраны были на барский двор попеть и поплясать. Начали «Во лузях», и вдруг Марфа Игнатьевна, тогда еще женщина молодая, выскочила вперед пред хором и прошлась «русскую» особенным манером, не по-деревенскому, как бабы, а как танцевала она, когда была дворовою девушкой у богатых Миусовых на домашнем помещичьем их театре, где обучал актеров танцевать выписанный из Москвы танцмейстер.

Григорий видел, как прошлась его жена, и дома у себя в избе, через час, поучил ее, потаскав маленько за волосы. Но тем и кончились раз навсегда побои и не повторялись более ни разу во всю жизнь, да и Марфа Игнатьевна закаялась с тех пор танцевать.

Детей им Бог не дал, был один ребеночек, да и тот умер. Григорий же видимо любил детей, даже не скрывал этого, то есть не стыдился выказывать. Дмитрия Федоровича он к себе принял на руки, когда сбежала Аделаида Ивановна, трехлетним мальчиком и провозился с ним почти год, сам гребешком вычесывал, сам даже обмывал его в корыте. Потом хлопотал он и с Иваном Федоровичем, и с Алешей, за что и получил пощечину; но об этом обо всем я уже повествовал. Собственный же ребеночек порадовал его лишь одною надеждой, когда Марфа Игнатьевна еще была беременна. Когда же родился, то поразил его сердце скорбью и ужасом. Дело в том, что родился этот мальчик шестипалым. Увидя это, Григорий был до того убит, что не только молчал вплоть до самого дня крещения, но и нарочно уходил молчать в сад. Была весна, он все три дня копал гряды в огороде в саду. На третий день приходилось крестить младенца; Григорий к этому

времени уже нечто сообразил. Войдя в избу, где собрался причт и пришли гости и, наконец, сам Федор Павлович, явившийся лично в качестве восприемника, он вдруг заявил, что ребенка «не надо бы крестить вовсе», — заявил не громко, в словах не распространялся, еле выцеживал по словечку, а только тупо и пристально смотрел при этом на священника.

— Почему так? — с веселым удивлением осведомился священник.

— Потому это… дракон… — пробормотал Григорий.

— Как дракон, какой дракон?

Григорий промолчал некоторое время.

— Смешение природы произошло… — пробормотал он, хоть и весьма неясно, но очень твердо, и видимо не желая больше распространяться.

Посмеялись и, разумеется, бедненького ребеночка окрестили. Григорий молился у купели усердно, но мнения своего о новорожденном не изменил. Впрочем, ничему не помешал, только все две недели, как жил болезненный мальчик, почти не глядел на него, даже замечать не хотел и большею частью уходил из избы. Но когда мальчик через две недели помер от молочницы, то сам его уложил в гробик, с глубокою тоской

смотрел на него и, когда засыпали неглубокую маленькую его могилку, стал на колени и поклонился могилке в землю. С тех пор многие годы он ни разу о своем ребенке не упомянул, да и Марфа Игнатьевна ни разу при нем про ребенка своего не вспоминала, а когда с кем случалось говорить о своем «деточке», то говорила шепотом, хотя бы тут и не было Григория Васильевича. По замечанию Марфы Игнатьевны, он, с самой той могилки, стал по преимуществу заниматься «божественным», читал Четьи-Минеи, больше молча и один, каждый раз надевая большие свои серебряные круглые очки. Редко читывал вслух, разве Великим постом. Любил книгу Иова, добыл откуда-то список слов и проповедей «Богоносного отца нашего Исаака Сирина», читал его упорно и многолетно, почти ровно ничего не понимал в нем, но за это-то, может быть, наиболее ценил и любил эту книгу. В самое последнее время стал прислушиваться и вникать в хлыстовщину, на что по соседству оказался случай, видимо был потрясен, но переходить в новую веру не благорассудил. Начетливость «от божественного», разумеется, придала его физиономии еще пущую важность.

Может быть, он склонен был к мистицизму.

А тут как нарочно случай появления на свет его шестипалого младенца и смерть его совпали как раз с другим весьма странным, неожиданным и оригинальным случаем, оставившим на душе его, как однажды он сам впоследствии выразился, «печать». Так случилось, что в тот самый день, как похоронили шестипалого крошку, Марфа Игнатьевна, проснувшись ночью, услышала словно плач новорожденного ребенка. Она испугалась и разбудила мужа. Тот прислушался и заметил, что скорее это кто-нибудь стонет, «женщина будто бы. Он встал, оделся; была довольно теплая майская ночь. Выйдя на крыльцо, он ясно вслушался, что стоны идут из сада. Но сад был на ночь запираем со двора на замок, попасть же в него, кроме этого входа, нельзя было, потому что кругом всего сада шел крепкий и высокий забор. Воротясь домой, Григорий засветил фонарь, взял садовый ключ и, не обращая внимания на истерический ужас своей супруги, все еще уверявшей, что она слышит детский плач и что это плачет, наверно, ее мальчик и зовет ее, молча пошел в сад. Тут он ясно уразумел, что стоны идут из их баньки, стоявшей в саду, недалеко от калитки, и что стонет взаправду женщина. Отворив баню, он увидал зрелище, пред которым остолбенел:

городская юродивая, скитавшаяся по улицам и известная всему городу, по прозвищу Лизавета Смердящая, забравшись в их баню, только что родила младенца. Младенец лежал подле нее, а она помирала подле него. Говорить ничего не говорила, уже по тому одному, что не умела говорить. Но все это надо бы разъяснить особо.

II

Лизавета Смердящая

Тут было одно особенное обстоятельство, которое глубоко потрясло Григория, окончательно укрепив в нем одно неприятное и омерзительное прежнее подозрение. Эта Лизавета Смердящая была очень малого роста девка, «двух аршин с малым», как умилительно вспоминали о ней после ее смерти многие из богомольных старушек нашего городка. Двадцатилетнее лицо ее, здоровое, широкое и румяное, было вполне идиотское; взгляд же глаз неподвижный и неприятный, хотя и смирный. Ходила она всю жизнь, и летом и зимой, босая и в одной посконной рубашке. Почти черные волосы ее, чрезвычайно густые, закурчавленные как у барана, держались на голове ее в виде как бы какой-то огромной

шапки. Кроме того, всегда были запачканы в земле, в грязи, с налипшими в них листочками, лучиночками, стружками, потому что спала она всегда на земле и в грязи. Отец ее был бездомный, разорившийся и хворый мещанин Илья, сильно запивавший и приживавший уже много лет вроде работника у одних зажиточных хозяев, тоже наших мещан. Мать же Лизаветы давно померла. Вечно болезненный и злобный Илья бесчеловечно бивал Лизавету, когда та приходила домой. Но приходила она редко, потому что приживала по всему городу как юродивый Божий человек. И хозяева Ильи, и сам Илья, и даже многие из городских сострадательных людей, из купцов и купчих преимущественно, пробовали не раз одевать Лизавету приличнее, чем в одной рубашке, а к зиме всегда надевали на нее тулуп, а ноги обували в сапоги; но она обыкновенно, давая все надеть на себя беспрекословно, уходила и где-нибудь, преимущественно на соборной церковной паперти, непременно снимала с себя все, ей пожертвованное, — платок ли, юбку ли, тулуп, сапоги, — все оставляла на месте и уходила босая и в одной рубашке по-прежнему. Раз случилось, что новый губернатор нашей губернии, обозревая наездом наш городок, очень

обижен был в своих лучших чувствах, увидав Лизавету, и хотя понял, что это «юродивая», как и доложили ему, но все-таки поставил на вид, что молодая девка, скитающаяся в одной рубашке, нарушает благоприличие, а потому чтобы сего впредь не было. Но губернатор уехал, а Лизавету оставили как была. Наконец отец ее помер, и она тем самым стала всем богомольным лицам в городе еще милее, как сирота. В самом деле, ее как будто все даже любили, даже мальчишки ее не дразнили и не обижали, а мальчишки у нас, особенно в школе, народ задорный. Она входила в незнакомые дома, и никто не выгонял ее, напротив, всяк-то приласкает и грошик даст. Дадут ей грошик, она возьмет и тотчас снесет и опустит в которую-нибудь кружку, церковную аль острожную. Дадут ей на базаре бублик или калачик, непременно пойдет и первому встречному ребеночку отдаст бублик или калачик, а то так остановит какую-нибудь нашу самую богатую барыню и той отдаст; и барыни принимали даже с радостию. Сама же питалась не иначе как только черным хлебом с водой. Зайдет она, бывало, в богатую лавку, садится, тут дорогой товар лежит, тут и деньги, хозяева никогда ее не остерегаются, знают, что хоть тысячи выложи при ней

денег и забудь, она из них не возьмет ни копейки. В церковь редко заходила, спала же или по церковным папертям, или перелезши через чей-нибудь плетень (у нас еще много плетней вместо заборов даже до сегодня) в чьем-нибудь огороде. Домой, то есть в дом тех хозяев, у которых жил ее покойный отец, она являлась примерно раз в неделю, а по зимам приходила и каждый день, но только лишь на ночь, и ночует либо в сенях, либо в коровнике. Дивились на нее, что она выносит такую жизнь, но уж так она привыкла; хоть и мала была ростом, но сложения необыкновенно крепкого. Утверждали и у нас иные из господ, что все это она делает лишь из гордости, но как-то это не вязалось: она и говорить-то ни слова не умела и изредка только шевелила что-то языком и мычала — какая уж тут гордость. Вот и случилось, что однажды (давненько это было), в одну сентябрьскую светлую и теплую ночь, в полнолуние, весьма уже по-нашему поздно, одна хмельная ватага разгулявшихся наших господ, молодцов пять или шесть, возвращалась из клуба «задами» по домам. По обе стороны переулка шел плетень, за которым тянулись огороды прилежащих домов; переулок же выходил на мостки через нашу вонючую и длинную

лужу, которую у нас принято называть иногда речкой. У плетня, в крапиве и в лопушнике, усмотрела наша компания спящую Лизавету. Подгулявшие господа остановились над нею с хохотом и начали острить со всею возможною бесцензурностью. Одному барчонку пришел вдруг в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему: «Можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было, счесть такого зверя за женщину, вот хоть бы теперь, и проч.». Все с гордым омерзением решили, что нельзя. Но в этой кучке случился Федор Павлович, и он мигом выскочил и решил, что можно счесть за женщину, даже очень, и что тут даже нечто особого рода пикантное, и проч., и проч. Правда, в ту пору он у нас слишком уж даже выделанно напрашивался на свою роль шута, любил выскакивать и веселить господ, с видимым равенством конечно, но на деле совершенным пред ними хамом. Это было именно то самое время, когда он получил из Петербурга известие о смерти его первой супруги, Аделаиды Ивановны, и когда с крепом на шляпе пил и безобразничал так, что иных в городе, даже из самых беспутнейших, при взгляде на него коробило. Ватага, конечно, расхохоталась над неожиданным мнением; какой-то один из ва-

таги даже начал подстрекать Федора Павловича, но остальные принялись плевать еще пуще, хотя все еще с чрезмерною веселостью, и наконец пошли все прочь своею дорогой. Впоследствии Федор Павлович клятвенно уверял, что тогда и он вместе со всеми ушел; может быть, так именно и было, никто этого не знает наверно и никогда не знал, но месяцев через пять или шесть все в городе заговорили с искренним и чрезвычайным негодованием о том, что Лизавета ходит беременная, спрашивали и доискивались: чей грех, кто обидчик? Вот тут-то вдруг и разнеслась по всему городу странная молва, что обидчик есть самый этот Федор Павлович. Откуда взялась эта молва? Из той ватаги гулявших господ как раз оставался к тому времени в городе лишь один участник, да и то пожилой и почтенный статский советник, обладавший семейством и взрослыми дочерьми и который уж отнюдь ничего бы не стал распространять, если бы даже что и было; прочие же участники, человек пять, на ту пору разъехались. Но молва прямешенько указывала на Федора Павловича и продолжала указывать. Конечно, тот не очень-то даже и претендовал на это: каким-нибудь купчишкам или мещанам он и отвечать не стал бы. Тогда он

был горд и разговаривал не иначе как в своей компании чиновников и дворян, которых столь веселил. Вот в эту-то пору Григорий энергически и изо всех сил стал за своего барина и не только защищал его против всех этих наговоров, но вступал за него в брань и препирательства и многих переуверил. «Она сама, низкая, виновата», — говорил он утвердительно, а обидчиком был не кто иной, как «Карп с винтом» (так назывался один известный тогда городу страшный арестант, к тому времени бежавший из губернского острога и в нашем городе тайком проживавший). Догадка эта показалась правдоподобною, Карпа помнили, именно помнили, что в те самые ночи, под осень, он по городу шлялся и троих ограбил. Но весь этот случай и все эти толки не только не отвратили общей симпатии от бедной юродивой, но ее еще пуще стали все охранять и оберегать. Купчиха Кондратьева, одна зажиточная вдова, даже так распорядилась, что в конце еще апреля завела Лизавету к себе, с тем чтоб ее и не выпускать до самых родов. Стерегли неусыпно, но так вышло, что, несмотря на всю неусыпность, Лизавета в самый последний день, вечером, вдруг тайком ушла от Кондратьевой и очутилась в саду Федора Павловича. Как она в ее положении перелезла

через высокий и крепкий забор сада, осталось некоторого рода загадкой. Одни уверяли, что ее «перенесли», другие, что ее «перенесло». Вероятнее всего, что все произошло хоть и весьма мудреным, но натуральным образом, и Лизавета, умевшая лазить по плетням в чужие огороды, чтобы в них ночевать, забралась как-нибудь и на забор Федора Павловича, а с него, хоть и со вредом себе, соскочила в сад, несмотря на свое положение. Григорий бросился к Марфе Игнатьевне и послал ее к Лизавете помогать, а сам сбегал за старухой повитухой, мещанкой, кстати недалеко жившею. Ребеночка спасли, а Лизавета к рассвету померла. Григорий взял младенца, принес в дом, посадил жену и положил его к ней на колени, к самой ее груди: «Божье дитя-сирота — всем родня, а нам с тобой подавно. Этого покойничек наш прислал, а произошел сей от бесова сына и от праведницы. Питай и впредь не плачь». Так Марфа Игнатьевна и воспитала ребеночка. Окрестили и назвали Павлом, а по отчеству все его и сами, без указу, стали звать Федоровичем. Федор Павлович не противоречил ничему и даже нашел все это забавным, хотя изо всех сил продолжал от всего отрекаться. В городе понравилось, что он взял подкидыша.

Впоследствии Федор Павлович сочинил подкидышу и фамилию: назвал он его Смердяковым, по прозвищу матери его, Лизаветы Смердящей. Вот этот-то Смердяков и вышел вторым слугой Федора Павловича и проживал, к началу нашей истории, во флигеле вместе со стариком Григорием и старухой Марфой. Употреблялся же в поварах. Очень бы надо примолвить кое-что и о нем специально, но мне совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев, а потому и перехожу к моему рассказу, уповая, что о Смердякове как-нибудь сойдет само собою в дальнейшем течении повести.

III

Исповедь горячего сердца. В стихах

Алеша, выслушав приказание отца, которое тот выкрикнул ему из коляски, уезжая из монастыря, оставался некоторое время на месте в большом недоумении. Не то чтоб он стоял как столб, с ним этого не случалось. Напротив, он, при всем беспокойстве, успел тотчас же сходить на кухню игумена и разузнать, что наделал вверху его папаша. Затем, однако, пустился в путь, уповая, что

по дороге к городу успеет как-нибудь разрешить томившую его задачу. Скажу заранее: криков отца и приказания переселиться домой, «с подушками и тюфяком», он не боялся нимало. Он слишком хорошо понял, что приказание переезжать, вслух и с таким показным криком, дано было «в увлечении», так сказать даже для красоты, — вроде как раскутившийся недавно в их же городке мещанин, на своих собственных именинах, и при гостях, рассердясь на то, что ему не дают больше водки, вдруг начал бить свою же собственную посуду, рвать свое и женино платье, разбивать свою мебель и, наконец, стекла в доме и все опять-таки для красы; и все в том же роде, конечно, случилось теперь и с папашей. Назавтра, конечно, раскутившийся мещанин, отрезвившись, пожалел разбитые чашки и тарелки. Алеша знал, что и старик назавтра же наверно отпустит его опять в монастырь, даже сегодня же, может, отпустит. Да и был он уверен вполне, что отец кого другого, а его обидеть не захочет. Алеша уверен был, что его и на всем свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может. Это было для него аксиомой, дано раз навсегда, без рассуждений, и он в этом смысле шел вперед, безо всякого колебания.

Но в эту минуту в нем копошилась некоторая другая боязнь, совсем другого рода, и тем более мучительная, что он ее и сам определить бы не мог, именно боязнь женщины, и именно Катерины Ивановны, которая так настоятельно умоляла его давешнею, переданною ему госпожою Хохлаковою, запиской прийти к ней для чего-то. Это требование и необходимость непременно пойти вселила сразу какое-то мучительное чувство в его сердце, и все утро, чем далее, тем более, все больнее и больнее в нем это чувство разбаливалось, несмотря на все последовавшие затем сцены и приключения в монастыре, и сейчас у игумена, и проч., и проч. Боялся он не того, что не знал, о чем она с ним заговорит и что он ей ответит. И не женщины вообще он боялся в ней: женщин он знал, конечно, мало, но все-таки всю жизнь, с самого младенчества и до самого монастыря, только с ними одними и жил. Он боялся вот этой женщины, именно самой Катерины Ивановны. Он боялся ее с самого того времени, как в первый раз ее увидал. Видал же он ее всего только раз или два, даже три пожалуй, вымолвил даже однажды случайно с ней несколько слов. Образ ее вспоминался ему как красивой, гордой и властной девушки. Но не красота ее мучила

его, а что-то другое. Вот именно эта необъяснимость его страха и усиливала в нем теперь этот страх. Цели этой девушки были благороднейшие, он знал это; она стремилась спасти брата его Дмитрия, пред ней уже виноватого, и стремилась из одного лишь великодушия. И вот, несмотря на сознание и на справедливость, которую не мог же он не отдать всем этим прекрасным и великодушным чувствам, по спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к ее дому.

Он сообразил, что брата Ивана Федоровича, который был с нею так близок, он у нее не застанет: брат Иван наверно теперь с отцом. Дмитрия же не застанет еще вернее, и ему предчувствовалось почему. Итак, разговор их состоится наедине. Хотелось бы очень ему повидать прежде этого рокового разговора брата Дмитрия и забежать к нему. Не показывая письма, он бы мог с ним что-нибудь перемолвить. Но брат Дмитрий жил далеко и наверно теперь тоже не дома. Постояв с минуту на месте, он решился наконец окончательно. Перекрестив себя привычным и спешным крестом и сейчас же чему-то улыбнувшись, он твердо направился к своей страшной даме.

Дом ее он знал. Но если бы пришлось пойти на Большую улицу, потом через площадь и проч.,

то было бы довольно не близко. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, и расстояния в нем бывают довольно большие. Притом его ждал отец, может быть не успел еще забыть своего приказания, мог раскапризиться, а потому надо было поспешить, чтобы поспеть туда и сюда. Вследствие всех этих соображений он и решился сократить путь, пройдя задами, а все эти ходы он знал в городке как пять пальцев. Задами значило почти без дорог, вдоль пустынных заборов, перелезая иногда даже через чужие плетни, минуя чужие дворы, где, впрочем, всякий-то его знал и все с ним здоровались. Таким путем он мог выйти на Большую улицу вдвое ближе. Тут в одном месте ему пришлось проходить даже очень близко от отцовского дома, именно мимо соседского с отцовским сада, принадлежавшего одному ветхому маленькому закривившемуся домишке в четыре окна. Обладательница этого домишка была, как известно было Алеше, одна городская мещанка, безногая старуха, которая жила со своею дочерью, бывшею цивилизованной горничной в столице, проживавшею еще недавно все по генеральским местам, а теперь уже с год, за болезнию старухи, прибывшею домой и щеголявшею в шикарных платьях. Эта старуха и дочка

впали, однако, в страшную бедность и даже ходили по соседству на кухню к Федору Павловичу за супом и хлебом ежедневно. Марфа Игнатьевна им отливала с охотой. Но дочка, приходя за супом, платьев своих ни одного не продала, а одно из них было даже с предлинным хвостом. О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж конечно совсем случайно, от своего друга Ракитина, которому решительно все в их городишке было известно, и, узнав, позабыл, разумеется, тотчас. Но, поравнявшись теперь с садом соседки, он вдруг вспомнил именно про этот хвост, быстро поднял понуренную и задумавшуюся свою голову и … наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу.

За плетнем в соседском саду, взмостясь на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его Дмитрий Федорович и изо всех сил делал ему руками знаки, звал его и манил, видимо боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алеша тотчас подбежал к плетню.

— Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул, — радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. — Полезай сюда! Быстро! Ах, как славно, что ты пришел. Я только что о тебе думал…

Алеша и сам был рад и недоумевал только, как перелезть через плетень. Но «Митя» богатырскою рукой подхватил его локоть и помог скачку. Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки.

— Ну и гуляй, идем! — восторженным шепотом вырвалось у Мити.

— Куда же, — шептал и Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишко все-таки стоял от них не менее как шагах в пятидесяти. — Да тут никого нет, чего ты шепчешь?

— Чего шепчу? Ах, черт возьми, — крикнул вдруг Дмитрий Федорович самым полным голосом, — да чего же я шепчу? Ну, вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете и стерегу секрет. Объяснение впредь, но, понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно, и шепчу как дурак, тогда как не надо. Идем! Вон куда! До тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу!

Слава Высшему на свете,

Слава Высшему во мне!..

Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь,

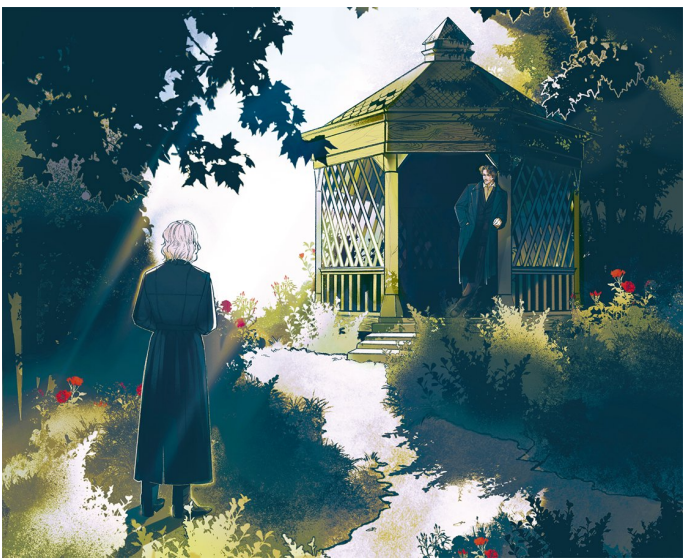
повторял…

Сад был величиной с десятину или немногим более, но обсажен деревьями лишь кругом, вдоль по всем четырем заборам, — яблонями, кленом, липой, березой. Средина сада была пустая, под лужайкой, на которой накашивалось в лето несколько пудов сена. Сад отдавался хозяйкой с весны внаем за несколько рублей. Были и гряды с малиной, крыжовником, смородиной, тоже всё около заборов; грядки с овощами близ самого дома, заведенные, впрочем, недавно. Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми стенками, но с крытым верхом и в которой еще можно было укрыться от дождя. Беседка строена была бог весть когда, по преданию лет пятьдесят назад, каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, отставным подполковником. Но все уже истлело, пол сгнил, все половицы шатались, от дерева пахло сыростью. В беседке стоял деревянный зеленый стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже

зеленые, на которых еще можно было сидеть. Алеша сейчас же заметил восторженное состояние брата, но, войдя в беседку, увидал на столике полбутылки коньяку и рюмочку.

— Это коньяк! — захохотал Митя, — а ты уж смотришь: «опять пьянствует»? Не верь фантому.

Не верь толпе пустой и лживой,
Забудь сомнения свои…



Не пьянствую я, а лишь «лакомствую», как говорит твой свинья Ракитин, который будет статским советником и все будет говорить «лакомствую». Садись. Я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди, да так, чтобы раздавить, ибо на всем свете… по-настоящему… по-на-сто-яще-му… (вникни! вникни!) люблю только одного тебя!

Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти исступлении.

— Одного тебя, да еще одну «подлую», в которую влюбился, да с тем и пропал. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя. Запомни! Теперь, пока весело, говорю! Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку, и буду смотреть на тебя, и все говорить. Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, потому что срок пришел. А впрочем, знаешь, я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь… здесь… могут открыться самые неожиданные уши. Все объясню, сказано: продолжение впредь. Почему рвался к тебе, жаждал сейчас тебя, все эти дни, и сейчас? (Я здесь уже пять дней как бросил якорь.) Все эти дни? Потому что тебе одному все скажу, потому что нужно, потому что ты нужен, потому что завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнется. Испытывал ты,

видал ты во сне, как в яму с горы падают? Ну, так я теперь не во сне лечу. И не боюсь, и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг… Ну да черт, все равно, что бы ни было. Сильный дух, слабый дух, бабий дух, — что бы ни было! Восхвалим природу: видишь, солнца сколько, небо-то как чисто, листья все зелены, совсем еще лето, час четвертый пополудни, тишина! Куда шел?

— Шел к отцу, а сначала хотел зайти к Катерине Ивановне.

— К ней и к отцу! Ух! Совпадение! Да ведь я тебя для чего же и звал-то, для чего и желал, для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами? Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне, да тем и покончить и с ней, и с отцом. Послать ангела. Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать ангела. И вот ты сам к ней и к отцу.

— Неужто ты меня хотел послать? — с болезненным выражением в лице вырвалось у Алеши.

— Стой, ты это знал. И вижу, что ты все сразу понял. Но молчи, пока молчи. Не жалей и не плачь!

Дмитрий Федорович встал, задумался и приложил палец ко лбу:

— Она тебя сама позвала, она тебе письмо написала, или что-нибудь, оттого ты к ней и пошел, а то разве бы ты пошел?

— Вот записка, — вынул ее из кармана Алеша. Митя быстро пробежал ее.

— И ты пошел по задам? О боги! Благодарю вас, что направили его по задам и он попался ко мне, как золотая рыбка старому дурню рыбаку в сказке. Слушай, Алеша, слушай, брат. Теперь я намерен уже все говорить. Ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу на земле. Ты ангел на земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь… А мне того и надо, чтобы меня кто-нибудь высший простил. Слушай: если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное, или по крайней мере один из них, и пред тем, улетая или погибая, приходит к другому и говорит: сделай мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, но о чем можно просить лишь на смертном одре, — то неужели же тот не исполнит… если друг, если брат?

— Я исполню, но скажи, что такое, и скажи поскорей, — сказал Алеша.

— Поскорей… Гм. Не торопись, Алеша: ты торопишься и беспокоишься. Теперь спешить

нечего. Теперь мир на новую улицу вышел. Эх, Алеша, жаль, что ты до восторга не додумывался! А впрочем, что ж я ему говорю? Это ты-то не додумывался! Что ж я, балбесина, говорю:

Будь, человек, благороден!

Чей это стих?

Алеша решился ждать. Он понял, что все дела его действительно, может быть, теперь только здесь. Митя на минуту задумался, опершись локтем на стол и склонив голову на ладонь. Оба помолчали.

— Леша, — сказал Митя, — ты один не засмеешься! Я хотел бы начать… мою исповедь… гимном к радости Шиллера. An die Freude[10]! Но я по-немецки не знаю, знаю только, что an die Freude. Не думай тоже, что я спьяну болтаю. Я совсем не спьяну. Коньяк есть коньяк, но мне нужно две бутылки, чтоб опьянеть, –

И Силен румянорожий
На споткнувшемся осле, –

а я и четверти бутылки не выпил и не Силен. Не Силен, а силён, потому что решение навеки взял. Ты каламбур мне прости, ты многое мне

---

[10] Сноски: 10
К радости (*нем.*).

сегодня должен простить, не то что каламбур. Не беспокойся, я не размазываю, я дело говорю и к делу вмиг приду. Не стану жида из души тянуть. Постой, как это…

Он поднял голову, задумался и вдруг восторженно начал:

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал,
По полям номад скитался
И поля опустошал.
Зверолов, с копьем, стрелами,
Грозен бегал по лесам…
Горе брошенным волнами
К неприютным берегам!

С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит –
В унижении глубоком
Человека всюду зрит!

Рыдания вырвались вдруг из груди Мити. Он схватил Алешу за руку.

— Друг, друг, в унижении, в унижении и теперь. Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед! Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает. Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном человеке, если только не вру. Дай Бог мне теперь не врать и себя не хвалить. Потому мыслю об этом человеке, что я сам такой человек.

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступи в союз навек.

Но только вот в чем дело: как я вступлю в союз с землею навек? Я не целую землю, не взрезаю ей грудь; что ж мне мужиком сделаться аль пастушком? Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. Вот ведь где беда, ибо все на свете загадка! И когда мне случалось погружаться в самый, в самый глубокий позор разврата (а мне только это и случалось), то я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? Никогда! Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть.

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;

Травку выманила к свету,
В солнцы хаос развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила.

У груди благой природы
Все, что дышит, радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастье,
Гроздий сок, венки харит,
Насекомым – сладострастье…
Ангел – Богу предстоит.

Но довольно стихов! Я пролил слезы, и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которою все будут смеяться, но ты нет. Вот и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе хочу сказать теперь о «насекомых», вот о тех, которых Бог одарил сладострастьем:

Насекомым – сладострастье!

Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в

крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастье буря, больше бури! Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Слушай, теперь

к самому делу.

IV

Исповедь горячего сердца. В анекдотах

Я там кутил. Давеча отец говорил, что я по нескольку тысяч платил за обольщение девиц. Это свинский фантом, и никогда того не бывало, а что было, то собственно на «это» денег не требовало. У меня деньги — аксессуар, жар души, обстановка. Ныне вот она моя дама, завтра на ее месте уличная девчоночка. И ту и другую веселю, деньги бросаю пригоршнями, музыка, гам, цыганки. Коли надо, и ей даю, потому что берут, берут с азартом, в этом надо признаться, и довольны, и благодарны. Барыньки меня любили, не все, а случалось, случалось; но я всегда переулочки любил, глухие и темные закоулочки, за площадью, — там приключения, там неожиданности, там самородки в грязи. Я, брат, аллегорически говорю. У нас в городишке таких переулков вещественных не было, но нравственные были. Но если бы ты был то, что я, ты понял бы, что эти значат. Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано — Карамазов! Раз пикник

всем городом был, поехали на семи тройках; в темноте, зимой, в санях, стал я жать одну соседскую девичью ручку и принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила, многое позволила в темноте. Думала, бедняжка, что я завтра за ней приеду и предложение сделаю (меня ведь, главное, за жениха ценили); а я с ней после того ни слова, пять месяцев ни полслова. Видел, как следили за мной из угла залы, когда, бывало, танцуют (а у нас то и дело что танцуют), ее глазки, видел, как горели огоньком — огоньком кроткого негодования. Забавляла эта игра только мое сладострастие насекомого, которое я в себе кормил. Чрез пять месяцев она за чиновника вышла и уехала… сердясь и все еще любя, может быть. Теперь они счастливо живут. Заметь, что я никому не сказал, не ославил; я хоть и низок желаниями и низость люблю, но я не бесчестен. Ты краснеешь, у тебя глаза сверкнули. Довольно с тебя этой грязи. И все это еще только так, цветочки польдекоковские, хотя жестокое насекомое уже росло, уже разрасталось в душе. Тут, брат, целый альбом воспоминаний. Пусть им Бог, миленьким, здоровья пошлет. Я, разрывая, любил не ссориться. И никогда не выдавал, никогда

ни одну не ославил. Но довольно. Неужели ты думал, что я тебя для этой только дряни зазвал сюда? Нет, я тебе любопытнее вещь расскажу; но не удивляйся, что не стыжусь тебя, а как будто даже и рад.

— Это ты оттого, что я покраснел, — вдруг заметил Алеша. — Я не от твоих речей покраснел и не за твои дела, а за то, что я то же самое, что и ты.

— Ты-то? Ну, хватил немного далеко.

— Нет, не далеко, — с жаром проговорил Алеша. (Видимо, эта мысль давно уже в нем была.) — Всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это все одно и то же, совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю.

— Стало быть, совсем не вступать?

— Кому можно — совсем не вступать.

— А тебе — можно?

— Кажется, нет.

— Молчи, Алеша, молчи, милый, хочется мне ручку твою поцеловать, так, из умиления. Эта шельма Грушенька знаток в человеках, она мне говорила однажды, что она когда-нибудь тебя съест. Молчу, молчу! Из мерзостей, с поля, зага-

женного мухами, перейдем на мою трагедию, тоже на поле, загаженное мухами, то есть всякою низостью. Дело-то ведь в том, что старикашка хоть и соврал об обольщении невинностей, но в сущности, в трагедии моей, это так ведь и было, хотя раз только было, да и то не состоялось. Старик, который меня же корил небылицей, этой-то штуки и не знает: я никому никогда не рассказывал, тебе первому сейчас расскажу, конечно Ивана исключая, Иван все знает. Раньше тебя давно знает. Но Иван — могила.

— Иван — могила?

— Да.

Алеша слушал чрезвычайно внимательно.

— Я ведь в этом баталионе, в линейном, хоть и прапорщиком состоял, но все равно как бы под надзором, вроде как ссыльный какой. А городишко принимал меня страшно хорошо. Денег я бросал много, верили, что я богат, я и сам тому верил. А впрочем, чем-то и другим я им, должно быть, угодил. Хоть и головами покивали, а, право, любили. Мой подполковник, старик уже, невзлюбил меня вдруг. Придирался ко мне; да рука у меня была, к тому же весь город за меня стоял, придраться нельзя было очень-то. Виноват был я и сам, сам нарочно почтения не отдавал

надлежащего. Гордился. У этого старого упрямца, недурного очень человека и добродушнейшего хлебосола, были когда-то две жены, обе померли. Одна, первая, была из каких-то простых и оставила ему дочь, тоже простую. Была уже при мне девою лет двадцати четырех и жила с отцом вместе с теткой, сестрой покойной матери. Тетка — бессловесная простота, а племянница, старшая дочь подполковника, — бойкая простота. Люблю, вспоминая, хорошее слово сказать: никогда-то, голубчик, я прелестнее характера женского не знал, как этой девицы, Агафьей звали ее, представь себе, Агафьей Ивановной. Да и недурна она вовсе была, в русском вкусе — высокая, дебелая, полнотелая, с глазами прекрасными, лицо, положим, грубоватое. Не выходила замуж, хотя двое сватались, отказала и веселости не теряла. Сошелся я с ней — не этаким образом, нет, тут было чисто, а так, по-дружески. Я ведь часто с женщинами сходился совершенно безгрешно, по-дружески. Болтаю с ней такие откровенные вещи, что ух! — а она только смеется. Многие женщины откровенности любят, заметь себе, а она к тому же была девушка, что очень меня веселило. И вот еще что: никак бы ее барышней нельзя было назвать. Жили они у отца с теткой, как-то

добровольно принижая себя, со всем другим обществом не равняясь. Ее все любили и нуждались в ней, потому что портниха была знатная: был талант, денег за услуги не требовала, делала из любезности, но когда дарили — не отказывалась принять. Подполковник же, тот — куда! Подполковник был одно из самых первых лиц по нашему месту. Жил широко, принимал весь город, ужины, танцы. Когда я приехал и в батальон поступил, заговорили во всем городишке, что вскоре пожалует к нам, из столицы, вторая дочь подполковника, раскрасавица из красавиц, а теперь только что-де вышла из аристократического столичного одного института. Эта вторая дочь — вот эта самая Катерина Ивановна и есть, и уже от второй жены подполковника. А вторая эта жена, уже покойница, была из знатного, какого-то большого генеральского дома, хотя, впрочем, как мне достоверно известно, денег подполковнику тоже никаких не принесла. Значит, была с родней, да и только, разве там какие надежды, а в наличности ничего. И однако, когда приехала институтка (погостить, а не навсегда), весь городишко у нас точно обновился, самые знатные наши дамы — две превосходительные, одна полковница, да и все, все за ними, тотчас же

приняли участие, расхватали ее, веселить начали, царица балов, пикников, живые картины состряпали в пользу каких-то гувернанток. Я молчу, я кучу, я одну штуку именно тогда удрал такую, что весь город тогда загалдел. Вижу, она меня раз обмерила взглядом, у батарейного командира это было, да я тогда не подошел: пренебрегаю, дескать, знакомиться. Подошел я к ней уже несколько спустя, тоже на вечере, заговорил, еле поглядела, презрительные губки сложила, а, думаю, подожди, отмщу! Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев, и сам это чувствовал. Главное, то чувствовал, что «Катенька» не то чтобы невинная институтка такая, а особа с характером, гордая и в самом деле добродетельная, а пуще всего с умом и образованием, а у меня ни того, ни другого. Ты думаешь, я предложение хотел сделать? Нимало, просто отмстить хотел за то, что я такой молодец, а она не чувствует. А пока кутеж и погром. Меня наконец подполковник на три дня под арест посадил. Вот к этому-то времени как раз отец мне шесть тысяч прислал, после того как я послал ему форменное отречение от всех и вся, то есть мы, дескать, «в расчете», и требовать больше ничего не буду. Не понимал я тогда ничего: я, брат, до са-

мого сюда приезда, и даже до самых последних теперешних дней, и даже, может быть, до сегодня, не понимал ничего об этих всех наших с отцом денежных пререканиях. Но это к черту, это потом. А тогда, получив эти шесть, узнал я вдруг заведомо по одному письмецу от приятеля про одну любопытнейшую вещь для себя, именно что подполковником нашим недовольны, что подозревают его не в порядке, одним словом, что враги его готовят ему закуску. И впрямь приехал начальник дивизии и распек на чем свет стоит. Затем немного спустя велено в отставку подать. Я тебе рассказывать не буду, как это все вышло в подробности, были у него враги действительно, только вдруг в городе чрезмерное охлаждение к нему и ко всей фамилии, все вдруг точно отхлынули. Вот и вышла тогда первая моя штука: встречаю я Агафью Ивановну, с которой всегда дружбу хранил, и говорю: «А ведь у папаши казенных-то денег четырех тысяч пятисот рублей нет». — «Что вы это, почему говорите? Недавно генерал был, все налицо были…» — «Тогда были, а теперь нет». Испугалась ужасно: «Не пугайте, пожалуйста, от кого вы слышали?» — «Не беспокойтесь, говорю, никому не скажу, а вы знаете, что я на сей счет могила, а вот что хотел я вам

только на сей счет тоже в виде, так сказать, „всякого случая“ присовокупить: когда потребуют у папаши четыре-то тысячки пятьсот, а у него не окажется, так чем под суд-то, а потом в солдаты на старости лет угодить, пришлите мне тогда лучше вашу институтку секретно, мне как раз деньги выслали, я ей четыре-то тысячки, пожалуй, и отвалю и в святости секрет сохраню». — «Ах, какой вы, говорит, подлец (так и сказала)! какой вы злой, говорит, подлец! Да как вы смеете!» Ушла в негодовании страшном, а я ей вслед еще раз крикнул, что секрет сохранен будет свято и нерушимо. Эти обе бабы, то есть Агафья и тетка ее, скажу вперед, оказались во всей этой истории чистыми ангелами, а сестру эту, гордячку, Катю, воистину обожали, принижали себя пред нею, горничными ее были… Только Агафья эту штуку, то есть разговор-то наш, ей тогда и передай. Я это потом все как пять пальцев узнал. Не скрыла, ну а мне, разумеется, того было и надо.

Вдруг приезжает новый майор принимать батальон. Принимает. Старый подполковник вдруг заболевает, двинуться не может, двое суток дома сидит, суммы казенной не сдает. Доктор наш Кравченко уверял, что действительно болен был. Только я вот что досконально знал по секрету

и даже давно: что сумма, когда отсмотрит ее начальство, каждый раз после того, и это уже года четыре кряду, исчезала на время. Ссужал ее подполковник вернейшему одному человеку, купцу нашему, старому вдовцу, Трифонову, бородачу в золотых очках. Тот съездит на ярмарку, сделает какой надо ему там оборот и возвращает тотчас подполковнику деньги в целости, а с тем вместе привозит с ярмарки гостинцу, а с гостинцами и процентики. Только в этот раз (я тогда узнал все это совершенно случайно от подростка, слюнявого сынишки Трифонова, сына и наследника, развратнейшего мальчишки, какого свет производил), в этот раз, говорю, Трифонов, возвратясь с ярмарки, ничего не возвратил. Подполковник бросился к нему: «Никогда я от вас ничего не получал, да и получать не мог» — вот ответ. Ну, так и сидит наш подполковник дома, голову себе обвязал полотенцем, ему они все три льду к темени прикладывают; вдруг вестовой с книгою и с приказом: «Сдать казенную сумму, тотчас же, немедленно, через два часа». Он расписался, я эту подпись в книге потом видел, — встал, сказал, что одеваться в мундир идет, прибежал в свою спальню, взял двухствольное охотничье свое ружье, зарядил, вкатил солдатскую пулю, снял

с правой ноги сапог, ружье упер в грудь, а ногой стал курок искать. А Агафья уже подозревала, мои тогдашние слова запомнила, подкралась и вовремя подсмотрела: ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружье выстрелило вверх в потолок; никого не ранило; вбежали остальные, схватили его, отняли ружье, за руки держат… Все это я потом узнал до черты. Сидел я тогда дома, были сумерки, и только что хотел выходить, оделся, причесался, платок надушил, фуражку взял, как вдруг отворяется дверь и — предо мною, у меня на квартире, Катерина Ивановна.

Бывают же странности: никто-то не заметил тогда на улице, как она ко мне прошла, так что в городе так это и кануло. Я же нанимал квартиру у двух чиновниц, древнейших старух, они мне и прислуживали, бабы почтительные, слушались меня во всем и по моему приказу замолчали потом обе, как чугунные тумбы. Конечно, я все тотчас понял. Она вошла и прямо глядит на меня, темные глаза смотрят решительно, дерзко даже, но в губах и около губ, вижу, есть нерешительность.

— Мне сестра сказала, что вы дадите четыре тысячи пятьсот рублей, если я приду за ними… к вам сама. Я пришла… дайте деньги!.. — не вы-

держала, задохлась, испугалась, голос пресекся, а концы губ и линии около губ задрожали. — Алешка, слушаешь или спишь?

— Митя, я знаю, что ты всю правду скажешь, — произнес в волнении Алеша.

— Ее самую и скажу. Если всю правду, то вот как было, себя не пощажу. Первая мысль была — карамазовская. Раз, брат, меня фаланга укусила, я две недели от нее в жару пролежал; ну так вот и теперь вдруг за сердце, слышу, укусила фаланга, злое-то насекомое, понимаешь? Обмерил я ее глазом. Видел ты ее? Ведь красавица. Да не тем она красива тогда была. Красива была она тем в ту минуту, что она благородная, а я подлец, что она в величии своего великодушия и жертвы своей за отца, а я клоп. И вот от меня, клопа и подлеца, она вся зависит, вся, вся кругом, и с душой и с телом. Очерчена. Я тебе прямо скажу: эта мысль, мысль фаланги, до такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не истекло от одного томления. Казалось бы, и борьбы не могло уже быть никакой: именно бы поступить как клопу, как злому тарантулу, безо всякого сожаления… Пересекло у меня дух даже. Слушай: ведь я, разумеется, завтра же приехал бы руки просить, чтобы все это благороднейшим, так сказать, обра-

зом завершить и чтобы никто, стало быть, этого не знал и не мог бы знать. Потому что ведь я человек хоть и низких желаний, но честный. И вот вдруг мне тогда в ту же секунду кто-то и шепни на ухо: «Да ведь завтра-то этакая, как приедешь с предложением руки, и не выйдет к тебе, а велит кучеру со двора тебя вытолкать. Ославляй, дескать, по всему городу, не боюсь тебя!» Взглянул я на девицу, не соврал мой голос: так конечно, так оно и будет. Меня выгонят в шею, по теперешнему лицу уже судить можно. Закипела во мне злость, захотелось подлейшую, поросячью, купеческую штучку выкинуть: поглядеть это на нее с насмешкой, и тут же, пока стоит перед тобой, и огорошить ее с интонацией, с какою только купчик умеет сказать:

— Это четыре-то тысячи! Да я пошутил-с, что вы это? Слишком легковерно, сударыня, сосчитали. Сотенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием и охотою, а четыре тысячи — это деньги не такие, барышня, чтоб их на такое легкомыслие кидать. Обеспокоить себя напрасно изволили.

Видишь, я бы, конечно, все потерял, она бы убежала, но зато инфернально, мстительно вышло бы, всего остального стоило бы. Выл бы потом всю жизнь от раскаяния, но только чтобы

теперь эту штучку отмочить! Веришь ли, никогда этого у меня ни с какой не бывало, ни с единою женщиной, чтобы в этакую минуту я на нее глядел с ненавистью, — и вот крест кладу: я на эту глядел тогда секунды три или пять со страшною ненавистью, — с тою самою ненавистью, от которой до любви, до безумнейшей любви — один волосок! Я подошел к окну, приложил лоб к мерзлому стеклу и помню, что мне лоб обожгло льдом, как огнем. Долго не задержал, не беспокойся, обернулся, подошел к столу, отворил ящик и достал пятитысячный пятипроцентный безыменный билет (в лексиконе французском лежал у меня). Затем молча ей показал, сложил, отдал, сам отворил ей дверь в сени и, отступя шаг, поклонился ей в пояс почтительнейшим, проникновеннейшим поклоном, верь тому! Она вся вздрогнула, посмотрела пристально секунду, страшно побледнела, ну как скатерть, и вдруг, тоже ни слова не говоря, не с порывом, а мягко так, глубоко, тихо, склонилась вся и прямо мне в ноги — лбом до земли, не по-институтски, по-русски! Вскочила и побежала. Когда она выбежала, я был при шпаге; я вынул шпагу и хотел было тут же заколоть себя, для чего — не знаю, глупость была страшная, конечно, но, должно

быть, от восторга. Понимаешь ли ты, что от иного восторга можно убить себя; но я не закололся, а только поцеловал шпагу и вложил ее опять в ножны, — о чем, впрочем, мог бы тебе и не упоминать. И даже, кажется, я сейчас-то, рассказывая обо всех борьбах, немножко размазал, чтобы себя похвалить. Но пусть, пусть так и будет, и черт дери всех шпионов сердца человеческого! Вот весь мой этот бывший «случай» с Катериной Ивановной. Теперь, значит, брат Иван о нем знает да ты — и только!

Дмитрий Федорович встал, в волнении шагнул шаг и другой, вынул платок, обтер со лба пот, затем сел опять, но не на то место, где прежде сидел, а на другое, на скамью напротив, у другой стены, так что Алеша должен был совсем к нему повернуться.

V

Исповедь горячего сердца. «Вверх пятами»

— Теперь, — сказал Алеша, — я первую половину этого дела знаю.

— Первую половину ты понимаешь: это драма, и произошла она там. Вторая же половина есть трагедия, и произойдет она здесь.

— Изо второй половины я до сих пор ничего не понимаю, — сказал Алеша.

— А я-то? Я-то разве понимаю?

— Постой, Дмитрий, тут есть одно главное слово. Скажи мне: ведь ты жених, жених и теперь?

— Женихом я стал не сейчас, а всего три месяца лишь спустя после тогдашнего-то. На другой же день, как это тогда случилось, я сказал себе, что случай исчерпан и кончен, продолжения не будет. Прийти с предложением руки казалось мне низостью. С своей стороны и она все шесть недель потом как у нас в городе прожила — ни словечком о себе знать не дала. Кроме одного, вправду, случая: на другой день после ее посещения прошмыгнула ко мне их горничная и, ни слова не говоря, пакет передала. На пакете адрес: такому-то. Вскрываю — сдача с билета в пять тысяч. Надо было всего четыре тысячи пятьсот, да на продаже пятитысячного билета потеря рублей в двести с лишком произошла. Прислала мне всего двести шестьдесят, кажется, рубликов, не помню хорошенько, и только одни деньги — ни записки, ни словечка, ни объяснения. Я в пакете искал знака какого-нибудь карандашом — н-ничего! Что ж, я закутил пока на мои остальные рубли, так что и новый майор

мне выговор наконец принужден был сделать. Ну, а подполковник казенную сумму сдал — благополучно и всем на удивленье, потому что никто уже у него денег в целости не предполагал. Сдал, да и захворал, слег, лежал недели три, затем вдруг размягчение в мозгу произошло, и в пять дней скончался. Похоронили с воинскими почестями, еще не успел отставку получить. Катерина Ивановна, сестра и тетка, только что похоронив отца, дней через десять двинулись в Москву. И вот пред отъездом только, в самый тот день, когда уехали (я их не видал и не провожал), получаю крошечный пакетик, синенький, кружевная бумажка, а на ней одна только строчка карандашом: «Я вам напишу, ждите. К.». Вот и все.

Поясню тебе теперь в двух словах. В Москве у них дела обернулись с быстротою молнии и с неожиданностью арабских сказок. Эта генеральша, ее главная родственница, вдруг разом лишается своих двух ближайших наследниц, своих двух ближайших племянниц — обе на одной и той же неделе помирают от оспы. Потрясенная старуха Кате обрадовалась, как родной дочери, как звезде спасения, накинулась на нее, переделала тотчас завещание в ее пользу, но это в будущем, а пока теперь, прямо в руки, — восемьдесят

тысяч, вот тебе, мол, приданое, делай с ним что хочешь. Истерическая женщина, я ее в Москве потом наблюдал. Ну вот вдруг я тогда и получаю по почте четыре тысячи пятьсот рублей; разумеется, недоумеваю и удивлен как бессловесный. Три дня спустя приходит и обещанное письмо. Оно и теперь у меня, оно всегда со мной, и умру я с ним — хочешь, покажу? Непременно прочти: предлагается в невесты, сама себя предлагает, «люблю, дескать, безумно, пусть вы меня не любите — все равно, будьте только моим мужем. Не пугайтесь — ни в чем вас стеснять не буду, буду ваша мебель, буду тот ковер, по которому вы ходите… Хочу любить вас вечно, хочу спасти вас от самого себя…» Алеша, я недостоин даже пересказывать эти строки моими подлыми словами и моим подлым тоном, всегдашним моим подлым тоном, от которого я никогда не мог исправиться! Пронзило это письмо меня до сегодня, и разве мне теперь легко, разве мне сегодня легко? Тогда я тотчас же написал ответ (я никак не мог сам приехать в Москву). Слезами писал его; одного стыжусь вечно: упомянул, что она теперь богатая и с приданым, а я только нищий бурбон — про деньги упомянул! Я бы должен был это перенести, да с пера сорвалось. Тогда же, тот-

час написал в Москву Ивану и все ему объяснил в письме по возможности, в шесть листов письмо было, и послал Ивана к ней. Что ты смотришь, что ты глядишь на меня? Ну да, Иван влюбился в нее, влюблен и теперь, я это знаю, я глупость сделал, по-вашему, по-светскому, но, может быть, вот эта-то глупость одна теперь и спасет нас всех! Ух! Разве ты не видишь, как она его почитает, как она его уважает? Разве она может, сравнив нас обоих, любить такого, как я, да еще после всего того, что здесь произошло?

— А я уверен, что она любит такого, как ты, а не такого, как он.

— Она свою добродетель любит, а не меня, — невольно, но почти злобно вырвалось вдруг у Дмитрия Федоровича. Он засмеялся, но через секунду глаза его сверкнули, он весь покраснел и с силой ударил кулаком по столу.

— Клянусь, Алеша, — воскликнул он со страшным и искренним гневом на себя, — верь не верь, но вот как Бог свят, и что Христос есть Господь, клянусь, что я хоть и усмехнулся сейчас ее высшим чувствам, но знаю, что я в миллион раз ничтожнее душой, чем она, и что эти лучшие чувства ее — искренни, как у небесного ангела! В том и трагедия, что я знаю это наверно.

Что в том, что человек капельку декламирует? Разве я не декламирую? А ведь искренен же я, искренен. Что же касается Ивана, то ведь я же понимаю, с каким проклятием должен он смотреть теперь на природу, да еще при его-то уме! Кому, чему отдано предпочтение? Отдано извергу, который и здесь, уже женихом будучи и когда на него все глядели, удержать свои дебоширства не мог, — и это при невесте-то, при невесте-то! И вот такой, как я, предпочтен, а он отвергается. Но для чего же? А для того, что девица из благодарности жизнь и судьбу свою изнасиловать хочет! Нелепость! Я Ивану в этом смысле ничего и никогда не говорил, Иван, разумеется, мне тоже об этом никогда ни полслова, ни малейшего намека; но судьба свершится, и достойный станет на место, а недостойный скроется в переулок навеки — в грязный свой переулок, в возлюбленный и свойственный ему переулок, и там, в грязи и вони, погибнет добровольно и с наслаждением. Заврался я что-то, слова у меня все износились, точно наобум ставлю, но так, как я определил, так тому и быть. Потону в переулке, а она выйдет за Ивана.

— Брат, постой, — с чрезвычайным беспокойством опять прервал Алеша, — ведь тут все-таки

одно дело ты мне до сих пор не разъяснил: ведь ты жених, ведь ты все-таки жених? Как же ты хочешь порвать, если она, невеста, не хочет?

— Я жених, формальный и благословенный, произошло все в Москве, по моем приезде, с парадом, с образами, и в лучшем виде. Генеральша благословила и — веришь ли, поздравила даже Катю: ты выбрала, говорит, хорошо, я вижу его насквозь. И веришь ли, Ивана она невзлюбила и не поздравила. В Москве же я много и с Катей переговорил, я ей всего себя расписал, благородно, в точности, в искренности. Все выслушала:

Было милое смущенье,

Были нежные слова…

Ну, слова-то были и гордые. Она вынудила у меня тогда великое обещание исправиться. Я дал обещание. И вот…

— Что же?

— И вот я тебя кликнул и перетащил сюда сегодня, сегодняшнего числа, — запомни! — с тем чтобы послать тебя, и опять-таки сегодня же, к Катерине Ивановне, и…

— Что?

— Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда, приказал, дескать, кланяться.

— Да разве это возможно?

— Да я потому-то тебя и посылаю вместо себя, что это невозможно, а то как же я сам-то ей это скажу?

— Да куда же ты пойдешь?

— В переулок.

— Так это к Грушеньке! — горестно воскликнул Алеша, всплеснув руками. — Да неужто же Ракитин в самом деле правду сказал? А я думал, что ты только так к ней походил и кончил.

— Это жениху-то ходить? Да разве это возможно, да еще при такой невесте и на глазах у людей? Ведь честь-то у меня есть небось. Только что я стал ходить к Грушеньке, так тотчас же и перестал быть женихом и честным человеком, ведь я это понимаю же. Что ты смотришь? Я, видишь ли, сперва всего пошел ее бить. Я узнал и знаю теперь достоверно, что Грушеньке этой был этим штабс-капитаном, отцовским поверенным, вексель на меня передан, чтобы взыскала, чтоб я унялся и кончил. Испугать хотели. Я Грушеньку и двинулся бить. Видал я ее и прежде мельком. Она не поражает. Про старика купца знал, который теперь вдобавок и болен, расслаблен лежит, но ей куш все-таки оставит знатный. Знал тоже, что деньгу нажить любит, наживает, на злые

проценты дает, пройдоха, шельма, без жалости. Пошел я бить ее, да у ней и остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет. Цикл времен совершен. Вот мое дело. А тогда вдруг как нарочно у меня в кармане, у нищего, очутились три тысячи. Мы отсюда с ней в Мокрое, это двадцать пять отсюда верст, цыган туда добыл, цыганок, шампанского, всех мужиков там шампанским перепоил, всех баб и девок, двинул тысячами. Через три дня гол, но сокол. Ты думал, достиг чего сокол-то? Даже издали не показала. Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал, но и только — клянусь! Говорит: «Хочешь, выйду замуж, ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь все мне делать, что я захочу, тогда, может, и выйду», — смеется. И теперь смеется!

Дмитрий Федорович почти с какою-то яростью поднялся с места, он вдруг стал как пьяный. Глаза его вдруг налились кровью.

— И ты в самом деле хочешь на ней жениться?

— Коль захочет, так тотчас же, а не захочет,

и так останусь; у нее на дворе буду дворником. Ты… ты, Алеша… — остановился он вдруг пред ним и, схватив его за плечи, стал вдруг с силою трясти его, — да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что все это бред, немыслимый бред, ибо тут трагедия! Узнай же, Алексей, что я могу быть низким человеком, со страстями низкими и погибшими, но вором, карманным вором, воришкой по передним, Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я воришка, я вор по карманам и по передним! Как раз пред тем, как я Грушеньку пошел бить, призывает меня в то самое утро Катерина Ивановна и в ужасном секрете, чтобы покамест никто не знал (для чего, не знаю, видно, так ей было нужно), просит меня съездить в губернский город и там по почте послать три тысячи Агафье Ивановне, в Москву; потому в город, чтобы здесь и не знали. Вот с этими-то тремя тысячами в кармане я и очутился тогда у Грушеньки, на них и в Мокрое съездили. Потом я сделал вид, что слетал в город, но расписки почтовой ей не представил, сказал, что послал, расписку принесу, и до сих пор не несу, забыл-с. Теперь, как ты думаешь, вот ты сегодня пойдешь и ей скажешь: «Приказали вам кланяться», а она тебе: «А деньги?» Ты еще

мог бы сказать ей: «Это низкий сладострастник и с неудержимыми чувствами подлое существо. Он тогда не послал ваши деньги, а растратил, потому что удержаться не мог, как животное», — но все-таки ты мог бы прибавить: «Зато он не вор, вот ваши три тысячи, посылает обратно, пошлите сами Агафье Ивановне, а сам велел кланяться». А теперь вдруг она: «А где деньги?»

— Митя, ты несчастен, да! Но все же не столько, сколько ты думаешь, — не убивай себя отчаянием, не убивай!

— А что ты думаешь, застрелюсь, как не достану трех тысяч отдать? В том-то и дело, что не застрелюсь. Не в силах теперь, потом, может быть, а теперь я к Грушеньке пойду… Пропадай мое сало!

— А у ней?

— Буду мужем ее, в супруги удостоюсь, а коль придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать…

— Катерина Ивановна все поймет, — торжественно проговорил вдруг Алеша, — поймет всю глубину во всем этом горе и примирится. У нее высший ум, потому что нельзя быть несчастнее тебя, она увидит сама.

— Не помирится она со всем, — осклабился Митя. — Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться. А знаешь, что всего лучше сделать?

— Что?

— Три тысячи ей отдать.

— Где же взять-то? Слушай, у меня есть две тысячи, Иван даст тысячу, вот и три, возьми и отдай.

— А когда они прибудут, твои три тысячи? Ты еще и несовершеннолетний вдобавок, а надо непременно, непременно, чтобы ты сегодня уже ей откланялся, с деньгами или без денег, потому что я дальше тянуть не могу, дело на такой точке стало. Завтра уже поздно, поздно. Я тебя к отцу пошлю.

— К отцу?

— Да, к отцу прежде нее. У него три тысячи и спроси.

— Да ведь он, Митя, не даст.

— Еще бы дал, знаю, что не даст. Знаешь ты, Алексей, что значит отчаяние?

— Знаю.

— Слушай: юридически он мне ничего не должен. Все я у него выбрал, все, я это знаю. Но ведь нравственно-то должен он мне, так иль не так?

Ведь он с материных двадцати восьми тысяч пошел и сто тысяч нажил. Пусть он мне даст только три тысячи из двадцати восьми, только три, и душу мою из ада извлечет, и зачтется это ему за многие грехи! Я же на этих трех тысячах, вот тебе великое слово, покончу, и не услышит он ничего обо мне более вовсе. В последний раз случай ему даю быть отцом. Скажи ему, что сам Бог ему этот случай посылает.

— Митя, он ни за что не даст.

— Знаю, что не даст, в совершенстве знаю. А теперь особенно. Мало того, я вот что еще знаю: теперь, на днях только, всего только, может быть, вчера, он в первый раз узнал *серьезно* (подчеркни: серьезно), что Грушенька-то в самом деле, может быть, не шутит и за меня замуж захочет прыгнуть. Знает он этот характер, знает эту кошку. Ну так неужто ж он мне вдобавок и деньги даст, чтоб этакому случаю способствовать, тогда как сам он от нее без памяти? Но и этого еще мало, я еще больше тебе могу привесть: я знаю, что у него уж дней пять как вынуты три тысячи рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет под пятью печатями, а сверху красною тесемочкой накрест перевязаны. Видишь, как подробно знаю! На пакете же

написано: «Ангелу моему Грушеньке, коли захочет прийти»; сам нацарапал, в тишине и в тайне, и никто-то не знает, что у него деньги лежат, кроме лакея Смердякова, в честность которого он верит, как в себя самого. Вот он уж третий аль четвертый день Грушеньку ждет, надеется, что придет за пакетом, дал он ей знать, а та знать дала, что «может-де и приду». Так ведь если она придет к старику, разве я могу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, зачем, значит, я здесь на секрете сижу и что именно сторожу?

— Ее?

— Ее. У этих шлюх, здешних хозяек, нанимает каморку Фома. Фома из наших мест, наш бывший солдат. Он у них прислуживает, ночью сторожит, а днем тетеревей ходит стрелять, да тем и живет. Я у него тут и засел; ни ему, ни хозяйкам секрет не известен, то есть что я здесь сторожу.

— Один Смердяков знает?

— Он один. Он мне и знать даст, коль та к старику придет.

— Это он тебе про пакет сказал?

— Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем. А старик Ивана в Чермашню посылает на два, на три дня прокатиться: объявился покупщик на рощу срубить ее за во-

семь тысяч, вот и упрашивает старик Ивана: «помоги, дескать, съезди сам» денька на два, на три, значит. Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла.

— Стало быть, он и сегодня ждет Грушеньку?

— Нет, сегодня она не придет, есть приметы. Наверно не придет! — крикнул вдруг Митя. — Так и Смердяков полагает. Отец теперь пьянствует, сидит за столом с братом Иваном. Сходи, Алексей, спроси у него эти три тысячи…

— Митя, милый, что с тобой! — воскликнул Алеша, вскакивая с места и всматриваясь в исступленного Дмитрия Федоровича. Одно мгновение он думал, что тот помешался.

— Что ты? Я не помешан в уме, — пристально и даже как-то торжественно смотря, произнес Дмитрий Федорович. — Небось я тебя посылаю к отцу и знаю, что говорю: я чуду верю.

— Чуду?

— Чуду промысла Божьего. Богу известно мое сердце, он видит все мое отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит совершиться ужасу? Алеша, я чуду верю, иди!

— Я пойду. Скажи, ты здесь будешь ждать?

— Буду, понимаю, что нескоро, что нельзя этак прийти и прямо бух! Он теперь пьян. Бу-

ду ждать и три часа, и четыре, и пять, и шесть, и семь, но только знай, что сегодня, хотя бы даже в полночь, ты явишься к Катерине Ивановне, *с деньгами или без денег*, и скажешь: «Велел вам кланяться». Я именно хочу, чтобы ты этот стих сказал: «Велел, дескать, кланяться».

— Митя! А вдруг Грушенька придет сегодня… не сегодня, так завтра аль послезавтра?

— Грушенька? Подсмотрю, ворвусь и помешаю…

— А если…

— А коль если, так убью. Так не переживу.

— Кого убьешь?

— Старика. Ее не убью.

— Брат, что ты говоришь!

— Я ведь не знаю, не знаю… Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь…

— Я пойду, Митя. Я верю, что Бог устроит, как знает лучше, чтобы не было ужаса.

— А я буду сидеть и чуда ждать. Но если не свершится, то…

Алеша, задумчивый, направился к отцу.

VI

Смердяков

Он и вправду застал еще отца за столом. Стол же был, по всегдашнему обыкновению, накрыт в зале, хотя в доме находилась и настоящая столовая. Эта зала была самая большая в доме комната, с какою-то старинною претензией меблированная. Мебель была древнейшая, белая, с красною ветхою полушелковою обивкой. В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом. На стенах, обитых белыми бумажными и во многих местах уже треснувшими обоями, красовались два большие портрета — одного какого-то князя, лет тридцать назад бывшего генерал-губернатором местного края, и какого-то архиерея, давно уже тоже почившего. В переднем углу помещалось несколько икон, пред которыми на ночь зажигалась лампадка… не столько из благоговения, сколько для того, чтобы комната на ночь была освещена. Федор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в три, в четыре утра, а до тех пор все, бывало, ходит по комнате или сидит в креслах и думает. Такую привычку

сделал. Ночевал он нередко совсем один в доме, отсылая слуг во флигель, но большею частью с ним оставался по ночам слуга Смердяков, спавший в передней на залавке. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен, но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Слуги Григорий и Смердяков стояли у стола. И господа, и слуги были в видимом и необыкновенно веселом одушевлении. Федор Павлович громко хохотал и смеялся; Алеша еще из сеней услышал его визгливый, столь знакомый ему прежде смех и тотчас же заключил, по звукам смеха, что отец еще далеко не пьян, а пока лишь всего благодушествует.

— Вот и он, вот и он! — завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алеше. — Присоединяйся к нам, садись, кофейку — постный ведь, постный, да горячий, да славный! Коньячку не приглашаю, ты постник, а хочешь, хочешь? Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный! Смердяков, сходи в шкаф, на второй полке направо, вот ключи, живей!

Алеша стал было от ликера отказываться.

— Все равно подадут, не для тебя, так для нас, —

сиял Федор Павлович. — Да постой, ты обедал аль нет?

— Обедал, — сказал Алеша, съевший, по правде, всего только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на игуменской кухне. — Вот я кофе горячего выпью с охотой.

— Милый! Молодец! Он кофейку выпьет. Не подогреть ли? Да нет, и теперь кипит. Кофе знатный, смердяковский. На кофе да на кулебяки Смердяков у меня артист, да на уху еще, правда. Когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать… Да постой, постой, ведь я тебе давеча совсем велел сегодня же переселиться с тюфяком и подушками? Тюфяк-то притащил? хе-хе-хе!..

— Нет, не принес, — усмехнулся и Алеша.

— А испугался, испугался-таки давеча, испугался? Ах ты, голубчик, да я ль тебя обидеть могу. Слушай, Иван, не могу я видеть, как он этак смотрит в глаза и смеется, не могу. Утроба у меня вся начинает на него смеяться, люблю его! Алешка, дай я тебе благословение родительское дам.

Алеша встал, но Федор Павлович успел одуматься.

— Нет, нет, я только теперь перекрещу тебя, вот так, садись. Ну, теперь тебе удовольствие будет, и именно на твою тему. Насмеешься. У нас

валаамова ослица заговорила, да как говорит-то, как говорит!

Валаамовою ослицей оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, всего лет двадцати четырех, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал. Но вот и нельзя миновать, чтобы не сказать о нем хотя двух слов, и именно теперь. Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос «безо всякой благодарности», как выражался о нем Григорий, мальчиком диким и смотря на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвою кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку, в величайшей тайне. Григорий поймал его однажды на этом упражнении и больно наказал розгой. Тот ушел в угол и косился оттуда с неделю. «Не любит он нас с тобой, этот изверг, — говорил Григорий Марфе Игнатьевне, — да и никого не любит. Ты разве человек, — обращался он вдруг прямо к Смердякову, — ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто…» Смердя-

ков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов. Григорий выучил его грамоте и, когда минуло ему лет двенадцать, стал учить священной истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся.

— Чего ты? — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков.

— Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?

Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. «А вот откуда!» — крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь. Узнав об этом, Федор Павлович как будто вдруг изменил на мальчика свой взгляд. Прежде он как-то равнодушно глядел на него, хотя никогда не бранил и, встречая, всегда давал копеечку. В благодушном настроении

иногда посылал со стола мальчишке чего-нибудь сладенького. Но тут, узнав о болезни, решительно стал о нем заботиться, пригласил доктора, стал было лечить, но оказалось, что вылечить невозможно. Средним числом припадки приходили по разу в месяц, и в разные сроки. Припадки тоже бывали разной силы — иные легкие, другие очень жестокие. Федор Павлович запретил наистрожайше Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе наверх. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретил. Но раз, когда мальчику было уже лет пятнадцать, заметил Федор Павлович, что тот бродит около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня с лишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову: «Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться, садись да читай. Вот прочти эту», — и Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.

— Что ж? Не смешно? — спросил Федор Павлович.

Смердяков молчал.

— Отвечай, дурак.

— Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков.

— Ну и убирайся к черту, лакейская ты душа. Стой, вот тебе «Всеобщая история» Смарагдова, тут уж все правда, читай.

Но Смердяков не прочел и десяти страниц из Смарагдова, показалось скучно. Так и закрылся опять шкаф с книгами. Вскорости Марфа и Григорий доложили Федору Павловичу, что в Смердякове мало-помалу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость: сидит за супом, возьмет ложку и ищет-ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнет ложку и подымет на свет.

— Таракан, что ли? — спросит, бывало, Григорий.

— Муха, может, — заметит Марфа.

Чистоплотный юноша никогда не отвечал, но и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаньями оказалось то же самое: подымет, бывало, кусок на вилке на свет, рассматривает точно в микроскоп, долго, бывало, решается и наконец-то решится в рот отправить. «Вишь, барчонок какой объявился», — бормотал, на него глядя, Григо-

рий. Федор Павлович, услышав о новом качестве Смердякова, решил немедленно, что быть ему поваром, и отдал его в ученье в Москву. В ученье он пробыл несколько лет и воротился, сильно переменившись лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца. Нравственно же воротился почти тем же самым, как и до отъезда в Москву: все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности. Он и в Москве, как передавали потом, все молчал; сама же Москва его как-то чрезвычайно мало заинтересовала, так что он узнал в ней разве кое-что, на все остальное и внимания не обратил. Был даже раз в театре, но молча и с неудовольствием воротился. Зато прибыл к нам из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно по два раза в день, а сапоги свои опойковые, щегольские, ужасно любил чистить особенною английскою ваксой так, чтоб они сверкали как зеркало. Поваром он оказался превосходным. Федор Павлович положил ему жалованье, и это жалованье Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и проч. Но женский пол он,

кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Федор Павлович стал поглядывать на него и с некоторой другой точки зрения. Дело в том, что припадки его падучей болезни усилились, и в те дни кушанье готовилось уже Марфой Игнатьевной, что было Федору Павловичу вовсе не на руку.

— С чего у тебя припадки-то чаще? — косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. — Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь женю?..

Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал. Федор Павлович отходил, махнув рукой. Главное, в честности его он был уверен, и это раз навсегда, в том, что он не возьмет ничего и не украдет. Раз случилось, что Федор Павлович, пьяненький, обронил на собственном дворе в грязи три радужные бумажки, которые только что получил, и хватился их на другой только день: только что бросился искать по карманам, а радужные вдруг уже лежат у него все три на столе. Откуда? Смердяков поднял и еще вчера принес. «Ну, брат, я таких, как ты, не видывал», — отрезал тогда Федор Павлович и подарил ему десять рублей. Надо прибавить, что не только в честности его

он был уверен, но почему-то даже и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других, и все молчал. Редко, бывало, заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него: чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то, право, невозможно было бы решить, на него глядя. А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе, или на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист, вглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет, а так какое-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель»: изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему до-

роги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая, — для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем.

VII

Контроверза

Но валаамова ослица вдруг заговорила. Тема случилась странная: Григорий поутру, забирая в лавке у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот, где-то далеко на границе, у азиятов, попав к ним в плен и будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей веры и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа, — о каковом подвиге и было напечатано как раз в полученной в тот день газете. Об этом

вот и заговорил за столом Григорий. Федор Павлович любил и прежде, каждый раз после стола, за десертом, посмеяться и поговорить хотя бы даже с Григорием. В этот же раз был в легком и приятно раскидывающемся настроении. Попивая коньячок и выслушав сообщенное известие, он заметил, что такого солдата следовало бы произвести сейчас же во святые и снятую кожу его препроводить в какой-нибудь монастырь: «То-то народу повалит и денег». Григорий поморщился, видя, что Федор Павлович нисколько не умилился, а по всегдашней привычке своей начинает кощунствовать. Как вдруг Смердяков, стоявший у двери, усмехнулся. Смердяков весьма часто и прежде допускался стоять у стола, то есть под конец обеда. С самого же прибытия в наш город Ивана Федоровича стал являться к обеду почти каждый раз.

— Ты чего? — спросил Федор Павлович, мигом заметив усмешку и поняв, конечно, что относится она к Григорию.

— А я насчет того-с, — заговорил вдруг громко и неожиданно Смердяков, — что если этого похвального солдата подвиг был и очень велик-с, то никакого опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности

от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие.

— Это как же не будет греха? Врешь, за это тебя прямо в ад и там, как баранину, поджаривать станут, — подхватил Федор Павлович.

И вот тут-то и вошел Алеша. Федор Павлович, как мы видели, ужасно обрадовался Алеше.

— На твою тему, на твою тему! — радостно хихикал он, усаживая Алешу слушать.

— Насчет баранины это не так-с, да и ничего там за это не будет-с, да и не должно быть такого, если по всей справедливости, — солидно заметил Смердяков.

— Как так по всей справедливости, — крикнул еще веселей Федор Павлович, подталкивая коленом Алешу.

— Подлец он, вот он кто! — вырвалось вдруг у Григория. Гневно посмотрел он Смердякову прямо в глаза.

— Насчет подлеца повремените-с, Григорий Васильевич, — спокойно и сдержанно отразил Смердяков, — а лучше рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен и требуют они от меня имя Божие проклясть и от

святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого тут и греха не будет.

— Да ты уж это говорил, ты не расписывай, а докажи! — кричал Федор Павлович.

— Бульонщик! — прошептал Григорий презрительно.

— Насчет бульонщика тоже повремените-с, а не ругаясь рассудите сами, Григорий Васильевич. Ибо едва только я скажу мучителям: «Нет, я не христианин и истинного Бога моего проклинаю», как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником, так даже, что в тот же миг-с — не то что как только произнесу, а только что помыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет-с, как я отлучен, — так или не так, Григорий Васильевич?

Он с видимым удовольствием обращался к Григорию, отвечая, в сущности, на одни лишь вопросы Федора Павловича и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задает ему Григорий.

— Иван! — крикнул вдруг Федор Павлович, —

нагнись ко мне к самому уху. Это он для тебя все это устроил, хочет, чтобы ты его похвалил. Ты похвали.

Иван Федорович выслушал совершенно серьезно восторженное сообщение папаши.

— Стой, Смердяков, помолчи на время, — крикнул опять Федор Павлович. — Иван, опять ко мне к самому уху нагнись.

Иван Федорович вновь с самым серьезнейшим видом нагнулся.

— Люблю тебя так же, как и Алешку. Ты не думай, что я тебя не люблю. Коньячку?

— Дайте. — «Однако сам-то ты порядочно нагрузился», — пристально поглядел на отца Иван Федорович. Смердякова же он наблюдал с чрезвычайным любопытством.

— Анафема ты проклят и теперь, — разразился вдруг Григорий, — и как же ты после того, подлец, рассуждать смеешь, если…

— Не бранись, Григорий, не бранись! — прервал Федор Павлович.

— Вы переждите, Григорий Васильевич, хотя бы самое даже малое время-с, и прослушайте дальше, потому что я всего не окончил. Потому в самое то время, как я Богом стану немедленно проклят-с, в самый, тот самый высший момент-

с, я уже стал все равно как бы иноязычником, и крещение мое с меня снимается и ни во что вменяется, — так ли хоть это-с?

— Заключай, брат, скорей, заключай, — поторопил Федор Павлович, с наслаждением хлебнув из рюмки.

— А коли я уж не христианин, то, значит, я и не солгал мучителям, когда они спрашивали: «Христианин я или не христианин», ибо я уже был самим Богом совлечен моего христианства, по причине одного лишь замысла и прежде чем даже слово успел мое молвить мучителям. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете как с христианина за то, что я отрекся Христа, тогда как я за помышление только одно, еще до отречения, был уже крещения моего совлечен? Коли я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился, и кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вола двух шкур не дерут. Да и сам Бог Вседержитель с татарина если и будет спрашивать, когда тот

помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием (так как нельзя же совсем не наказать его), рассудив, что ведь неповинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошел. Не может же Господь Бог насильно взять татарина и говорить про него, что и он был христианином? Ведь значило бы тогда, что Господь вседержитель скажет сущую неправду. А разве может Господь вседержитель неба и земли произнести ложь, хотя бы в одном только каком-нибудь слове-с?

Григорий остолбенел и смотрел на оратора, выпучив глаза. Он хоть и не понимал хорошо, что говорят, но что-то из всей этой дребедени вдруг понял и остановился с видом человека, вдруг стукнувшегося лбом об стену. Федор Павлович допил рюмку и залился визгливым смехом.

— Алешка, Алешка, каково! Ах ты, казуист! Это он был у иезуитов где-нибудь, Иван. Ах ты, иезуит смердящий, да кто же тебя научил? Но только ты врешь, казуист, врешь, врешь и врешь. Не плачь, Григорий, мы его сею же минутой разобьем в дым и прах. Ты мне вот что скажи, ослица: пусть ты пред мучителями прав, но ведь ты сам-то в себе все же отрекся от веры своей и сам же говоришь, что в тот же час был анафема проклят, а коли раз

уж анафема, так тебя за эту анафему по головке в аду не погладят. Об этом ты как полагаешь, иезуит ты мой прекрасный?

— Это сумления нет-с, что сам в себе я отрекся, а все же никакого и тут специально греха не было-с, а коли был грешок, то самый обыкновенный весьма-с.

— Как так обыкновенный весьма-с!

— Врешь, пр-р-роклятый, — прошипел Григорий.

— Рассудите сами, Григорий Васильевич, — ровно и степенно, сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником, продолжал Смердяков, — рассудите сами, Григорий Васильевич: ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами-с сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря отсюда далеко-с), но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет-с, а все

останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричали-с. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манером, а лишь других за то всячески ругаете. Опять-таки и то взямши, что никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто, начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика-с, не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то, может, где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе, — то коли так-с, коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех сих остальных, то есть население всей земли-с, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянет Господь и при милосердии своем, столь известном, никому из них не простит? А потому и я уповаю, что, раз усомнившись, буду прощен, когда раскаяния слезы пролью.

— Стой! — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга, — так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался!

— Вы совершенно верно заметили, что это народная в вере черта, — с одобрительною улыбкой

согласился Иван Федорович.

— Соглашаешься! Значит, так, коли уж ты соглашаешься! Алешка, ведь правда? Ведь совершенно русская вера такая?

— Нет, у Смердякова совсем не русская вера, — серьезно и твердо проговорил Алеша.

— Я не про веру его, я про эту черту, про этих двух пустынников, про эту одну только черточку: ведь это же по-русски, по-русски?

— Да, черта эта совсем русская, — улыбнулся Алеша.

— Червонца стоит твое слово, ослица, и пришлю тебе его сегодня же, но в остальном ты все-таки врешь, врешь и врешь; знай, дурак, что здесь мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда: во-первых, дела одолели, а во-вторых, времени Бог мало дал, всего во дню определил только двадцать четыре часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться. А ты-то там пред мучителями отрекся, когда больше не о чем и думать-то было тебе как о вере и когда именно надо было веру свою показать! Так ведь это, брат, составляет, я думаю?

— Составляет-то оно составляет, но рассудите сами, Григорий Васильевич, что ведь тем более и облегчает, что составляет. Ведь коли бы я тогда

веровал в самую во истину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел. Но ведь до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе: двинься и подави мучителя, то она бы двинулась и в тот же миг его придавила, как таракана, и пошел бы я как ни в чем не бывало прочь, воспевая и славя Бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал и нарочно уже кричал сей горе: подави сих мучителей, — а та не давила, то как же, скажите, я бы в то время не усомнился, да еще в такой страшный час смертного великого страха? И без того уж знаю, что царствия небесного в полноте не достигну (ибо не двинулась же по слову моему гора, значит, не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет), для чего же я еще сверх того и безо всякой уже пользы кожу с себя дам содрать? Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда по слову моему или крику не двинулась бы сия гора. Да в этакую минуту не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно, так что и рассуждать-то будет совсем невозможно.

А, стало быть, чем я тут выйду особенно виноват, если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то по крайней мере свою сберегу? А потому, на милость Господню весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощен буду-с…

VIII

За коньячком

Спор кончился, но странное дело, столь развеселившийся Федор Павлович под конец вдруг нахмурился. Нахмурился и хлопнул коньячку, и это уже была совсем лишняя рюмка.

— А убирайтесь вы, иезуиты, вон, — крикнул он на слуг. — Пошел, Смердяков. Сегодня обещанный червонец пришлю, а ты пошел. Не плачь, Григорий, ступай к Марфе, она утешит, спать уложит. Не дают, канальи, после обеда в тишине посидеть, — досадливо отрезал он вдруг, когда тотчас же по приказу его удалились слуги. — Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет, это ты ему столь любопытен, чем ты его так заласкал? — прибавил он Ивану Федоровичу.

— Ровно ничем, — ответил тот, — уважать меня вздумал; это лакей и хам. Передовое мясо, впро-

чем, когда срок наступит.

— Передовое?

— Будут другие и получше, но будут и такие. Сперва будут такие, а за ними получше.

— А когда срок наступит?

— Загорится ракета, да и не догорит, может быть. Народ этих бульонщиков пока не очень-то любит слушать.

— То-то, брат, вот этакая валаамова ослица думает, думает, да и черт знает про себя там до чего додумается.

— Мыслей накопит, — усмехнулся Иван.

— Видишь, я вот знаю, что он и меня терпеть не может, равно как и всех, и тебя точно так же, хотя тебе и кажется, что он тебя «уважать вздумал». Алешку подавно, Алешку он презирает. Да не украдет он, вот что, не сплетник он, молчит, из дому сору не вынесет, кулебяки славно печет, да к тому же ко всему и черт с ним, по правде-то, так стоит ли об нем говорить?

— Конечно, не стоит.

— А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой.

Истребят леса — пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там… Одним словом, возмерится. А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию… то есть не Россию, а все эти пороки… а пожалуй что и Россию. Tout cela c'est de la cochonnerie[11]. Знаешь, что люблю? Я люблю остроумие.

— Вы опять рюмку выпили. Довольно бы вам.

— Подожди, я еще одну и еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы оченно, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть и пороть даем все парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно». Каковы маркизы де Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча

---

[11] Сноски: 11
Все это свинство (*фр.*).

разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, — ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не всего только шут?

— Верю, что не всего только шут.

— И верю, что веришь и искренно говоришь. Искренно смотришь и искренно говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен… А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило!

— Да зачем упразднять? — сказал Иван.

— А чтоб истина скорей воссияла, вот зачем.

— Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом… упразднят.

— Ба! А ведь, пожалуй, ты прав. Ах, я ослица, — вскинулся вдруг Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу. — Ну, так пусть стоит твой монасты-

рек, Алешка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть да коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно нарочно так устроено? Иван, говори: есть Бог или нет? Стой: наверно говори, серьезно говори! Чего опять смеешься?

— Смеюсь я тому, как вы сами давеча остроумно заметили о вере Смердякова в существование двух старцев, которые могут горы сдвигать.

— Так разве теперь похоже?

— Очень.

— Ну так, значит, и я русский человек, и у меня русская черта, и тебя, философа, можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь, поймаю. Побьемся об заклад, что завтра же поймаю. А все-таки говори: есть Бог или нет? Только серьезно! Мне надо теперь серьезно.

— Нет, нету Бога.

— Алешка, есть Бог?

— Есть Бог.

— Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?

— Нет и бессмертия.

— Никакого?

— Никакого.

— То есть совершеннейший нуль или нечто?

Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто!

— Совершенный нуль.

— Алешка, есть бессмертие?

— Есть.

— А Бог и бессмертие?

— И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие.

— Гм. Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз!

— И в последний раз нет.

— Кто же смеется над людьми, Иван?

— Черт, должно быть, — усмехнулся Иван Федорович.

— А черт есть?

— Нет, и черта нет.

— Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине.

— Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.

— Не было бы? Это без Бога-то?

— Да. И коньячку бы не было. А коньяк все-таки

у вас взять придется.

— Постой, постой, постой, милый, еще одну рюмочку. Я Алешу оскорбил. Ты не сердишься, Алексей? Милый Алексейчик ты мой, Алексей-чик!

— Нет, не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы.

— У меня-то сердце лучше головы? Господи, да еще кто это говорит? Иван, любишь ты Алешку?

— Люблю.

— Люби. (Федор Павлович сильно хмелел.) Слушай, Алеша, я старцу твоему давеча грубость сделал. Но я был в волнении. А ведь в старце этом есть остроумие, как ты думаешь, Иван?

— Пожалуй что и есть.

— Есть, есть, il y a du Piron là-dedans[12]. Это иезуит, русский то есть. Как у благородного существа, в нем это затаенное негодование кипит на то, что надо представляться… святыню на себя натягивать.

— Да ведь он же верует в Бога.

— Ни на грош. А ты не знал? Да он всем говорит это сам, то есть не всем, а всем умным людям, которые приезжают. Губернатору Шульцу он

---

[12] Сноски: 12
Тут чувствуется Пирон (*фр.*).

прямо отрезал: credo[13], да не знаю во что.

— Неужто?

— Именно так. Но я его уважаю. Есть в нем что-то мефистофелевское или, лучше, из «Героя нашего времени»… Арбенин али как там… то есть, видишь, он сладострастник; он до того сладострастник, что я бы и теперь за дочь мою побоялся аль за жену, если бы к нему исповедоваться пошла. Знаешь, как начнет рассказывать… Третьего года он нас зазвал к себе на чаек, да с ликерцем (барыни ему ликер присылают), да как пустился расписывать старину, так мы животики надорвали… Особенно как он одну расслабленную излечил. «Если бы ноги не болели, я бы вам, говорит, протанцевал один танец». А, каков? «Наафонил я, говорит, на своем веку немало». Он у Демидова-купца шестьдесят тысяч тяпнул.

— Как, украл?

— Тот ему как доброму человеку привез: «Сохрани, брат, у меня назавтра обыск». А тот и сохранил. «Ты ведь на церковь, говорит, пожертвовал». Я ему говорю: подлец ты, говорю. Нет, говорит, не подлец, а я широк… А впрочем,

---

[13] Сноски: 13
Верую (*лат.*).

это не он… Это другой. Я про другого сбился… и не замечаю. Ну, вот еще рюмочку, и довольно; убери бутылку, Иван. Я врал, отчего ты не остановил меня, Иван… и не сказал, что вру?

— Я знал, что вы сами остановитесь.

— Врешь, это ты по злобе на меня, по единственной злобе. Ты меня презираешь. Ты приехал ко мне и меня в доме моем презираешь.

— Я и уеду; вас коньяк разбирает.

— Я тебя просил Христом-Богом в Чермашню съездить… на день, на два, а ты не едешь.

— Завтра поеду, коли вы так настаиваете.

— Не поедешь. Тебе подсматривать здесь за мной хочется, вот тебе чего хочется, злая душа, оттого ты и не поедешь?

Старик не унимался. Он дошел до той черточки пьянства, когда иным пьяным, дотоле смирным, непременно вдруг захочется разозлиться и себя показать.

— Что ты глядишь на меня? Какие твои глаза? Твои глаза глядят на меня и говорят мне: «Пьяная ты харя». Подозрительные твои глаза, презрительные твои глаза… Ты себе на уме приехал. Вот Алешка смотрит, и глаза его сияют. Не презирает меня Алеша. Алексей, не люби Ивана…

— Не сердитесь на брата! Перестаньте его оби-

жать, — вдруг настойчиво произнес Алеша.

— Ну что ж, я пожалуй. Ух, голова болит. Убери коньяк, Иван, третий раз говорю. — Он задумался и вдруг длинно и хитро улыбнулся: — Не сердись, Иван, на старого мозгляка. Я знаю, что ты не любишь меня, только все-таки не сердись. Не за что меня и любить-то. В Чермашню съездишь, я к тебе сам приеду, гостинцу привезу. Я тебе там одну девчоночку укажу, я ее там давно насмотрел. Пока она еще босоножка. Не пугайся босоножек, не презирай — перлы!..

И он чмокнул себя в ручку.

— Для меня, — оживился он вдруг весь, как будто на мгновение отрезвев, только что попал на любимую тему, — для меня... Эх вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились! По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина все-

го… да где вам это понять! Даже вьельфильки, и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить — вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни! Постой… слушай, Алешка, я твою мать-покойницу всегда удивлял, только в другом выходило роде. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдруг, как минутка-то наступит, — вдруг пред нею так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю, ножки целую и доведу ее всегда, всегда, — помню это как вот сейчас, — до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, не громкого, нервного, особенного. У ней только он и был. Знаю, бывало, что так у ней всегда болезнь начиналась, что завтра же она кликушей выкликать начнет и что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает, ну да ведь хоть и обман, да восторг. Вот оно что значит свою черточку

во всем уметь находить! Раз Белявский — красавчик один тут был и богач, за ней волочился и ко мне наладил ездить — вдруг у меня же и дай мне пощечину, да при ней. Так она, этакая овца, — да я думал, она изобьет меня за эту пощечину, ведь как напала: «Ты, говорит, теперь битый, битый, ты пощечину от него получил! Ты меня, говорит, ему продавал… Да как он смел тебя ударить при мне! И не смей ко мне приходить никогда, никогда! Сейчас беги, вызови его на дуэль…» Так я ее тогда в монастырь для смирения возил, отцы святые ее отчитывали. Но вот тебе Бог, Алеша, не обижал я никогда мою кликушечку! Раз только разве один, еще в первый год: молилась уж она тогда очень, особенно богородичные праздники наблюдала и меня тогда от себя в кабинет гнала. Думаю, дай-ка выбью я из нее эту мистику! «Видишь, говорю, видишь, вот твой образ, вот он, вот я его сниму. Смотри же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет!..» Как она увидела, господи, думаю: убьет она меня теперь, а она только вскочила, всплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол… так и опустилась… Алеша, Алеша! Что с тобой, что с тобой!

Старик вскочил в испуге. Алеша с самого того времени, как он заговорил о его матери, мало-помалу стал изменяться в лице. Он покраснел, глаза его загорелись, губы вздрогнули… Пьяный старикашка брызгался слюной и ничего не замечал до той самой минуты, когда с Алешей вдруг произошло нечто очень странное, а именно с ним вдруг повторилось точь-в-точь то же самое, что сейчас только он рассказал про «кликушу». Алеша вдруг вскочил из-за стола, точь-в-точь как, по рассказу, мать его, всплеснул руками, потом закрыл ими лицо, упал как подкошенный на стул и так и затрясся вдруг весь от истерического припадка внезапных, сотрясающих и неслышных слез. Необычайное сходство с матерью особенно поразило старика.

— Иван, Иван! скорей ему воды. Это как она, точь-в-точь как она, как тогда его мать! Вспрысни его изо рта водой, я так с той делал. Это он за мать свою, за мать свою… — бормотал он Ивану.

— Да ведь и моя, я думаю, мать его мать была, как вы полагаете? — вдруг с неудержимым гневным презрением прорвался Иван. Старик вздрогнул от его засверкавшего взгляда. Но тут случилось нечто очень странное, правда на одну секунду: у старика действительно, кажется,

выскочило из ума соображение, что мать Алеши была и матерью Ивана…

— Как так твоя мать? — пробормотал он, не понимая. — Ты за что это? Ты про какую мать?.. да разве она… Ах, черт! Да ведь она и твоя! Ах, черт! Ну это, брат, затмение как никогда, извини, а я думал, Иван… Хе-хе-хе! — Он остановился. Длинная, пьяная, полубессмысленная усмешка раздвинула его лицо. И вот вдруг в это самое мгновение раздался в сенях страшный шум и гром, послышались неистовые крики, дверь распахнулась и в залу влетел Дмитрий Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге:

— Убьет, убьет! Не давай меня, не давай! — выкрикивал он, вцепившись в полу сюртука Ивана Федоровича.

IX

Сладострастники

Сейчас вслед за Дмитрием Федоровичем вбежали в залу и Григорий со Смердяковым. Они же в сенях и боролись с ним, не впускали его (вследствие инструкции самого Федора Павловича, данной уже несколько дней назад). Воспользовавшись тем, что Дмитрий Федорович, ворвавшись

в залу, на минуту остановился, чтоб осмотреться, Григорий обежал стол, затворил на обе половинки противоположные входным двери залы, ведшие во внутренние покои, и стал пред затворенною дверью, раздвинув обе руки крестом и готовый защищать вход, так сказать, до последней капли. Увидав это, Дмитрий не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория.

— Значит, она там! Ее спрятали там! Прочь, подлец! — Он рванул было Григория, но тот оттолкнул его. Вне себя от ярости, Дмитрий размахнулся и изо всей силы ударил Григория. Старик рухнулся как подкошенный, а Дмитрий, перескочив через него, вломился в дверь. Смердяков оставался в зале, на другом конце, бледный и дрожащий, тесно прижимаясь к Федору Павловичу.

— Она здесь, — кричал Дмитрий Федорович, — я сейчас сам видел, как она повернула к дому, только я не догнал. Где она? Где она?

Непостижимое впечатление произвел на Федора Павловича этот крик: «Она здесь!» Весь испуг соскочил с него.

— Держи, держи его! — завопил он и ринулся вслед за Дмитрием Федоровичем. Григорий меж тем поднялся с полу, но был еще как бы вне себя.

Иван Федорович и Алеша побежали вдогонку за отцом. В третьей комнате послышалось, как вдруг что-то упало об пол, разбилось и зазвенело: это была большая стеклянная ваза (не из дорогих) на мраморном пьедестале, которую, пробегая мимо, задел Дмитрий Федорович.

— Ату его! — завопил старик. — Караул!

Иван Федорович и Алеша догнали-таки старика и силою воротили в залу.

— Чего гонитесь за ним! Он вас и впрямь там убьет! — гневно крикнул на отца Иван Федорович.

— Ванечка, Лешечка, она, стало быть, здесь, Грушенька здесь, сам, говорит, видел, что пробежала…

Он захлебывался. Он не ждал в этот раз Грушеньки, и вдруг известие, что она здесь, разом вывело его из ума. Он весь дрожал, он как бы обезумел.

— Да ведь вы видели сами, что она не приходила! — кричал Иван.

— А может, через тот вход?

— Да ведь он заперт, тот вход, а ключ у вас…

Дмитрий вдруг появился опять в зале. Он, конечно, нашел тот вход запертым, да и действительно ключ от запертого входа был в кармане

у Федора Павловича. Все окна во всех комнатах были тоже заперты; ниоткуда, стало быть, не могла пройти Грушенька и ниоткуда не могла выскочить.

— Держи его! — завизжал Федор Павлович, только что завидел опять Дмитрия, — он там в спальне у меня деньги украл! — И, вырвавшись от Ивана, он опять бросился на Дмитрия. Но тот поднял обе руки и вдруг схватил старика за обе последние космы волос его, уцелевшие на висках, дернул его и с грохотом ударил об пол. Он успел еще два или три раза ударить лежачего каблуком по лицу. Старик пронзительно застонал. Иван Федорович, хоть и не столь сильный, как брат Дмитрий, обхватил того руками и изо всей силы оторвал от старика. Алеша всею своею силенкой тоже помог ему, обхватив брата спереди.

— Сумасшедший, ведь ты убил его! — крикнул Иван.

— Так ему и надо! — задыхаясь, воскликнул Дмитрий. — А не убил, так еще приду убить. Не устережете!

— Дмитрий! Иди отсюда вон сейчас! — властно вскрикнул Алеша.

— Алексей! Скажи ты мне один, тебе одному поверю: была здесь сейчас она или не была? Я

ее сам видел, как она сейчас мимо плетня из переулка в эту сторону проскользнула. Я крикнул, она убежала…

— Клянусь тебе, она здесь не была, и никто здесь не ждал ее вовсе!

— Но я ее видел… Стало быть, она… Я узнаю сейчас, где она… Прощай, Алексей! Езопу теперь о деньгах ни слова, а к Катерине Ивановне сейчас же и непременно: «Кланяться велел, кланяться велел, кланяться! Именно кланяться и раскланяться!» Опиши ей сцену.

Тем временем Иван и Григорий подняли старика и усадили в кресла. Лицо его было окровавлено, но сам он был в памяти и с жадностью прислушивался к крикам Дмитрия. Ему все еще казалось, что Грушенька вправду где-нибудь в доме. Дмитрий Федорович ненавистно взглянул на него уходя.

— Не раскаиваюсь за твою кровь! — воскликнул он, — берегись, старик, береги мечту, потому что и у меня мечта! Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем…

Он выбежал из комнаты.

— Она здесь, она верно здесь! Смердяков, Смердяков, — чуть слышно хрипел старик, пальчиком маня Смердякова.

— Нет ее здесь, нет, безумный вы старик, — злобно закричал на него Иван. — Ну, с ним обморок! Воды, полотенце! Поворачивайся, Смердяков!

Смердяков бросился за водой. Старика наконец раздели, снесли в спальню и уложили в постель. Голову обвязали ему мокрым полотенцем. Ослабев от коньяку, от сильных ощущений и от побоев, он мигом, только что коснулся подушки, завел глаза и забылся. Иван Федорович и Алеша вернулись в залу. Смердяков выносил черепки разбитой вазы, а Григорий стоял у стола, мрачно потупившись.

— Не намочить ли и тебе голову и не лечь ли тебе тоже в постель, — обратился к Григорию Алеша. — Мы здесь за ним посмотрим; брат ужасно больно ударил тебя… по голове.

— Он меня дерзнул! — мрачно и раздельно произнес Григорий.

— Он и отца «дерзнул», не то что тебя! — заметил, кривя рот, Иван Федорович.

— Я его в корыте мыл… он меня дерзнул! — повторял Григорий.

— Черт возьми, если б я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил. Много ли надо Езопу? — прошептал Иван Федорович Алеше.

— Боже сохрани! — воскликнул Алеша.

— А зачем «сохрани»? — все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. — Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!

Алеша вздрогнул.

— Я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас. Останься тут, Алеша, я выйду походить по двору; у меня голова начала болеть.

Алеша пошел в спальню к отцу и просидел у его изголовья за ширмами около часа. Старик вдруг открыл глаза и долго молча смотрел на Алешу, видимо припоминая и соображая. Вдруг необыкновенное волнение изобразилось в его лице.

— Алеша, — зашептал он опасливо, — где Иван?

— На дворе, у него голова болит. Он нас стережет.

— Подай зеркальце, вон там стоит, подай!

Алеша подал ему маленькое складное кругленькое зеркальце, стоявшее на комоде.

Старик погляделся в него: распух довольно сильно нос, и на лбу над левою бровью был значительный багровый подтек.

— Что говорит Иван? Алеша, милый, единственный сын мой, я Ивана боюсь; я Ивана больше, чем того, боюсь. Я только тебя одного не боюсь…

— Не бойтесь и Ивана, Иван сердится, но он вас защитит.

— Алеша, а тот-то? К Грушеньке побежал! Милый ангел, скажи правду: была давеча Грушенька али нет?

— Никто ее не видал. Это обман, не была!

— Ведь Митька-то на ней жениться хочет, жениться!

— Она за него не пойдет.

— Не пойдет, не пойдет, не пойдет, не пойдет, ни за что не пойдет!.. — радостно так весь и встрепенулся старик, точно ничего ему не могли сказать в эту минуту отраднее. В восхищении он схватил руку Алеши и крепко прижал ее к своему сердцу. Даже слезы засветились в глазах его. — Образок-то, Божией-то матери, вот про который я давеча рассказал, возьми уж себе, унеси с собой. И в монастырь воротиться позволяю… давеча пошутил, не сердись. Голова болит, Алеша… Леша, утоли ты мое сердце, будь ангелом, скажи правду!

— Вы все про то: была ли она или не была? — горестно проговорил Алеша.

— Нет, нет, нет, я тебе верю, а вот что: сходи ты к Грушеньке сам аль повидай ее как; расспроси ты ее скорей, как можно скорей, угадай ты

сам своим глазом: к кому она хочет, ко мне аль к нему? Ась? Что? Можешь аль не можешь?

— Коль ее увижу, то спрошу, — пробормотал было Алеша в смущении.

— Нет, она тебе не скажет, — перебил старик, — она егоза. Она тебя целовать начнет и скажет, что за тебя хочет. Она обманщица, она бесстыдница, нет, тебе нельзя к ней идти, нельзя!

— Да и нехорошо, батюшка, будет, нехорошо совсем.

— Куда он посылал-то тебя давеча, кричал: «Сходи», когда убежал?

— К Катерине Ивановне посылал.

— За деньгами? Денег просить?

— Нет, не за деньгами.

— У него денег нет, нет ни капли. Слушай, Алеша, я полежу ночь и обдумаю, а ты пока ступай. Может, и ее встретишь… Только зайди ты ко мне завтра наверно поутру; наверно. Я тебе завтра одно словечко такое скажу; зайдешь?

— Зайду.

— Коль придешь, сделай вид, что сам пришел, навестить пришел. Никому не говори, что я звал. Ивану ни слова не говори.

— Хорошо.

— Прощай, ангел, давеча ты за меня заступил-

ся, век не забуду. Я тебе одно словечко завтра скажу… только еще подумать надо…

— А как вы теперь себя чувствуете?

— Завтра же, завтра встану и пойду, совсем здоров, совсем здоров, совсем здоров!..

Проходя по двору, Алеша встретил брата Ивана на скамье у ворот: тот сидел и вписывал что-то в свою записную книжку карандашом. Алеша передал Ивану, что старик проснулся и в памяти, а его отпустил ночевать в монастырь.

— Алеша, я с большим удовольствием встретился бы с тобой завтра поутру, — привстав, приветливо проговорил Иван — приветливость даже совсем для Алеши неожиданная.

— Я завтра буду у Хохлаковых, — ответил Алеша. — Я у Катерины Ивановны, может, завтра тоже буду, если теперь не застану…

— А теперь все-таки к Катерине Ивановне! Это «раскланяться-то, раскланяться»? — улыбнулся вдруг Иван. Алеша смутился.

— Я, кажется, все понял из давешних восклицаний и кой из чего прежнего. Дмитрий, наверно, просил тебя сходить к ней и передать, что он… ну… ну, одним словом, «откланивается»?

— Брат! Чем весь этот ужас кончится у отца и Дмитрия? — воскликнул Алеша.

— Нельзя наверно угадать. Ничем, может быть: расплывется дело. Эта женщина — зверь. Во всяком случае, старика надо в доме держать, а Дмитрия в дом не пускать.

— Брат, позволь еще спросить: неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин?

— К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права, так кто же не имеет права желать?

— Не смерти же другого?

— А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать пред собою, когда все люди так живут, а пожалуй, так и не могут иначе жить. Ты это насчет давешних моих слов о том, что «два гада поедят друг друга»? Позволь и тебя спросить в таком случае: считаешь ты и меня, как Дмитрия, способным пролить кровь Езопа, ну, убить его, а?

— Что ты, Иван! Никогда и в мыслях этого у меня не было! Да и Дмитрия я не считаю…

— Спасибо хоть за это, — усмехнулся Иван. — Знай, что я его всегда защищу. Но в желаниях

моих я оставляю за собою в данном случае полный простор. До свидания завтра. Не осуждай и не смотри на меня как на злодея, — прибавил он с улыбкою.

Они крепко пожали друг другу руки, как никогда еще прежде. Алеша почувствовал, что брат сам первый шагнул к нему шаг и что сделал он это для чего-то, непременно с каким-то намерением.

X

Обе вместе

Вышел же Алеша из дома отца в состоянии духа разбитом и подавленном еще больше, чем давеча, когда входил к отцу. Ум его был тоже как бы раздроблен и разбросан, тогда как сам он вместе с тем чувствовал, что боится соединить разбросанное и снять общую идею со всех мучительных противоречий, пережитых им в этот день. Что-то граничило почти с отчаянием, чего никогда не бывало в сердце Алеши. Надо всем стоял, как гора, главный, роковой и неразрешимый вопрос: чем кончится у отца с братом Дмитрием пред этою страшною женщиной? Теперь уж он сам был свидетелем. Он сам тут

присутствовал и видел их друг пред другом. Впрочем, несчастным, вполне и страшно несчастным, мог оказаться лишь брат Дмитрий: его сторожила несомненная беда. Оказались тоже и другие люди, до которых все это касалось и, может быть, гораздо более, чем могло казаться Алеше прежде. Выходило что-то даже загадочное. Брат Иван сделал к нему шаг, чего так давно желал Алеша, и вот сам он отчего-то чувствует теперь, что его испугал этот шаг сближения. А те женщины? Странное дело: давеча он направлялся к Катерине Ивановне в чрезвычайном смущении, теперь же не чувствовал никакого; напротив, спешил к ней сам, словно ожидая найти у ней указания. А однако, передать ей поручение было видимо теперь тяжелее, чем давеча: дело о трех тысячах было решено окончательно, и брат Дмитрий, почувствовав теперь себя бесчестным и уже безо всякой надежды, конечно, не остановится более и ни пред каким падением. К тому же еще велел передать Катерине Ивановне и только что происшедшую у отца сцену.

Было уже семь часов и смеркалось, когда Алеша пошел к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на Большой улице. Алеша знал, что она живет с двумя тетка-

ми. Одна из них приходилась, впрочем, теткой лишь сестре Агафье Ивановне; это была та бессловесная особа в доме ее отца, которая ухаживала за нею там вместе с сестрой, когда она приехала к ним туда из института. Другая же тетка была тонная и важная московская барыня, хотя и из бедных. Слышно было, что обе они подчинялись во всем Катерине Ивановне и состояли при ней единственно для этикета. Катерина же Ивановна подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральше, оставшейся за болезнию в Москве и к которой она обязана была посылать по два письма с подробными известиями о себе каждую неделю.

Когда Алеша вошел в переднюю и попросил о себе доложить отворившей ему горничной, в зале, очевидно, уже знали о его прибытии (может быть, заметили его из окна), но только Алеша вдруг услышал какой-то шум, послышались чьи-то бегущие женские шаги, шумящие платья: может быть, выбежали две или три женщины. Алеше показалось странным, что он мог произвести своим прибытием такое волнение. Его, однако, тотчас же ввели в залу. Это была большая комната, уставленная элегантною и обильною мебелью, совсем не по-провинциальному. Было

много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков; были картины на стенах, вазы и лампы на столах, было много цветов, был даже аквариум у окна. От сумерек в комнате было несколько темновато. Алеша разглядел на диване, на котором, очевидно, сейчас сидели, брошенную шелковую мантилью, а на столе пред диваном две недопитые чашки шоколату, бисквиты, хрустальную тарелку с синим изюмом и другую с конфетами. Кого-то угощали. Алеша догадался, что попал на гостей, и поморщился. Но в тот же миг поднялась портьера и быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна, с радостною восхищенною улыбкой протягивая обе руки Алеше. В ту же минуту служанка внесла и поставила на стол две зажженные свечи.

— Слава богу, наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день! Садитесь.

Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алешу, когда брат Дмитрий, недели три тому назад, привозил его к ней в первый раз представить и познакомить, по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. Разговор между ними в то свидание, впрочем, не завязался. Полагая, что Алеша очень сконфузился, Катерина Ивановна как бы щадила его

и все время проговорила в тот раз с Дмитрием Федоровичем. Алеша молчал, но многое очень хорошо разглядел. Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И все это было несомненно. Алеша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашел, что большие черные горящие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очертании прелестных губ, было нечто такое, во что, конечно, можно было брату его влюбиться ужасно, но что, может быть, нельзя было долго любить. Он почти прямо высказал свою мысль Дмитрию, когда тот после визита пристал к нему, умоляя его не утаить, какое он вынес впечатление, повидав его невесту.

— Ты будешь с нею счастлив, но, может быть… неспокойно счастлив.

— То-то брат, такие такими и остаются, они не смиряются пред судьбой. Так ты думаешь, что я не буду ее вечно любить?

— Нет, может быть, ты будешь ее вечно любить, но, может быть, не будешь с нею всегда счастлив…

Алеша произнес тогда свое мнение, краснея и досадуя на себя, что, поддавшись просьбам

брата, высказал такие «глупые» мысли. Потому что ему самому его мнение показалось ужасно как глупым тотчас же, как он его высказал. Да и стыдно стало ему высказывать так властно мнение о женщине. Тем с большим изумлением почувствовал он теперь при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо ее сияло неподдельною простодушною добротой, прямою и пылкою искренностью. Изо всей прежней «гордости и надменности», столь поразивших тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алеша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна, что она, может быть, уже знает все, решительно все. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице ее, столько веры в будущее. Алеша почувствовал себя пред нею вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбуждении, может быть очень в ней необычайном, — возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг.

— Я потому так ждала вас, что от вас от одного могу теперь узнать всю правду — ни от кого больше!

— Я пришел… — пробормотал Алеша, путаясь, — я… он послал меня…

— А, он послал вас, ну так я и предчувствовала. Теперь все знаю, все! — воскликнула Катерина Ивановна с засверкавшими вдруг глазами. — Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами; мне не известий от вас нужно. Мне вот что от вас нужно: мне надо знать ваше собственное, личное последнее впечатление о нем, мне нужно, чтобы вы мне рассказали в самом прямом, неприкрашенном, в грубом даже (о, во сколько хотите грубом!) виде — как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня? Это будет, может быть, лучше, чем если б я сама, к которой он не хочет больше ходить, объяснилась с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу? Теперь с чем же он вас послал ко мне (я так и знала, что он вас пошлет!) — говорите просто, самое последнее слово говорите!..

— Он приказал вам… кланяться, и что больше не придет никогда… а вам кланяться.

— Кланяться? Он так и сказал, так и выразился?

— Да.

— Мельком, может быть, нечаянно, ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо?

— Нет, он велел именно, чтоб я передал это слово: «кланяться». Просил раза три, чтоб я не забыл передать.

Катерина Ивановна вспыхнула.

— Помогите мне теперь, Алексей Федорович, теперь-то мне и нужна ваша помощь: я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет я думаю. Слушайте, если б он велел мне кланяться мельком, не настаивая на передаче слова, не подчеркивая слова, то это было бы все… Тут был бы конец! Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот *поклон*, — то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть? Решился и решения своего испугался! Не ушел от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду…

— Так, так! — горячо подтвердил Алеша, — мне самому так теперь кажется.

— А коли так, то он еще не погиб! Он только

в отчаянии, но я еще могу спасти его. Стойте: не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о трех тысячах?

— Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишен теперь чести и что теперь уже все равно, — с жаром ответил Алеша, чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его сердце и что в самом деле, может быть, есть выход и спасение для его брата. — Но разве вы… про эти деньги знаете? — прибавил он и вдруг осекся.

— Давно знаю, и знаю наверно. Я в Москве телеграммой спрашивала и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал, но я молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были и еще нужны деньги… Я поставила во всем этом одну только цель: чтоб он знал, к кому воротиться и кто его самый верный друг. Нет, он не хочет верить, что я ему самый верный друг, не захотел узнать меня, он смотрит на меня только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота: как бы сделать, чтоб он не постыдился предо мной этой растраты трех тысяч? То есть пусть стыдится и всех и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же все, не стыдясь. Зачем же не знает до сих пор, сколько

я могу для него вынести? Зачем, зачем не знает меня, как он смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня как свою невесту! И вот он боится предо мной за честь свою! Ведь вам же, Алексей Федорович, он не побоялся открыться? Отчего я до сих пор не заслужила того же?

Последние слова она произнесла в слезах; слезы брызнули из ее глаз.

— Я должен вам сообщить, — произнес тоже дрожащим голосом Алеша, — о том, что сейчас было у него с отцом. — И он рассказал всю сцену, рассказал, что был послан за деньгами, что тот ворвался, избил отца и после того особенно и настоятельно еще раз подтвердил ему, Алеше, идти «кланяться»... — Он пошел к этой женщине... — тихо прибавил Алеша.

— А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Он думает, что я не перенесу? Но он на ней не женится, — нервно рассмеялась она вдруг, — разве Карамазов может гореть такою страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него... — опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна.

— Он, может быть, женится, — грустно проговорил Алеша, потупив глаза.

— Он не женится, говорю вам! Эта девушка — это ангел, знаете вы это? Знаете вы это! — воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина Ивановна. — Это самое фантастическое из фантастических созданий! Я знаю, как она обольстительна, но я знаю, как она и добра, тверда, благородна. Чего вы смотрите так на меня, Алексей Федорович? Может быть, удивляетесь моим словам, может быть, не верите мне? Аграфена Александровна, ангел мой! — крикнула она вдруг кому-то, смотря в другую комнату, — подите к нам, это милый человек, это Алеша, он про наши дела все знает, покажитесь ему!

— А я только и ждала за занавеской, что вы позовете, — произнес нежный, несколько слащавый даже, женский голос.

Поднялась портьера, и… сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. В Алеше как будто что передернулось. Он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она, эта ужасная женщина — «зверь», как полчаса назад вырвалось про нее у брата Ивана. И однако же, пред ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд, — добрая, милая женщина, положим красивая, но так похожая на всех других красивых, но «обыкновенных»

женщин! Правда, хороша она была очень, очень даже, — русская красота, так многими до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, однако, Катерины Ивановны (та была уже совсем высокого роста), полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она подошла не как Катерина Ивановна — мощною бодрою походкой; напротив, неслышно. Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем и изнеженно кутая свою белую как кипень полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль. Ей было двадцать два года, и лицо ее выражало точь-в-точь этот возраст. Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдавшаяся, была вдвое полнее и как бы припухла. Но чудеснейшие, обильнейшие темно-русые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами за-

ставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека, даже где-нибудь в толпе, на гулянье, в давке, вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его. Алешу поразило всего более в этом лице его детское, простодушное выражение. Она глядела как дитя, радовалась чему-то как дитя, она именно подошла к столу, «радуясь» и как бы сейчас чего-то ожидая с самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд ее веселил душу — Алеша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему сказалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений. И однако ж, это было мощное и обильное тело. Под шалью сказывались широкие полные плечи, высокая, еще совсем юношеская грудь. Это тело, может быть, обещало формы Венеры Милосской, хотя непременно и теперь уже в несколько утрированной пропорции, — это предчувствовалось. Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая, еще юношеская красота к тридцати годам потеряет гармонию, расплывется, самое лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно

быстро появятся морщиночки, цвет лица огрубеет, побагровеет может быть, — одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины. Алеша, разумеется, не думал об этом, но, хоть и очарованный, он, с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея, спрашивал себя: зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально? Она делала это, очевидно находя в этом растягивании и в усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона, свидетельствовавшая о низком воспитании, о пошло усвоенном с детства понимании приличного. И однако же, этот выговор и интонация слов представлялись Алеше почти невозможным каким-то противоречием этому детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз! Катерина Ивановна мигом усадила ее в кресло против Алеши и с восторгом поцеловала ее несколько раз в ее смеющиеся губки. Она точно была влюблена в нее.

— Мы в первый раз видимся, Алексей Федорович, — проговорила она в упоении, — я захотела узнать ее, увидать ее, я хотела идти к ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так

и знала, что мы с ней все решим, все! Так сердце предчувствовало… Меня упрашивали оставить этот шаг, но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька все разъяснила мне, все свои намерения; она, как ангел добрый, слетела сюда и принесла покой и радость…

— Не погнушались мной, милая, достойная барышня, — нараспев протянула Грушенька все с тою же милою, радостной улыбкой.

— И не смейте говорить мне такие слова, обаятельница, волшебница! Вами-то гнушаться? Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припухла, так вот чтоб она еще больше припухла, и еще, еще… Посмотрите, как она смеется, Алексей Федорович, сердце веселится, глядя на этого ангела… — Алеша краснел и дрожал незаметною малою дрожью.

— Нежите вы меня, милая барышня, а я, может, и вовсе не стою ласки вашей.

— Не стоит! Она-то этого не стоит! — воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна, — знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольное, но гордое-прегордое сердечко! Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны, знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком

скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один, один тоже офицер, мы его полюбили, мы ему все принесли, давно это было, пять лет назад, а он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он едет сюда, — и знайте, что мы одного его, одного его только любим до сих пор и любили всю жизнь! Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива, а все пять лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться ее благосклонностью! Один этот старик безногий, купец, — но он был скорей нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в муках, оставленную тем, кого мы так любили… да ведь она утопиться тогда хотела, ведь старик этот спас ее, спас ее!

— Очень уж вы защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете, — протянула опять Грушенька.

— Защищаю? Да нам ли защищать, да еще смеем ли мы тут защищать? Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку, посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, Алексей Федорович; видите ли вы ее, она мне счастье принесла и воскресила меня, и я вот целовать ее сейчас

буду, и сверху и в ладошку, вот, вот и вот! — И она три раза как бы в упоении поцеловала действительно прелестную, слишком, может быть, пухлую ручку Грушеньки. Та же, протянув эту ручку, с нервным, звонким прелестным смешком следила за «милою барышней», и ей видимо было приятно, что ее ручку так целуют. «Может быть, слишком уж много восторга», — мелькнуло в голове Алеши. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно.

— Не устыдите ведь вы меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее Федоровиче так целовали.

— Да разве я вас тем устыдить хотела? — промолвила несколько удивленно Катерина Ивановна, — ах, милая, как вы меня дурно понимаете!

— Да вы-то меня, может, тоже не так совсем понимаете, милая барышня, я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на виду. Я сердцем дурная, я своевольная. Я Дмитрия Федоровича, бедного, из-за насмешки одной тогда заполонила.

— Но ведь теперь вы же его и спасете. Вы дали слово. Вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого, давно, и который теперь вам руку свою предлагает…

— Ах нет, я вам не давала такого слова. Вы это

сами мне все говорили, а я не давала.

— Я вас не так, стало быть, поняла, — тихо и как бы капельку побледнев, проговорила Катерина Ивановна. — Вы обещали…

— Ах нет, ангел-барышня, ничего я вам не обещала, — тихо и ровно все с тем же веселым и невинным выражением перебила Грушенька. — Вот и видно сейчас, достойная барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, так я так и поступлю. Давеча я, может, вам и пообещала что, а вот сейчас опять думаю: вдруг он опять мне понравится, Митя-то, — раз уж мне ведь он очень понравился, целый час почти даже нравился. Вот я, может быть, пойду да и скажу ему сейчас, чтоб он у меня с сего же дня остался… Вот я какая непостоянная…

— Давеча вы говорили… совсем не то… — едва проговорила Катерина Ивановна.

— Ах, давеча! А ведь я сердцем нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес! А вдруг домой приду да и пожалею его — тогда что?

— Я не ожидала…

— Эх, барышня, какая вы предо мной добрая, благородная выходите. Вот вы теперь, пожалуй, меня, этакую дуру, и разлюбите за мой характер.

Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня, — нежно попросила она и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны. — Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть, а затем пусть как Бог пошлет; может, я вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас милая, ручка-то! Барышня вы милая, раскрасавица вы моя невозможная!

Она тихо понесла эту ручку к губам своим, правда, с странною целью: «сквитаться» поцелуями. Катерина Ивановна не отняла руки: она с робкою надеждой выслушала последнее, хотя тоже очень странно выраженное обещание Грушеньки «рабски» угодить ей; она напряженно смотрела ей в глаза: она видела в этих глазах все то же простодушное, доверчивое выражение, все ту же ясную веселость… «Она, может быть, слишком наивна!» — промелькнуло надеждой в сердце Катерины Ивановны. Грушенька меж тем как бы в восхищении от «милой ручки» медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых

губ она вдруг ручку задержала на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чем-то.

— А знаете что, ангел-барышня, — вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском, — знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую. — И она засмеялась маленьким развеселым смешком.

— Как хотите… Что с вами? — вздрогнула вдруг Катерина Ивановна.

— А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет. — Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну.

— Наглая! — проговорила вдруг Катерина Ивановна, как бы вдруг что-то поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась и Грушенька.

— Так я и Мите сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться!

— Мерзавка, вон!

— Ах как стыдно, барышня, ах как стыдно, это вам даже и непристойно совсем, такие слова, милая барышня.

— Вон, продажная тварь! — завопила Катерина Ивановна. Всякая черточка дрожала в ее совсем

исказившемся лице.

— Ну уж и продажная. Сами вы девицей к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили, ведь я же знаю.

Катерина Ивановна вскрикнула и бросилась было на нее, но ее удержал всею силой Алеша:

— Ни шагу, ни слова! Не говорите, не отвечайте ничего, она уйдет, сейчас уйдет!

В это мгновение в комнату вбежали на крик обе родственницы Катерины Ивановны, вбежала и горничная. Все бросились к ней.

— И уйду, — проговорила Грушенька, подхватив с дивана мантилью. — Алеша, милый, проводи-ка меня!

— Уйдите, уйдите поскорей! — сложил пред нею, умоляя, руки Алеша.

— Милый Алешенька, проводи! Я тебе дорогой хорошенькое-хорошенькое одно словцо скажу! Я это для тебя, Алешенька, сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится.

Алеша отвернулся, ломая руки. Грушенька, звонко смеясь, выбежала из дома.

С Катериной Ивановной сделался припадок. Она рыдала, спазмы душили ее. Все около нее суетились.

— Я вас предупреждала, — говорила ей старшая

тетка, — я вас удерживала от этого шага… вы слишком пылки… разве можно было решиться на такой шаг! Вы этих тварей не знаете, а про эту говорят, что она хуже всех… Нет, вы слишком своевольны!

— Это тигр! — завопила Катерина Ивановна. — Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович, я бы избила ее, избила!

Она не в силах была сдерживать себя пред Алешей, может быть, и не хотела сдерживаться.

— Ее нужно плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе!..

Алеша попятился к дверям.

— Но боже! — вскрикнула вдруг Катерина Ивановна, всплеснув руками, — он-то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен! Ведь он рассказал этой твари о том, что было там, в тогдашний роковой, вечно проклятый, проклятый день! «Приходили красу продавать, милая барышня!» Она знает! Ваш брат подлец, Алексей Федорович!

Алеше хотелось что-то сказать, но он не находил ни одного слова. Сердце его сжималось от боли.

— Уходите, Алексей Федорович! Мне стыдно, мне ужасно! Завтра… умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите, я не знаю,

что с собой еще сделаю!

Алеша вышел на улицу как бы шатаясь. Ему тоже хотелось плакать, как и ей. Вдруг его догнала служанка.

— Барышня забыла вам передать это письмецо от госпожи Хохлаковой, оно у них с обеда лежит.

Алеша машинально принял маленький розовый конвертик и сунул его, почти не сознавая, в карман.

XI

Еще одна погибшая репутация

От города до монастыря было не более версты с небольшим. Алеша спешно пошел по пустынной в этот час дороге. Почти уже стала ночь, в тридцати шагах трудно уже было различать предметы. На половине дороги приходился перекресток. На перекрестке, под уединенною ракитой, завиделась какая-то фигура. Только что Алеша вступил на перекресток, как фигура сорвалась с места, бросилась на него и неистовым голосом прокричала:

— Кошелек или жизнь!

— Так это ты, Митя! — удивился сильно вздрогнувший, однако, Алеша.

— Ха-ха-ха! Ты не ожидал? Я думаю: где тебя подождать? У ее дома? Оттуда три дороги, и я могу тебя прозевать. Надумал наконец дождаться здесь, потому что здесь-то он пройдет непременно, другого пути в монастырь не имеется. Ну, объявляй правду, дави меня, как таракана… Да что с тобой?

— Ничего, брат… я так с испугу. Ах, Дмитрий! Давеча эта кровь отца… — Алеша заплакал, ему давно хотелось заплакать, теперь у него вдруг как бы что-то порвалось в душе. — Ты чуть не убил его… проклял его… и вот теперь… сейчас… ты шутишь шутки… «кошелек или жизнь»!

— А, да что ж? Неприлично, что ли? Не идет к положению?

— Да нет… я так…

— Стой. Посмотри на ночь: видишь, какая мрачная ночь, облака-то, ветер какой поднялся! Спрятался я здесь, под ракитой, тебя жду, и вдруг подумал (вот тебе Бог!): да чего же больше маяться, чего ждать? Вот ракита, платок есть, рубашка есть, веревку сейчас можно свить, помочи в придачу и — не бременить уж более землю, не бесчестить низким своим присутствием! И вот слышу, ты идешь, — господи, точно слетело что на меня вдруг: да ведь есть же, стало быть,

человек, которого и я люблю, ведь вот он, вот тот человечек, братишка мой милый, кого я всех больше на свете люблю и кого я единственно люблю! И так я тебя полюбил, так в эту минуту любил, что подумал: брошусь сейчас к нему на шею! Да глупая мысль пришла: «Повеселю его, испугаю». Я и закричал как дурак: «Кошелек!» Прости дурачеству — это только вздор, а на душе у меня… тоже прилично… Ну да черт, говори, однако, что там? Что она сказала? Дави меня, рази меня, не щади! В исступление пришла?

— Нет, не то… Там было совсем не то, Митя. Там… Я там сейчас их обеих застал.

— Каких обеих?

— Грушеньку у Катерины Ивановны.

Дмитрий Федорович остолбенел.

— Невозможно! — вскричал он, — ты бредишь! Грушенька у ней?

Алеша рассказал все, что случилось с ним с самой той минуты, как вошел к Катерине Ивановне. Он рассказывал минут десять, нельзя сказать, чтобы плавно и складно, но, кажется, передал ясно, схватывая самые главные слова, самые главные движения и ярко передавая, часто одною чертой, собственные чувства. Брат Дмитрий слушал молча, глядел в упор со страшною

неподвижностью, но Алеше ясно было, что он уже все понял, осмыслил весь факт. Но лицо его, чем дальше подвигался рассказ, становилось не то что мрачным, а как бы грозным. Он нахмурил брови, стиснул зубы, неподвижный взгляд его стал как бы еще неподвижнее, упорнее, ужаснее… Тем неожиданнее было, когда вдруг с непостижимою быстротой изменилось разом все лицо его, доселе гневное и свирепое, сжатые губы раздвинулись и Дмитрий Федорович залился вдруг самым неудержимым, самым неподдельным смехом. Он буквально залился смехом, он долгое время даже не мог говорить от смеха.

— Так и не поцеловала ручку! Так и не поцеловала, так и убежала! — выкрикивал он в болезненном каком-то восторге — в наглом восторге можно бы тоже сказать, если бы восторг этот не был столь безыскусствен. — Так та кричала, что это тигр! Тигр и есть! Так ее на эшафот надо? Да, да, надо бы, надо, я сам того мнения, что надо, давно надо! Видишь ли, брат, пусть эшафот, но надо еще сперва выздороветь. Понимаю царицу наглости, вся она тут, вся она в этой ручке высказалась, инфернальница! Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете! В своем роде восторг! Так

она домой побежала? Сейчас я… ах… Побегу-ка я к ней! Алешка, не вини меня, я ведь согласен, что ее придушить мало…

— А Катерина Ивановна! — печально воскликнул Алеша.

— И ту вижу, всю насквозь и ту вижу, и так вижу, как никогда! Тут целое открытие всех четырех стран света, пяти то есть! Этакий шаг! Это именно та самая Катенька, институточка, которая к нелепому грубому офицеру не побоялась из великодушной идеи спасти отца прибежать, рискуя страшно быть оскорбленною! Но гордость наша, но потребность риска, но вызов судьбе, вызов в беспредельность! Ты говоришь, ее эта тетка останавливала? Эта тетка, знаешь, сама самовластная, это ведь родная сестра московской той генеральши, она поднимала еще больше той нос, да муж был уличен в казнокрадстве, лишился всего, и имения, и всего, и гордая супруга вдруг понизила тон, да с тех пор и не поднялась. Так она удерживала Катю, а та не послушалась. «Все, дескать, могу победить, все мне подвластно; захочу, и Грушеньку околдую», — и сама ведь себе верила, сама над собой форсила, кто ж виноват? Ты думаешь, она нарочно эту ручку первая поцеловала у Грушеньки, с расчетом хитрым?

Нет, она взаправду, она взаправду влюбилась в Грушеньку, то есть не в Грушеньку, а в свою же мечту, в свой бред, — потому-де что это моя мечта, мой бред! Голубчик Алеша, да как ты от них, от этаких, спасся? Убежал, что ли, подобрав подрясник? Ха-ха-ха!

— Брат, а ты, кажется, и не обратил внимания, как ты обидел Катерину Ивановну тем, что рассказал Грушеньке о том дне, а та сейчас ей бросила в глаза, что вы сами «к кавалерам красу тайком продавать ходили!» Брат, что же больше этой обиды? — Алешу всего более мучила мысль, что брат точно рад унижению Катерины Ивановны, хотя, конечно, того быть не могло.

— Ба! — страшно вдруг нахмурился Дмитрий Федорович и ударил себя ладонью по лбу. Он только что теперь обратил внимание, хотя Алеша рассказал все давеча зараз, и обиду и крик Катерины Ивановны: «Ваш брат подлец!» — Да, в самом деле, может быть, я и рассказал Грушеньке о том «роковом дне», как говорит Катя. Да, это так, рассказал, припоминаю! Это было тогда еще, в Мокром, я был пьян, цыганки пели… Но ведь я рыдал, рыдал тогда сам, я стоял на коленках, я молился на образ Кати, и Грушенька это понимала. Она тогда все поняла, я припоминаю,

она сама плакала… А, черт! Да могло ли иначе быть теперь? Тогда плакала, а теперь… Теперь «кинжал в сердце»! Так у баб.

Он потупился и задумался.

— Да, я подлец! Несомненный подлец, — произнес он вдруг мрачным голосом. — Все равно, плакал или нет, все равно подлец! Передай там, что принимаю наименование, если это может утешить. Ну и довольно, прощай, что болтать-то! Веселого нет. Ты своею дорогой, а я своею. Да и видеться больше не хочу, до какой-нибудь самой последней минуты. Прощай, Алексей! — Он крепко сжал руку Алеши и, все еще потупившись и не поднимая головы, точно сорвавшись, быстро зашагал к городу. Алеша смотрел ему вслед, не веря, чтоб он так совсем вдруг ушел.

— Стой, Алексей, еще одно признание, тебе одному! — вдруг воротился Дмитрий Федорович назад. — Смотри на меня, пристально смотри: видишь, вот тут, вот тут — готовится страшное бесчестие. (Говоря «вот тут», Дмитрий Федорович ударял себя кулаком по груди и с таким странным видом, как будто бесчестие лежало и сохранялось именно тут на груди его, в каком-то месте, в кармане может быть, или на шее висело зашитое.) Ты уже знаешь меня: подлец, подлец признан-

ный! Но знай, что бы я ни сделал прежде, теперь или впереди, — ничто, ничто не может сравниться в подлости с тем бесчестием, которое именно теперь, именно в эту минуту ношу вот здесь на груди моей, вот тут, тут, которое действует и совершается и которое я полный хозяин остановить, могу остановить или совершить, заметь это себе! Ну так знай же, что я его совершу, а не остановлю. Я давеча тебе все рассказал, а этого не рассказал, потому что даже и у меня на то медного лба не хватило! Я могу еще остановиться; остановясь, я могу завтра же целую половину потерянной чести воротить, но я не остановлюсь, я совершу подлый замысел, и будь ты вперед свидетелем, что я заранее и зазнамо говорю это! Гибель и мрак! Объяснять нечего, в свое время узнаешь. Смрадный переулок и инфернальница! Прощай. Не молись обо мне, не стою, да и не нужно совсем, совсем не нужно… не нуждаюсь вовсе! Прочь!..

И он вдруг удалился, на этот раз уже совсем. Алеша пошел к монастырю. «Как же, как же я никогда его не увижу, что он говорит? — дико представлялось ему, — да завтра же непременно увижу и разыщу его, нарочно разыщу, что он такое говорит!..»

Монастырь он обошел кругом и через сосновую рощу прошел прямо в скит. Там ему отворили, хотя в этот час уже никого не впускали. Сердце у него дрожало, когда он вошел в келью старца: «Зачем, зачем он выходил, зачем тот послал его „в мир“? Здесь тишина, здесь святыня, а там — смущенье, там мрак, в котором сразу потеряешься и заблудишься…»

В келье находились послушник Порфирий и иеромонах отец Паисий, весь день каждый час заходивший узнать о здоровии отца Зосимы, которому, как со страхом узнал Алеша, становилось все хуже и хуже. Даже обычной вечерней беседы с братией на сей раз не могло состояться. Обыкновенно повечеру, после службы, ежедневно, на сон грядущий, стекалась монастырская братия в келью старца, и всякий вслух исповедовал ему сегодняшние прегрешения свои, грешные мечты, мысли, соблазны, даже ссоры между собой, если таковые случались. Иные исповедовались на коленях. Старец разрешал, мирил, наставлял, налагал покаяние, благословлял и отпускал. Вот против этих-то братских «исповедей» и восставали противники старчества, говоря, что это профанация исповеди как таинства, почти кощунство, хотя тут было совсем иное. Выстав-

ляли даже епархиальному начальству, что такие исповеди не только не достигают доброй цели, но действительно и нарочито вводят в грех и соблазн. Многие-де из братии тяготятся ходить к старцу, а приходят поневоле, потому что все идут, так чтобы не приняли их за гордых и бунтующих помыслом. Рассказывали, что некоторые из братии, отправляясь на вечернюю исповедь, условливались между собою заранее: «я, дескать, скажу, что я на тебя утром озлился, а ты подтверди», — это чтобы было что сказать, чтобы только отделаться. Алеша знал, что это действительно иногда так и происходило. Он знал тоже, что есть из братии весьма негодующие и на то, что, по обычаю, даже письма от родных, получаемые скитниками, приносились сначала к старцу, чтоб он распечатывал их прежде получателей. Предполагалось, разумеется, что все это должно совершаться свободно и искренно, от всей души, во имя вольного смирения и спасительного назидания, но на деле, как оказывалось, происходило иногда и весьма неискренно, а, напротив, выделанно и фальшиво. Но старшие и опытнейшие из братии стояли на своем, рассуждая, что «кто искренно вошел в эти стены, чтобы спастись, для тех все эти послушания и подвиги окажут-

ся несомненно спасительными и принесут им великую пользу; кто же, напротив, тяготится и ропщет, тот все равно как бы и не инок и напрасно только пришел в монастырь, такому место в миру. От греха же и от диавола не только в миру, но и во храме не убережешься, а стало быть, и нечего греху потакать».

— Ослабел, сонливость напала, — шепотом сообщил Алеше отец Паисий, благословив его. — Разбудить даже трудно. Но и не надо будить. Минут на пять просыпался, просил снести братии его благословение, а у братии просил о нем ночных молитв. Завтра намерен еще раз причаститься. О тебе вспоминал, Алексей, спрашивал, ушел ли ты, отвечали, что в городе. «На то я и благословил его; там его место, а пока не здесь», — вот что изрек о тебе. Любовно о тебе вспоминал, с заботой, смыслишь ли ты, чего удостоился? Только как же это определил он тебе пока быть срок в миру? Значит, предвидит нечто в судьбе твоей! Пойми, Алексей, что если и возвратишься в мир, то как бы на возложенное на тя послушание старцем твоим, а не на суетное легкомыслие и не на мирское веселие…

Отец Паисий вышел. Что старец отходил, в том не было сомнения для Алеши, хотя мог прожить

еще и день и два. Алеша твердо и горячо решил, что, несмотря на обещание, данное им, видеться с отцом, Хохлаковыми, братом и Катериной Ивановной, — завтра он не выйдет из монастыря совсем и останется при старце своем до самой кончины его. Сердце его загорелось любовью, и он горько упрекнул себя, что мог на мгновение там, в городе, даже забыть о том, кого оставил в монастыре на одре смерти и кого чтил выше всех на свете. Он прошел в спаленку старца, стал на колени и поклонился спящему до земли. Тот тихо, недвижимо спал, чуть дыша ровно и почти неприметно. Лицо его было спокойно.

Воротясь в другую комнату, в ту самую, в которой поутру старец принимал гостей, Алеша, почти не раздеваясь и сняв лишь сапоги, улегся на кожаном, жестком и узком диванчике, на котором он и всегда спал, давно уже, каждую ночь, принося лишь подушку. Тюфяк же, о котором кричал давеча отец его, он уже давно забыл постилать себе. Он снимал лишь свой подрясник и им накрывался вместо одеяла. Но перед сном он бросился на колени и долго молился. В горячей молитве своей он не просил Бога разъяснить ему смущение его, а лишь жаждал радостного умиления, прежнего умиления, всегда посещавшего

его душу после хвалы и славы Богу, в которых и состояла обыкновенно вся на сон грядущий молитва его. Эта радость, посещавшая его, вела за собой легкий и спокойный сон. Молясь и теперь, он вдруг случайно нащупал в кармане тот розовый маленький пакетик, который передала ему догнавшая его на дороге служанка Катерины Ивановны. Он смутился, но докончил молитву. Затем после некоторого колебания вскрыл пакет. В нем было к нему письмецо, подписанное Lise, — тою самою молоденькою дочерью госпожи Хохлаковой, которая утром так смеялась над ним при старце.

Алексей Федорович, – писала она, – *пишу вам от всех секретно, и от мамаши, и знаю, как это нехорошо. Но я не могу больше жить, если не скажу вам того, что родилось в моем сердце, а этого никто, кроме нас двоих, не должен до времени знать. Но как я вам скажу то, что я так хочу вам сказать? Бумага, говорят, не краснеет, уверяю вас, что это неправда и что краснеет она так же точно, как и я теперь вся. Милый Алеша, я вас люблю, люблю еще с детства, с Москвы, когда вы*

были совсем не такой, как теперь, и люблю на всю жизнь. Я вас избрала сердцем моим, чтобы с вами соединиться, а в старости кончить вместе нашу жизнь. Конечно, с тем условием, что вы выйдете из монастыря. Насчет же лет наших мы подождем, сколько приказано законом. К тому времени я непременно выздоровлю, буду ходить и танцевать. Об этом не может быть слова.

Видите, как я все обдумала, одного только не могу придумать: что подумаете вы обо мне, когда прочтете? Я все смеюсь и шалю, я давеча вас рассердила, но уверяю вас, что сейчас, перед тем как взяла перо, я помолилась на образ Богородицы, да и теперь молюсь и чуть не плачу.

Мой секрет у вас в руках; завтра, как придете, не знаю, как и взгляну на вас. Ах, Алексей Федорович, что, если я опять не удержусь, как дура, и засмеюсь, как давеча, на вас глядя? Ведь вы меня примете за скверную насмешницу и письму моему не поверите. А потому умоляю вас, милый, если у вас есть сострадание ко мне,

когда вы войдете завтра, то не глядите мне слишком прямо в глаза, потому что я, встретясь с вашими, может быть, непременно вдруг рассмеюсь, а к тому же вы будете в этом длинном платье... Даже теперь я вся холодею, когда об этом подумаю, а потому, как войдете, не смотрите на меня некоторое время совсем, а смотрите на маменьку или на окошко...

Вот я написала вам любовное письмо, боже мой, что я сделала! Алеша, не презирайте меня, и если я что сделала очень дурное и вас огорчила, то извините меня. Теперь тайна моей, погибшей навеки может быть, репутации в ваших руках.

Я сегодня непременно буду плакать. До свиданья, до ***ужасного*** *свиданья. Lise.*

P. S. Алеша, только вы непременно, непременно, непременно придите! Lise.

Алеша прочел с удивлением, прочел два раза, подумал и вдруг тихо, сладко засмеялся. Он было вздрогнул, смех этот показался ему греховным. Но мгновение спустя он опять рассмеялся так же тихо и так же счастливо. Медленно вложил он

письмо в конвертик, перекрестился и лег. Смятение души его вдруг прошло. «Господи, помилуй их всех, давешних, сохрани их, несчастных и бурных, и направь. У тебя пути: ими же веси путями спаси их. Ты любовь, ты всем пошлешь и радость!» — бормотал, крестясь, засыпая безмятежным сном, Алеша.

Часть вторая

Книга четвертая. Надрывы



I

Отец Ферапонт

Рано утром, еще до света, был пробужден Алеша. Старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым, хотя и пожелал с постели пересесть в кресло. Он был в полной памяти; лицо же его было хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, зовущий. «Может, и не переживу наступившего дня сего», — сказал он Алеше; затем возжелал исповедаться и причаститься немедленно. Духовником его всегда был отец Паисий. По совершении обоих таинств началось соборование. Собрались иеромонахи, келья мало-помалу наполнилась скитниками. Наступил меж тем день. Стали приходить и из монастыря. Когда кончилась служба,

старец со всеми возжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи, приходившие прежде выходили и уступали другим. Алеша стоял подле старца, который опять пересел в кресло. Он говорил и учил сколько мог, голос его, хоть и слабый, был еще довольно тверд. «Столько лет учил вас и, стало быть, столько лет вслух говорил, что как бы и привычку взял говорить, а говоря, вас учить, и до того сие, что молчать мне почти и труднее было бы, чем говорить, отцы и братия милые, даже и теперь при слабости моей», — пошутил он, умиленно взирая на толпившихся около него. Алеша упомнил потом кое-что из того, что он тогда сказал. Но хоть и внятно говорил, и хоть и голосом достаточно твердым, но речь его была довольно несвязна. Говорил он о многом, казалось, хотел бы все сказать, все высказать еще раз, пред смертною минутой, изо всего недосказанного в жизни, и не поучения лишь одного ради, а как бы жаждая поделиться радостью и восторгом своим со всеми и вся, излиться еще раз в жизни сердцем своим…

«Любите друг друга, отцы, — учил старец (сколько запомнил потом Алеша). — Любите народ Божий. Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились,

а, напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле… И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовию приобрести и слезами своими мировые грехи омыть… Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, даже и сознав его, лишь бы покаяние

было, но условий с Богом не делайте. Паки говорю — не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся… Народ Божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно… Не лихоимствуйте… Сребра и золота не любите, не держите… Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его…»

Старец, впрочем, говорил отрывочнее, чем здесь было изложено и как записал потом Алеша. Иногда он пресекал говорить совсем, как бы собираясь с силами, задыхался, но был как бы в восторге. Слушали его с умилением, хотя многие и дивились словам его и видели в них

темноту… Потом все эти слова вспомнили. Когда Алеше случилось на минуту отлучиться из кельи, то он был поражен всеобщим волнением и ожиданием толпившейся в келье и около кельи братии. Ожидание было между иными почти тревожное, у других торжественное. Все ожидали чего-то немедленного и великого тотчас по успении старца. Ожидание это, с одной точки зрения, было почти как бы и легкомысленное, но даже и самые строгие старцы подвергались сему. Всего строже было лицо старца иеромонаха Паисия. Алеша отлучился из кельи лишь потому, что был таинственно вызван, чрез одного монаха, прибывшим из города Ракитиным со странным письмом к Алеше от госпожи Хохлаковой. Та сообщила Алеше одно любопытное, чрезвычайно кстати пришедшее известие. Дело состояло в том, что вчера между верующими простонародными женщинами, приходившими поклониться старцу и благословиться у него, была одна городская старушка, Прохоровна, унтер-офицерская вдова. Спрашивала она старца: можно ли ей помянуть сыночка своего Васеньку, заехавшего по службе далеко в Сибирь, в Иркутск, и от которого она уже год не получала никакого известия, вместо покойника в церкви за упокой? На что старец от-

ветил ей со строгостию, запретив и назвав такого рода поминание подобным колдовству. Но затем, простив ей по неведению, прибавил, «как бы смотря в книгу будущего» (выражалась госпожа Хохлакова в письме своем), и утешение, «что сын ее Вася жив несомненно, и что или сам приедет к ней вскорости, или письмо пришлет, и чтоб она шла в свой дом и ждала сего. И что же? — прибавляла в восторге госпожа Хохлакова, — пророчество совершилось даже буквально, и даже более того». Едва лишь старушка вернулась домой, как ей тотчас же передали уже ожидавшее ее письмо из Сибири. Но этого еще мало: в письме этом, писанном с дороги, из Екатеринбурга, Вася уведомлял свою мать, что едет сам в Россию, возвращается с одним чиновником и что недели чрез три по получении письма сего «он надеется обнять свою мать». Госпожа Хохлакова настоятельно и горячо умоляла Алешу немедленно передать это свершившееся вновь «чудо предсказания» игумену и всей братии: «Это должно быть всем, всем известно!» — восклицала она, заключая письмо свое. Письмо ее было писано наскоро, поспешно, волнение писавшей отзывалось в каждой строчке его. Но Алеше уже и нечего было сообщать братии, ибо все уже всё знали:

Ракитин, послав за ним монаха, поручил тому, кроме того, «почтительнейше донести и его высокопреподобию отцу Паисию, что имеет до него он, Ракитин, некое дело, но такой важности, что и минуты не смеет отложить для сообщения ему, за дерзость же свою земно просит простить его». Так как отцу Паисию монашек сообщил просьбу Ракитина раньше, чем Алеше, то Алеше, придя на место, осталось лишь, прочтя письмецо, сообщить его тотчас же отцу Паисию в виде лишь документа. И вот даже этот суровый и недоверчивый человек, прочтя нахмурившись известие о «чуде», не мог удержать вполне некоторого внутреннего чувства своего. Глаза его сверкнули, уста важно и проникновенно вдруг улыбнулись.

— То ли узрим? — как бы вырвалось у него вдруг.

— То ли еще узрим, то ли еще узрим! — повторили кругом монахи, но отец Паисий, снова нахмурившись, попросил всех хотя бы до времени вслух о сем не сообщать никому, «пока еще более подтвердится, ибо много в светских легкомыслия, да и случай сей мог произойти естественно», — прибавил он осторожно, как бы для очистки совести, но почти сам не веруя своей оговорке, что очень хорошо усмотрели и слушав-

шие. В тот же час, конечно, «чудо» стало известно всему монастырю и многим даже пришедшим в монастырь к литургии светским. Всех же более, казалось, был поражен совершившимся чудом вчерашний захожий в обитель монашек «от святого Сильвестра», из одной малой обители Обдорской на дальнем Севере. Он поклонился вчера старцу, стоя около госпожи Хохлаковой, и, указывая ему на «исцелевшую» дочь этой дамы, проникновенно спросил его: «Как дерзаете вы делать такие дела?»

Дело в том, что теперь он был уже в некотором недоумении и почти не знал, чему верить. Еще вчера ввечеру посетил он монастырского отца Ферапонта в особой келье его за пасекой и был поражен этою встречей, которая произвела на него чрезвычайное и ужасающее впечатление. Старец этот, отец Ферапонт, был тот самый престарелый монах, великий постник и молчальник, о котором мы уже и упоминали как о противнике старца Зосимы, и главное — старчества, которое и считал он вредным и легкомысленным новшеством. Противник этот был чрезвычайно опасный, несмотря на то, что он, как молчальник, почти и не говорил ни с кем ни слова. Опасен же был он, главное, тем, что множество братии

вполне сочувствовало ему, а из приходящих мирских очень многие чтили его как великого праведника и подвижника, несмотря на то, что видели в нем несомненно юродивого. Но юродство-то и пленяло. К старцу Зосиме этот отец Ферапонт никогда не ходил. Хотя он и проживал в скиту, но его не очень-то беспокоили скитскими правилами, потому опять-таки, что держал он себя прямо юродивым. Было ему лет семьдесят пять, если не более, а проживал он за скитскою пасекой, в углу стены, в старой, почти развалившейся деревянной келье, поставленной тут еще в древнейшие времена, еще в прошлом столетии, для одного тоже величайшего постника и молчальника, отца Ионы, прожившего до ста пяти лет и о подвигах которого даже до сих пор ходили в монастыре и в окрестностях его многие любопытнейшие рассказы. Отец Ферапонт добился того, что и его наконец поселили, лет семь тому назад, в этой самой уединенной келейке, то есть просто в избе, но которая весьма похожа была на часовню, ибо заключала в себе чрезвычайно много жертвованных образов с теплившимися вековечно пред ними жертвованными лампадками, как бы смотреть за которыми и возжигать их и приставлен был отец Ферапонт. Ел он, как гово-

рили (да оно и правда было), всего лишь по два фунта хлеба в три дня, не более; приносил ему их каждые три дня живший тут же на пасеке пасечник, но даже и с этим прислуживавшим ему пасечником отец Ферапонт тоже редко когда молвил слово. Эти четыре фунта хлеба, вместе с воскресною просвиркой, после поздней обедни аккуратно присылаемой блаженному игуменом, и составляли все его недельное пропитание. Воду же в кружке переменяли ему на каждый день. У обедни он редко появлялся. Приходившие поклонники видели, как он простаивал иногда весь день на молитве, не вставая с колен и не озираясь. Если же и вступал когда с ними в беседу, то был краток, отрывист, странен и всегда почти груб. Бывали, однако, очень редкие случаи, что и он разговорится с прибывшими, но большею частию произносил одно лишь какое-нибудь странное слово, задававшее всегда посетителю большую загадку, и затем уже, несмотря ни на какие просьбы, не произносил ничего в объяснение. Чина священнического не имел, был простой лишь монах. Ходил очень странный слух, между самыми, впрочем, темными людьми, что отец Ферапонт имеет сообщение с небесными духами и с ними только ведет беседу, вот

почему с людьми и молчит. Обдорский монашек, пробравшись на пасеку по указанию пасечника, тоже весьма молчаливого и угрюмого монаха, пошел в уголок, где стояла келейка отца Ферапонта. «Может, и заговорит, как с пришельцем, а может, и ничего от него не добьешься», — предупредил его пасечник. Подходил монашек, как и сам передавал он потом, с величайшим страхом. Час был уже довольно поздний. Отец Ферапонт сидел в этот раз у дверей келейки, на низенькой скамеечке. Над ним слегка шумел огромный старый вяз. Набегал вечерний холодок. Обдорский монашек повергся ниц пред блаженным и попросил благословения.

— Хочешь, чтоб и я пред тобой, монах, ниц упал? — проговорил отец Ферапонт. — Восстани!

Монашек встал.

— Благословляя да благословишися, садись подле. Откулева занесло?

Что всего более поразило бедного монашка, так это то, что отец Ферапонт, при несомненном великом постничестве его и будучи в столь преклонных летах, был еще на вид старик сильный, высокий, державший себя прямо, несогбенно, с лицом свежим, хоть и худым, но здоровым. Несомненно тоже сохранилась в нем еще и зна-

чительная сила. Сложения же был атлетического. Несмотря на столь великие лета его, был он даже и не вполне сед, с весьма еще густыми, прежде совсем черными волосами на голове и бороде. Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно вылупившиеся, что даже поражало. Говорил с сильным ударением на *о*. Одет же был в рыжеватый длинный армяк, грубого арестантского, по прежнему именованию, сукна и подпоясан толстою веревкой. Шея и грудь обнажены. Толстейшего холста почти совсем почерневшая рубаха, по месяцам не снимавшаяся, выглядывала из-под армяка. Говорили, что носит он на себе под армяком тридцатифунтовые вериги. Обут же был в старые почти развалившиеся башмаки на босу ногу.

— Из малой Обдорской обители, от святого Селивестра, — смиренно ответил захожий монашек, быстрыми, любопытными своими глазками, хотя несколько и испуганными, наблюдая отшельника.

— Бывал у твоего Селивестра. Живал. Здоров ли Селивестр-от?

Монашек замялся.

— Бестолковые вы человеки! Како соблюдаете пост?

— Трапезник наш по древлему скитскому тако устроен: о четыредесятнице в понедельник, в среду и пяток трапезы не поставляют. Во вторник и четверток на братию хлебы белые, взвар с медом, ягода морошка или капуста соленая да толокно мешано. В субботу шти белые, лапша гороховая, каша соковая, все с маслом. В неделю ко штям сухая рыба да каша. В Страстную же седмицу от понедельника даже до субботнего вечера, дней шесть, хлеб с водою точию ясти и зелие не варено, и се с воздержанием; аще есть можно и не на всяк день приимати, но, яко же речено бысть, о первой седмице. Во святый же великий пяток ничесо же ясти, такожде и великую субботу поститися нам до третиего часа и тогда вкусити мало хлеба с водой и по единой чаше вина испити. Во святый же великий четверток ядим варения без масла, пием же вино и ино сухоядением. Ибо иже в Лаодикии собор о велицем четвертке тако глаголет: «Яко не достоит в четыредесятницу последней недели четверток разрешити и всю четыредесятницу бесчестити». Вот как у нас. Но что сие сравнительно с вами, великий отче, — ободрившись, прибавил монашек, — ибо и круглый год, даже и во Святую Пасху, лишь хлебом с водою питаетесь, и что

у нас хлеба на два дня, то у вас на всю седмицу идет. Воистину дивно таковое великое воздержание ваше.

— А грузди? — спросил вдруг отец Ферапонт, произнося букву *г* придыхательно, почти как хер.

— Грузди? — переспросил удивленный монашек.

— То-то. Я-то от их хлеба уйду, не нуждаясь в нем вовсе, хотя бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть, черту связаны. Ныне поганцы рекут, что поститься столь нечего. Надменное и поганое сие есть рассуждение их.

— Ох, правда, — вздохнул монашек.

— А чертей у тех видел? — спросил отец Ферапонт.

— У кого же у тех? — робко осведомился монашек.

— Я к игумену прошлого года во святую пятидесятницу восходил, а с тех пор и не был. Видел, у которого на персях сидит, под рясу прячется, токмо рожки выглядывают; у которого из кармана высматривает, глаза быстрые, меня-то боится; у которого во чреве поселился, в самом нечистом брюхе его, а у некоего так на шее висит, уцепился,

так и носит, а его не видит.

— Вы… видите? — осведомился монашек.

— Говорю — вижу, наскрозь вижу. Как стал от игумена выходить, смотрю — один за дверь от меня прячется, да матерой такой, аршина в полтора али больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади, а я не будь глуп, дверь-то вдруг и прихлопнул, да хвост-то ему и защемил. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знамением, да трижды — и закрестил. Тут и подох, как паук давленый. Теперь надоть быть погнил в углу-то, смердит, а они-то не видят, не чухают. Год не хожу. Тебе лишь, как иностранцу, открываю.

— Страшные словеса ваши! А что, великий и блаженный отче, — осмеливался все больше и больше монашек, — правда ли, про вас великая слава идет, даже до отдаленных земель, будто со Святым Духом беспрерывное общение имеете?

— Слетает. Бывает.

— Как же слетает? В каком же виде?

— Птицею.

— Святый Дух в виде голубине?

— То Святый Дух, а то Святодух. Святодух иное,

тот может и другою птицею снизойти: ино ласточкой, ино щеглом, а ино и синицею.

— Как же вы узнаете его от синицы-то?

— Говорит.

— Как же говорит, каким языком?

— Человечьим.

— А что же он вам говорит?

— Вот сегодня возвестил, что дурак посетит и спрашивать будет негожее. Много, инок, знать хочеши.

— Ужасны словеса ваши, блаженнейший и святейший отче, — качал головою монашек. В пугливых глазках его завиделась, впрочем, и недоверчивость.

— А видишь ли древо сие? — спросил, помолчав, отец Ферапонт.

— Вижу, блаженнейший отче.

— По-твоему, вяз, а по-моему, иная картина.

— Какая же? — помолчал в тщетном ожидании монашек.

— Бывает в нощи. Видишь сии два сука? В нощи же и се Христос руце ко мне простирает и руками теми ищет меня, явно вижу и трепещу. Страшно, о страшно!

— Что же страшного, коли сам бы Христос?

— А захватит и вознесет.

— Живого-то?

— А в духе и славе Илии, не слыхал, что ли? обымет и унесет…

Хотя обдорский монашек после сего разговора воротился в указанную ему келейку, у одного из братий, даже в довольно сильном недоумении, но сердце его несомненно все же лежало больше к отцу Ферапонту, чем к отцу Зосиме. Монашек обдорский был прежде всего за пост, а такому великому постнику, как отец Ферапонт, не дивно было и «чудная видети». Слова его, конечно, были как бы и нелепые, но ведь Господь знает, что в них заключалось-то, в этих словах, а у всех Христа ради юродивых и не такие еще бывают слова и поступки. Защемленному же чертову хвосту он не только в иносказательном, но и в прямом смысле душевно и с удовольствием готов был поверить. Кроме сего, он и прежде, еще до прихода в монастырь, был в большом предубеждении против старчества, которое знал доселе лишь по рассказам и принимал его вслед за многими другими решительно за вредное новшество. Ободняв уже в монастыре, успел отметить и тайный ропот некоторых легкомысленных и несогласных на старчество братий. Был он к тому же по натуре своей инок шны-

ряющий и проворный, с превеликим ко всему любопытством. Вот почему великое известие о новом «чуде», совершенном старцем Зосимою, повергло его в чрезвычайное недоумение. Алеша припомнил потом, как в числе теснившихся к старцу и около кельи его иноков мелькала много раз пред ним шныряющая везде по всем кучкам фигурка любопытного обдорского гостя, ко всему прислушивающегося и всех вопрошающего. Но тогда он мало обратил внимания на него и только потом все припомнил… Да и не до того ему было: старец Зосима, почувствовавший вновь усталость и улегшийся опять в постель, вдруг, заводя уже очи, вспомнил о нем и потребовал его к себе. Алеша немедленно прибежал. Около старца находились тогда всего лишь отец Паисий, отец иеромонах Иосиф да Порфирий-послушник. Старец, раскрыв утомленные очи и пристально глянув на Алешу, вдруг спросил его:

— Ждут ли тебя твои, сынок?

Алеша замялся.

— Не имеют ли нужды в тебе? Обещал ли кому вчера на сегодня быти?

— Обещался… отцу… братьям… другим тоже…

— Видишь. Непременно иди. Не печалься. Знай, что не умру без того, чтобы не сказать при тебе

последнее мое на земле слово. Тебе скажу это слово, сынок, тебе и завещаю его. Тебе, сынок милый, ибо любишь меня. А теперь пока иди к тем, кому обещал.

Алеша немедленно покорился, хотя и тяжело ему было уходить. Но обещание слышать последнее слово его на земле и, главное, как бы ему, Алеше, завещанное, потрясло его душу восторгом. Он заспешил, чтоб, окончив все в городе, поскорей воротиться. Как раз и отец Паисий молвил ему напутственное слово, произведшее на него весьма сильное и неожиданное впечатление. Это когда уже они оба вышли из кельи старца.

— Помни, юный, неустанно, — так прямо и безо всякого предисловия начал отец Паисий, — что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях еди-

ничных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо! Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, не забудешь и слов моих, ради сердечного тебе напутствия данных, ибо млад еси, а соблазны в мире тяжелые и не твоим силам вынести их. Ну теперь ступай, сирота.

С этим словом отец Паисий благословил его. Выходя из монастыря и обдумывая все эти внезапные слова, Алеша вдруг понял, что в этом строгом и суровом доселе к нему монахе он встречает теперь нового неожиданного друга и горячо любящего его нового руководителя, — точно как бы старец Зосима завещал ему его умирая. «А может быть, так оно и впрямь между ними произошло», — подумал вдруг Алеша. Неожи-

данное же и ученое рассуждение его, которое он сейчас выслушал, именно это, а не другое какое-нибудь, свидетельствовало лишь о горячности сердца отца Паисия: он уже спешил как можно скорее вооружить юный ум для борьбы с соблазнами и огородить юную душу, ему завещанную, оградой, какой крепче и сам не мог представить себе.

II

У отца

Прежде всего Алеша пошел к отцу. Подходя, он вспомнил, что отец очень настаивал накануне, чтоб он как-нибудь вошел потихоньку от брата Ивана. «Почему ж? — подумалось вдруг теперь Алеше. — Если отец хочет что-нибудь мне сказать одному, потихоньку, то зачем же мне входить потихоньку? Верно, он вчера в волнении хотел что-то другое сказать, да не успел», — решил он. Тем не менее очень был рад, когда отворившая ему калитку Марфа Игнатьевна (Григорий, оказалось, расхворался и лежал во флигеле) сообщила ему на его вопрос, что Иван Федорович уже два часа как вышел-с.

— А батюшка?

— Встал, кофе кушает, — как-то сухо ответила Марфа Игнатьевна.

Алеша вошел. Старик сидел один за столом, в туфлях и в старом пальтишке, и просматривал для развлечения, без большого, однако, внимания, какие-то счеты. Он был совсем один во всем доме (Смердяков тоже ушел за провизией к обеду). Но не счеты его занимали. Хоть он и встал поутру рано с постели и бодрился, а вид все-таки имел усталый и слабый. Лоб его, на котором за ночь разрослись огромные багровые подтеки, обвязан был красным платком. Нос тоже за ночь сильно припух, и на нем тоже образовалось несколько хоть и незначительных подтеков пятнами, но решительно придававших всему лицу какой-то особенно злобный и раздраженный вид. Старик знал про это сам и недружелюбно поглядел на входившего Алешу.

— Кофе холодный, — крикнул он резко, — не потчую. Я, брат, сам сегодня на одной постной ухе сижу и никого не приглашаю. Зачем пожаловал?

— Узнать о вашем здоровье, — проговорил Алеша.

— Да. И, кроме того, я тебе вчера сам велел прийти. Вздор все это. Напрасно изволил потре-

вожиться. Я так, впрочем, и знал, что ты тотчас притащишься…

Он проговорил это с самым неприязненным чувством. Тем временем встал с места и озабоченно посмотрел в зеркало (может быть, в сороковой раз с утра) на свой нос. Начал тоже прилаживать покрасивее на лбу свой красный платок.

— Красный-то лучше, а в белом на больницу похоже, — сентенциозно заметил он. — Ну что там у тебя? Что твой старец?

— Ему очень худо, он, может быть, сегодня умрет, — ответил Алеша, но отец даже и не расслышал, да и вопрос свой тотчас забыл.

— Иван ушел, — сказал он вдруг. — Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает, для того здесь и живет, — прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу.

— Неужто ж он вам сам так сказал? — спросил Алеша.

— Да, и давно еще сказал. Как ты думаешь: недели с три как сказал. Не зарезать же меня тайком и он приехал сюда? Для чего-нибудь да приехал же?

— Что вы! Чего вы это так говорите? — смутился ужасно Алеша.

— Денег он не просит, правда, а все же от ме-

ня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее, — продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол, держа руки по карманам своего широкого, засаленного, из желтой летней коломянки, пальто. — Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь — поган стану, не пойдут они ко мне тогда доброю волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно. В скверне-то слаще: все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу, это было бы тебе известно, да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите,

так и черт вас дери. Вот моя философия. Вчера Иван здесь хорошо говорил, хоть и были мы все пьяны. Иван хвастун, да и никакой у него такой учености нет… да и особенного образования тоже нет никакого, молчит да усмехается на тебя молча, — вот на чем только и выезжает.

Алеша его слушал и молчал.

— Зачем он не говорит со мной? А и говорит, так ломается; подлец твой Иван! А на Грушке сейчас женюсь, только захочу. Потому что с деньгами стоит только захотеть-с, Алексей Федорович, все и будет. Вот Иван-то этого самого и боится и сторожит меня, чтоб я не женился, а для того наталкивает Митьку, чтобы тот на Грушке женился: таким образом хочет и меня от Грушки уберечь (будто бы я ему денег оставлю, если на Грушке не женюсь!), а с другой стороны, если Митька на Грушке женится, так Иван его невесту богатую себе возьмет, вот у него расчет какой! Подлец твой Иван!

— Как вы раздражительны. Это вы со вчерашнего; пошли бы вы да легли, — сказал Алеша.

— Вот ты говоришь это, — вдруг заметил старик, точно это ему в первый раз только в голову вошло, — говоришь, а я на тебя не сержусь, а на Ивана, если б он мне это самое сказал, я бы рас-

сердился. С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я ведь злой человек.

— Не злой вы человек, а исковерканный, — улыбнулся Алеша.

— Слушай, я разбойника Митьку хотел сегодня было засадить, да и теперь еще не знаю, как решу. Конечно, в теперешнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок считать, но ведь по законам-то, кажется, и в наше время не позволено стариков отцов за волосы таскать, да по роже каблуками на полу бить, в их собственном доме, да похваляться прийти и совсем убить — все при свидетелях-с. Я бы, если бы захотел, скрючил его и мог бы за вчерашнее сейчас засадить.

— Так вы не хотите жаловаться, нет?

— Иван отговорил. Я бы наплевал на Ивана, да я сам одну штуку знаю…

И, нагнувшись к Алеше, он продолжал конфиденциальным полушепотом:

— Засади я его, подлеца, она услышит, что я его засадил, и тотчас к нему побежит. А услышит если сегодня, что тот меня до полусмерти, слабого старика, избил, так, пожалуй, бросит его, да ко мне придет навестить… Вот ведь мы какими характерами одарены — только чтобы насупро-

тив делать. Я ее насквозь знаю! А что, коньячку не выпьешь? Возьми-ка кофейку холодненького, да я тебе и прилью четверть рюмочки, хорошо это, брат, для вкуса.

— Нет, не надо, благодарю. Вот этот хлебец возьму с собой, коли дадите, — сказал Алеша и, взяв трехкопеечную французскую булку, положил ее в карман подрясника. — А коньяку и вам бы не пить, — опасливо посоветовал он, вглядываясь в лицо старика.

— Правда твоя, раздражает, а спокою не дает. А ведь только одну рюмочку… Я ведь из шкапика…

Он отворил ключом «шкапик», налил рюмочку, выпил, потом шкапик запер и ключ опять в карман положил.

— И довольно, с рюмки не околею.

— Вот вы теперь и добрее стали, — улыбнулся Алеша.

— Гм! Я тебя и без коньяку люблю, а с подлецами и я подлец. Ванька не едет в Чермашню — почему? Шпионить ему надо: много ль я Грушеньке дам, коли она придет. Все подлецы! Да я Ивана не признаю совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем душа. И точно я ему что оставлю? Да я и завещания-то не оставлю, было бы это вам

известно. А Митьку я раздавлю, как таракана. Я черных тараканов ночью туфлей давлю: так и щелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька твой. *Твой* Митька, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюсь, что ты его любишь. А кабы Иван его любил, я бы за себя боялся того, что он его любит. Но Иван никого не любит, Иван не наш человек, эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди, это пыль поднявшаяся… Подует ветер, и пыль пройдет… Вчера было глупость мне в голову пришла, когда я тебе на сегодня велел приходить: хотел было я через тебя узнать насчет Митьки-то, если б ему тысячку, ну другую, я бы теперь отсчитал, согласился ли бы он, нищий и мерзавец, отселева убраться совсем, лет на пять, а лучше на тридцать пять, да без Грушки и уже от нее совсем отказаться, а?

— Я… я спрошу его… — пробормотал Алеша. — Если все три тысячи, так, может быть, он…

— Врешь! Не надо теперь спрашивать, ничего не надо! Я передумал. Это вчера глупость в башку мне сглупу влезла. Ничего не дам, ничегошеньки, мне денежки мои нужны самому, — замахал рукою старик. — Я его и без того, как таракана, придавлю. Ничего не говори ему, а то еще будет надеяться. Да и тебе совсем нечего у меня делать,

ступай-ка. Невеста-то эта, Катерина-то Ивановна, которую он так тщательно от меня все время прятал, за него идет али нет? Ты вчера ходил к ней, кажется?

— Она его ни за что не хочет оставить.

— Вот таких-то эти нежные барышни и любят, кутил да подлецов! Дрянь, я тебе скажу, эти барышни бледные; то ли дело… Ну! кабы мне его молодость, да тогдашнее мое лицо (потому что я лучше его был собой в двадцать восемь-то лет), так я бы точно так же, как и он, побеждал. Каналья он! А Грушеньку все-таки не получит-с, не получит-с… В грязь обращу!

Он снова рассвирепел с последних слов.

— Ступай и ты, нечего тебе у меня делать сегодня, — резко отрезал он.

Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо.

— Ты чего это? — удивился немного старик. — Еще увидимся ведь. Аль думаешь, не увидимся?

— Совсем нет, я только так, нечаянно.

— Да ничего и я, и я только так… — глядел на него старик. — Слышь ты, слышь, — крикнул он ему вслед, — приходи когда-нибудь, поскорей, и на уху, уху сварю, особенную, не сегодняшнюю, непременно приходи! Да завтра, слышишь, зав-

тра приходи!

И только что Алеша вышел за дверь, подошел опять к шкапику и хлопнул еще полрюмочки.

— Больше не буду! — пробормотал он, крякнув, опять запер шкапик, опять положил ключ в карман, затем пошел в спальню, в бессилии прилег на постель и в один миг заснул.

III

Связался со школьниками

«Слава богу, что он меня про Грушеньку не спросил, — подумал в свою очередь Алеша, выходя от отца и направляясь в дом госпожи Хохлаковой, — а то бы пришлось, пожалуй, про вчерашнюю встречу с Грушенькой рассказать». Алеша больно почувствовал, что за ночь бойцы собрались с новыми силами, а сердце их с наступившим днем опять окаменело: «Отец раздражен и зол, он выдумал что-то и стал на том; а что Дмитрий? Тот тоже за ночь укрепился, тоже, надо быть, раздражен и зол, и тоже что-нибудь, конечно, надумал… О, непременно надо сегодня его успеть разыскать во что бы ни стало…»

Но Алеше не удалось долго думать: с ним вдруг случилось дорогой одно происшествие, на вид

хоть и не очень важное, но сильно его поразившее. Как только он прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную Большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой (весь город наш пронизан канавками), он увидел внизу пред мостиком маленькую кучку школьников, все малолетних деток, от девяти до двенадцати лет, не больше. Они расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожаными мешочками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные и в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, по-видимому совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток, в Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет десяти, одиннадцати ему очень нравились. А потому как ни озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные, оживленные личики и вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канав-

кой же, примерно шагах в тридцати от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет десяти, не больше, или даже меньше того, — бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу шести школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его:

— Когда я носил вот такой, как у вас, мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правою рукой тотчас достать; а у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать.

Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания, а между тем взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребенка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьезно и деловито и так, чтобы было совсем на равной ноге; Алеша понимал это инстинктом.

— Да он левша, — ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый и здоровый, лет одинна-

дцати. Все остальные пять мальчиков уперлись глазами в Алешу.

— Он и камни левшой бросает, — заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика-левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой.

— Лупи его, сажай в него, Смуров! — закричали все. Но Смуров (левша) и без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил: он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно: камень ударился в землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу, и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за тридцать шагов по отдувшимся карманам его пальтишка.

— Это он в вас, в вас, он нарочно в вас метил. Ведь вы Карамазов, Карамазов? — закричали хохоча мальчики. — Ну, все разом в него, пали!

И шесть камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и с остервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка, у многих в группе

тоже оказались в кармане заготовленные камни.

— Что вы это! Не стыдно ли, господа! Шестеро на одного, да вы убьете его! — закричал Алеша.

Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. Трое или четверо на минутку унялись.

— Он сам первый начал! — закричал мальчик в красной рубашке раздраженным детским голоском, — он подлец, он давеча в классе Красоткина перочинным ножиком пырнул, кровь потекла. Красоткин только фискалить не хотел, а этого надо избить…

— Да за что? Вы, верно, сами его дразните?

— А вот он опять вам камень в спину прислал. Он вас знает, — закричали дети. — Это он в вас теперь кидает, а не в нас. Ну все, опять в него, не промахивайся, Смуров!

И опять началась перестрелка, на этот раз очень злая. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь; он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору, на Михайловскую улицу. В группе загалдели: «Ага, струсил, бежал, мочалка!»

— Вы еще не знаете, Карамазов, какой он подлый, его убить мало, — повторил мальчик в курточке, с горящими глазенками, старше всех по-видимому.

— А какой он? — спросил Алеша. — Фискал, что ли?

Мальчики переглянулись как будто с усмешкой.

— Вы туда же идете, в Михайловскую? — продолжал тот же мальчик. — Так вот догоните-ка его… Вон видите, он остановился опять, ждет и на вас глядит.

— На вас глядит, на вас глядит! — подхватили мальчики.

— Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку, растрепанную. Слышите, так и спросите.

Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а они на него.

— Не ходите, он вас зашибет, — закричал предупредительно Смуров.

— Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, верно, его этим как-нибудь дразните, но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите…

— Узнайте-ка, узнайте-ка, — засмеялись мальчики.

Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному мальчику.

— Смотрите, — кричали ему вслед предупреди-

тельно, — он вас не побоится, он вдруг пырнет, исподтишка… как Красоткина.

Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел пред собою ребенка не более девяти лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким худеньким продолговатым личиком, с большими темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхий старенький пальтишко, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правом коленке панталон была большая заплатка, а на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашка его пальто были набраны камни. Алеша остановился пред ним в двух шагах, вопросительно смотря на него. Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу и сам даже заговорил.

— Я один, а их шесть… Я их всех перебью один, — сказал он вдруг, сверкнув глазами.

— Вас один камень, должно быть, очень больно ударил, — заметил Алеша.

— А я Смурову в голову попал! — вскрикнул мальчик.

— Они мне там сказали, что вы меня знаете

и за что-то в меня камнем бросили? — спросил Алеша.

Мальчик мрачно посмотрел на него.

— Я вас не знаю. Разве вы меня знаете? — допрашивал Алеша.

— Не приставайте! — вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам, однако ж, не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидая и опять злобно засверкав глазенками.

— Хорошо, я пойду, — сказал Алеша, — только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить, прощайте!

— Монах в гарнитуровых штанах! — крикнул мальчик, все тем же злобным и вызывающим взглядом следя за Алешей, да кстати и став в позу, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь, но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и трех шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане.

— Так вы сзади? Они правду, стало быть, говорят про вас, что вы нападаете исподтишка? — обернулся опять Алеша, но на этот раз мальчишка с остервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо, но Алеша успел заслониться

вовремя, и камень ударил его в локоть.

— Как вам не стыдно! Что я вам сделал? — вскричал он.

Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится; видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как зверенок: он сорвался с места и кинулся сам на Алешу, и не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и секунд десять не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его наконец и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен, у самого ногтя, глубоко, до кости; полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал. Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор.

— Ну хорошо, — сказал он, — видите, как вы меня больно укусили, ну и довольно ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?

Мальчик посмотрел с удивлением.

— Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз

вижу, — все так же спокойно продолжал Алеша, — но не может быть, чтоб я вам ничего не сделал, — не стали бы вы меня так мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват пред вами, скажите?

Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал, в голос, и вдруг побежал от Алеши. Алеша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу, и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умаляя шагу, не оглядываясь и, верно, все так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время, разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку. Теперь же ему было некогда.

IV

У Хохлаковых

Скоро подошел он к дому госпожи Хохлаковой, к дому каменному, собственному, двухэтажному, красивому, из лучших домов в нашем городке. Хотя госпожа Хохлакова проживала большею частию в другой губернии, где имела поместье, или в Москве, где имела собственный дом, но и в нашем городке у нее был свой дом, доставшийся от отцов и дедов. Да и поместье ее, которое

имела она в нашем уезде, было самое большое из всех трех ее поместий, а между тем приезжала она доселе в нашу губернию весьма редко. Она выбежала к Алеше еще в прихожую.

— Получили, получили письмо о новом чуде? — быстро, нервно заговорила она.

— Да, получил.

— Распространили, показали всем? Он матери сына возвратил!

— Он сегодня умрет, — сказал Алеша.

— Слышала, знаю, о, как я желаю с вами говорить! С вами или с кем-нибудь обо всем этом. Нет, с вами, с вами! И как жаль, что мне никак нельзя его видеть! Весь город возбужден, все в ожидании. Но теперь… знаете ли, что у нас теперь сидит Катерина Ивановна?

— Ах, это счастливо! — воскликнул Алеша. — Вот я с ней и увижусь у вас, она вчера велела мне непременно прийти к ней сегодня.

— Я все знаю, все знаю. Я слышала все до подробности о том, что было у ней вчера… и обо всех этих ужасах с этою… тварью. C'est tragique[14], и я бы на ее месте, — я не знаю, что б я сделала на ее месте! Но и брат-то ваш, Дмитрий-то Федо-

---

[14] Сноски: 14
Это потрясающе (*фр.*).

рович ваш, каков — о боже! Алексей Федорович, я сбиваюсь, представьте: там теперь сидит ваш брат, то есть не тот, не ужасный вчерашний, а другой, Иван Федорович, сидит и с ней говорит: разговор у них торжественный… И если бы вы только поверили, что между ними теперь происходит, — то это ужасно, это, я вам скажу, надрыв, это ужасная сказка, которой поверить ни за что нельзя: оба губят себя неизвестно для чего, сами знают про это и сами наслаждаются этим. Я вас ждала! Я вас жаждала! Я, главное, этого вынести не могу. Я сейчас вам все расскажу, но теперь другое и уже самое главное, — ах, ведь я даже и забыла, что это самое главное: скажите, почему с Lise истерика? Только что она услыхала, что вы подходите, и с ней тотчас же началась истерика!

— Maman, это с вами теперь истерика, а не со мной, — прощебетал вдруг в щелочку голосок Lise из боковой комнаты. Щелочка была самая маленькая, а голосок надрывчатый, точь-в-точь такой, когда ужасно хочется засмеяться, но изо всех сил перемогаешь смех. Алеша тотчас же заметил эту щелочку, и, наверно, Lise со своих кресел на него из нее выглядывала, но этого уж он разглядеть не мог.

— Не мудрено, Lise, не мудрено… от твоих же

капризов и со мной истерика будет, а впрочем, она так больна, Алексей Федорович, она всю ночь была так больна, в жару, стонала! Я насилу дождалась утра и Герценштубе. Он говорит, что ничего не может понять и что надо обождать. Этот Герценштубе всегда придет и говорит, что ничего не может понять. Как только вы подошли к дому, она вскрикнула и с ней случился припадок, и приказала себя сюда в свою прежнюю комнату перевезть…

— Мама, я совсем не знала, что он подходит, я вовсе не от него в эту комнату захотела переехать.

— Это уж неправда, Lise, тебе Юлия прибежала сказать, что Алексей Федорович идет, она у тебя на сторожах стояла.

— Милый голубчик мама, это ужасно неостроумно с вашей стороны. А если хотите поправиться и сказать сейчас что-нибудь очень умное, то скажите, милая мама, милостивому государю вошедшему Алексею Федоровичу, что он уже тем одним доказал, что не обладает остроумием, что решился прийти к нам сегодня после вчерашнего и несмотря на то, что над ним все смеются.

— Lise, ты слишком много себе позволяешь, и уверяю тебя, что я наконец прибегну к мерам

строгости. Кто ж над ним смеется, я так рада, что он пришел, он мне нужен, совсем необходим. Ох, Алексей Федорович, я чрезвычайно несчастна!

— Да что ж такое с вами, мама-голубчик?

— Ах, эти твои капризы, Lise, непостоянство, твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару, этот ужасный и вечный Герценштубе, главное вечный, вечный и вечный! И, наконец, всё, всё… И, наконец, даже это чудо! О, как поразило, как потрясло меня это чудо, милый Алексей Федорович! И там эта трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести, не могу, я вам заранее объявляю, что не могу. Комедия, может быть, а не трагедия. Скажите, старец Зосима еще проживет до завтра, проживет? О боже мой! Что со мной делается, я поминутно закрываю глаза и вижу, что все вздор, все вздор.

— Я бы очень вас попросил, — перебил вдруг Алеша, — дать мне какую-нибудь чистую тряпочку, чтобы завязать палец. Я очень поранил его, и он у меня мучительно теперь болит.

Алеша развернул свой укушенный палец. Платок был густо замаран кровью. Госпожа Хохлакова вскрикнула и зажмурила глаза.

— Боже, какая рана, это ужасно!

Но Lise как только увидела в щелку палец Але-

ши, тотчас со всего размаха отворила дверь.

— Войдите, войдите ко мне сюда, — настойчиво и повелительно закричала она, — теперь уж без глупостей! О господи, что ж вы стояли и молчали такое время? Он мог истечь кровью, мама! Где это вы, как это вы? Прежде всего воды, воды! Надо рану промыть, просто опустить в холодную воду, чтобы боль перестала, и держать, все держать… Скорей, скорей воды, мама, в полоскательную чашку. Да скорее же, — нервно закончила она. Она была в совершенном испуге; рана Алеши страшно поразила ее.

— Не послать ли за Герценштубе? — воскликнула было госпожа Хохлакова.

— Мама, вы меня убьете. Ваш Герценштубе приедет и скажет, что не может понять! Воды, воды! Мама, ради бога, сходите сами, поторопите Юлию, которая где-то там завязла и никогда не может скоро прийти! Да скорее же, мама, иначе я умру…

— Да это ж пустяки! — воскликнул Алеша, испугавшись их испуга.

Юлия прибежала с водой. Алеша опустил в воду палец.

— Мама, ради бога, принесите корпию; корпию и этой едкой мутной воды для порезов, ну как ее

зовут! У нас есть, есть, есть… Мама, вы сами знаете, где стклянка, в спальне вашей в шкапике направо, там большая стклянка и корпия…

— Сейчас принесу все, Lise, только не кричи и не беспокойся. Видишь, как твердо Алексей Федорович переносит свое несчастие. И где это вы так ужасно могли поранить себя, Алексей Федорович?

Госпожа Хохлакова поспешно вышла. Lise того только и ждала.

— Прежде всего отвечайте на вопрос, — быстро заговорила она Алеше, — где это вы так себя изволили поранить? А потом уж я с вами буду говорить совсем о другом. Ну!

Алеша, инстинктом чувствуя, что для нее время до возвращения мамаши дорого, — поспешно, много выпустив и сократив, но, однако, точно и ясно, передал ей о загадочной встрече своей со школьниками. Выслушав его, Lise всплеснула руками:

— Ну можно ли, можно ли вам, да еще в этом платье, связываться с мальчишками! — гневно вскричала она, как будто даже имея какое-то право над ним, — да вы сами после того мальчик, самый маленький мальчик, какой только может быть! Однако вы непременно разузнайте мне как-

нибудь про этого скверного мальчишку и мне все расскажите, потому что тут какой-то секрет. Теперь второе, но прежде вопрос: можете ли вы, Алексей Федорович, несмотря на страдание от боли, говорить о совершенных пустяках, но говорить рассудительно?

— Совершенно могу, да и боли я такой уже теперь не чувствую.

— Это оттого, что ваш палец в воде. Ее нужно сейчас же переменить, потому что она мигом нагреется. Юлия, мигом принеси кусок льду из погреба и новую полоскательную чашку с водой. Ну, теперь она ушла, я о деле: мигом, милый Алексей Федорович, извольте отдать мне мое письмо, которое я вам прислала вчера, — мигом, потому что сейчас может прийти маменька, а я не хочу…

— Со мной нет письма.

— Неправда, оно с вами. Я так и знала, что вы так ответите. Оно у вас в этом кармане. Я так раскаивалась в этой глупой шутке всю ночь. Воротите же письмо сейчас, отдайте!

— Оно там осталось.

— Но вы не можете же меня считать за девочку, за маленькую-маленькую девочку, после моего письма с такою глупою шуткой! Я прошу

у вас прощения за глупую шутку, но письмо вы непременно мне принесите, если уж его нет у вас в самом деле, — сегодня же принесите, непременно, непременно!

— Сегодня никак нельзя, потому что я уйду в монастырь и не приду к вам дня два, три, четыре может быть, потому что старец Зосима…

— Четыре дня, экой вздор! Послушайте, вы очень надо мной смеялись?

— Я ни капли не смеялся.

— Почему же?

— Потому что я совершенно всему поверил.

— Вы меня оскорбляете!

— Нисколько. Я как прочел, то тотчас и подумал, что этак все и будет, потому что я, как только умрет старец Зосима, сейчас должен буду выйти из монастыря. Затем я буду продолжать курс и сдам экзамен, а как придет законный срок, мы и женимся. Я вас буду любить. Хоть мне и некогда было еще думать, но я подумал, что лучше вас жены не найду, а мне старец велит жениться…

— Да ведь я урод, меня на креслах возят! — засмеялась Лиза с зардевшимся на щеках румянцем.

— Я вас сам буду в кресле возить, но я уверен, что вы к тому сроку выздоровеете.

— Но вы сумасшедший, — нервно проговорила Лиза, — из такой шутки и вдруг вывели такой вздор!.. Ах, вот и мамаша, может быть, очень кстати. Мама, как вы всегда запоздаете, можно ли так долго! Вот уж Юлия и лед несет!

— Ах, Lise, не кричи, главное — ты не кричи. У меня от этого крику… Что ж делать, коли ты сама корпию в другое место засунула… Я искала, искала… Я подозреваю, что ты это нарочно сделала.

— Да ведь не могла же я знать, что он придет с укушенным пальцем, а то, может быть, вправду нарочно бы сделала. Ангел мама, вы начинаете говорить чрезвычайно остроумные вещи.

— Пусть остроумные, но какие чувства, Lise, насчет пальца Алексея Федоровича и всего этого! Ох, милый Алексей Федорович, меня убивают не частности, не Герценштубе какой-нибудь, а всё вместе, всё в целом, вот чего я не могу вынести.

— Довольно, мама, довольно о Герценштубе, — весело смеялась Лиза, — давайте же скорей корпию, мама, и воду. Это просто свинцовая примочка, Алексей Федорович, я теперь вспомнила имя, но это прекрасная примочка. Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой по-

дрался на улице, и это мальчишка ему укусил, ну не маленький ли, не маленький ли он сам человек, и можно ли ему, мама, после этого жениться, потому что он, вообразите себе, он хочет жениться, мама. Представьте себе, что он женат, ну не смех ли, не ужасно ли это?

И Lise все смеялась своим нервным мелким смешком, лукаво смотря на Алешу.

— Ну как же жениться, Lise, и с какой стати это, и совсем это тебе некстати… тогда как этот мальчик может быть бешеный.

— Ах, мама! Разве бывают бешеные мальчики?

— Почему ж не бывают, Lise, точно я глупость сказала. Вашего мальчика укусила бешеная собака, и он стал бешеный мальчик и вот кого-нибудь и укусит около себя в свою очередь. Как она вам хорошо перевязала, Алексей Федорович, я бы никогда так не сумела. Чувствуете вы теперь боль?

— Теперь очень небольшую.

— А не боитесь ли вы воды? — спросила Lise.

— Ну, довольно, Lise, я, может быть, в самом деле очень поспешно сказала про бешеного мальчика, а ты уж сейчас и вывела. Катерина Ивановна только что узнала, что вы пришли, Алексей Федорович, так и бросилась ко мне, она вас жаждет, жаждет.

— Ах, мама! Подите одна туда, а он не может пойти сейчас, он слишком страдает.

— Совсем не страдаю, я очень могу пойти… — сказал Алеша.

— Как! Вы уходите? Так-то вы? Так-то вы?

— Что ж? Ведь я когда кончу там, то опять приду, и мы опять можем говорить сколько вам будет угодно. А мне очень хотелось бы видеть поскорее Катерину Ивановну, потому что я во всяком случае очень хочу как можно скорей воротиться сегодня в монастырь.

— Мама, возьмите его и скорее уведите. Алексей Федорович, не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога! А я спать хочу, я всю ночь не спала.

— Ах, Lise, это только шутки с твоей стороны, но что, если бы ты в самом деле заснула! — воскликнула госпожа Хохлакова.

— Я не знаю, чем я… Я останусь еще минуты три, если хотите, даже пять, — пробормотал Алеша.

— Даже пять! Да уведите же его скорее, мама, это монстр!

— Lise, ты с ума сошла. Уйдемте, Алексей Федорович, она слишком капризна сегодня, я ее

раздражать боюсь. О, горе с нервною женщиной, Алексей Федорович! А ведь в самом деле она, может быть, при вас спать захотела. Как это вы так скоро нагнали на нее сон, и как это счастливо!

— Ах, мама, как вы мило стали говорить, целую вас, мамочка, за это.

— И я тебя тоже, Lise. Послушайте, Алексей Федорович, — таинственно и важно быстрым шепотом заговорила госпожа Хохлакова, уходя с Алешей, — я вам ничего не хочу внушать, ни подымать этой завесы, но вы войдите и сами увидите все, что там происходит, это ужас, это самая фантастическая комедия: она любит вашего брата Ивана Федоровича и уверяет себя изо всех сил, что любит вашего брата Дмитрия Федоровича. Это ужасно! Я войду вместе с вами и, если не прогонят меня, дождусь конца.

V

Надрыв в гостиной

Но в гостиной беседа уже оканчивалась; Катерина Ивановна была в большом возбуждении, хотя и имела вид решительный. В минуту, когда вошли Алеша и госпожа Хохлакова, Иван Федорович вставал, чтоб уходить. Лицо его бы-

ло несколько бледно, и Алеша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алеши разрешалось теперь одно из его сомнений, одна беспокойная загадка, с некоторого времени его мучившая. Еще с месяц назад ему уже несколько раз и с разных сторон внушали, что брат Иван любит Катерину Ивановну и, главное, действительно намерен «отбить» ее у Мити. До самого последнего времени это казалось Алеше чудовищным, хотя и беспокоило его очень. Он любил обоих братьев и страшился между ними такого соперничества. Между тем сам Дмитрий Федорович вдруг прямо объявил ему вчера, что даже рад соперничеству брата Ивана и что это ему же, Дмитрию, во многом поможет. Чему же поможет? Жениться ему на Грушеньке? Но дело это считал Алеша отчаянным и последним. Кроме всего этого, Алеша несомненно верил до самого вчерашнего вечера, что Катерина Ивановна сама до страсти и упорно любит брата его Дмитрия, — но лишь до вчерашнего вечера верил. Сверх того, ему почему-то все мерещилось, что она не может любить такого, как Иван, а любит его брата Дмитрия, и именно таким, каким он есть, несмотря на всю чудовищность такой любви. Вчера же в сцене с Грушенькой ему вдруг как бы

померещилось иное. Слово «надрыв», только что произнесенное госпожой Хохлаковой, заставило его почти вздрогнуть, потому что именно в эту ночь, полупроснувшись на рассвете, он вдруг, вероятно отвечая своему сновидению, произнес: «Надрыв, надрыв!» Снилась же ему всю ночь вчерашняя сцена у Катерины Ивановны. Теперь вдруг прямое и упорное уверение госпожи Хохлаковой, что Катерина Ивановна любит брата Ивана и только сама, нарочно, из какой-то игры, из «надрыва», обманывает себя и сама себя мучит напускною любовью своею к Дмитрию из какой-то будто бы благодарности, — поразило Алешу: «Да, может быть, и в самом деле полная правда именно в этих словах!» Но в таком случае каково же положение брата Ивана? Алеша чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру, как Катерина Ивановна, надо было властвовать, а властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь не над таким, как Иван. Ибо Дмитрий только (положим, хоть в долгий срок) мог бы смириться наконец пред нею, «к своему же счастию» (чего даже желал бы Алеша), но Иван нет, Иван не мог бы пред нею смириться, да и смирение это не дало бы ему счастия. Такое уж понятие Алеша почему-то невольно

составил себе об Иване. И вот все эти колебания и соображения пролетели и мелькнули в его уме в тот миг, когда он вступал теперь в гостиную. Промелькнула и еще одна мысль — вдруг и неудержимо: «А что, если она и никого не любит, ни того, ни другого?» Замечу, что Алеша как бы стыдился таких своих мыслей и упрекал себя в них, когда они в последний месяц, случалось, приходили ему. «Ну что я понимаю в любви и в женщинах и как могу я заключать такие решения», — с упреком себе думал он после каждой подобной своей мысли или догадки. А между тем нельзя было не думать. Он понимал инстинктом, что теперь, например, в судьбе двух братьев его это соперничество слишком важный вопрос и от которого слишком много зависит. «Один гад съест другую гадину», — произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть, брат Дмитрий в глазах его гад и, может быть, давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти, конечно, вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. Если так, то какой же тут мир? Не новые ли, напротив, поводы к ненависти и вражде в их семействе? А главное, кого ему, Алеше, жалеть? И что каждому поже-

лать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же принимался и помогать. А для этого надо было поставить цель, надо твердо было знать, что каждому из них хорошо и нужно, а утвердившись в верности цели, естественно, каждому из них и помочь. Но вместо твердой цели во всем была лишь неясность и путаница. «Надрыв» произнесено теперь! Но что он мог понять хотя бы даже в этом надрыве? Первого даже слова во всей этой путанице он не понимает!

Увидав Алешу, Катерина Ивановна быстро и с радостью проговорила Ивану Федоровичу, уже вставшему со своего места, чтоб уходить:

— На минутку! Останьтесь еще на одну минуту. Я хочу услышать мнение вот этого человека, которому я всем существом своим доверяю. Катерина Осиповна, не уходите и вы, — прибавила она, обращаясь к госпоже Хохлаковой. Она усадила Алешу подле себя, а Хохлакова села напротив, рядом с Иваном Федоровичем.

— Здесь все друзья мои, все, кого я имею в мире,

милые друзья мои, — горячо начала она голосом, в котором дрожали искренние страдальческие слезы, и сердце Алеши опять разом повернулось к ней. — Вы, Алексей Федорович, вы были вчера свидетелем этого… ужаса и видели, какова я была. Вы не видали этого, Иван Федорович, он видел. Что он подумал обо мне вчера — не знаю, знаю только одно, что, повторись то же самое сегодня, сейчас, и я высказала бы такие же чувства, какие вчера, — такие же чувства, такие же слова и такие же движения. Вы помните мои движения, Алексей Федорович, вы сами удержали меня в одном из них… (Говоря это, она покраснела, и глаза ее засверкали.) Объявляю вам, Алексей Федорович, что я не могу ни с чем примириться. Слушайте, Алексей Федорович, я даже не знаю, люблю ли я *его* теперь. Он мне стал *жалок*, это плохое свидетельство любви. Если б я любила его, продолжала любить, то я, может быть, не жалела бы его теперь, а, напротив, ненавидела…

Голос ее задрожал, и слезинки блеснули на ее ресницах. Алеша вздрогнул внутри себя: «Эта девушка правдива и искренна, — подумал он, — и… и она более не любит Дмитрия!»

— Это так! Так! — воскликнула было госпожа Хохлакова.

— Подождите, милая Катерина Осиповна, я не сказала главного, не сказала окончательного, что решила в эту ночь. Я чувствую, что, может быть, решение мое ужасно — для меня, но предчувствую, что я уже не переменю его ни за что, ни за что, во всю жизнь мою, так и будет. Мой милый, мой добрый, мой всегдашний и великодушный советник и глубокий сердцеведец и единственный друг мой, какого я только имею в мире, Иван Федорович, одобряет меня во всем и хвалит мое решение… Он его знает.

— Да, я одобряю его, — тихим, но твердым голосом произнес Иван Федорович.

— Но я желаю, чтоб и Алеша (ах, Алексей Федорович, простите, что я вас назвала Алешей просто), я желаю, чтоб и Алексей Федорович сказал мне теперь же при обоих друзьях моих — права я или нет? У меня инстинктивное предчувствие, что вы, Алеша, брат мой милый (потому что вы брат мой милый), — восторженно проговорила она опять, схватив его холодную руку своею горячею рукой, — я предчувствую, что ваше решение, ваше одобрение, несмотря на все муки мои, подаст мне спокойствие, потому что после ваших слов я затихну и примирюсь — я это предчувствую!

— Я не знаю, о чем вы спросите меня, — выговорил с зардевшимся лицом Алеша, — я только знаю, что я вас люблю и желаю вам в эту минуту счастья больше, чем себе самому!.. Но ведь я ничего не знаю в этих делах… — вдруг зачем-то поспешил он прибавить.

— В этих делах, Алексей Федорович, в этих делах теперь главное — честь и долг, и не знаю, что еще, но нечто высшее, даже, может быть, высшее самого долга. Мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство, и оно непреодолимо влечет меня. Все, впрочем, в двух словах, я уже решилась: если даже он и женится на той… твари, — начала она торжественно, — которой я никогда, никогда простить не могу, то *я все-таки не оставлю его*! От этих пор я уже никогда, никогда не оставлю его! — произнесла она с каким-то надрывом какого-то бледного вымученного восторга. — То есть не то чтоб я таскалась за ним, попадалась ему поминутно на глаза, мучила его — о нет, я уеду в другой город, куда хотите, но я всю жизнь, всю жизнь мою буду следить за ним не уставая. Когда же он станет с тою несчастен, а это непременно и сейчас же будет, то пусть придет ко мне, и он встретит друга, сестру… Только сестру, конечно, и это навеки так, но он

убедится, наконец, что эта сестра действительно сестра его, любящая и всю жизнь ему пожертвовавшая. Я добьюсь того, я настою на том, что наконец он узнает меня и будет передавать мне все, не стыдясь! — воскликнула она как бы в исступлении. — Я буду богом его, которому он будет молиться, — и это по меньшей мере он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла чрез него вчера. И пусть же он видит во всю жизнь свою, что я всю жизнь мою буду верна ему и моему данному ему раз слову, несмотря на то, что он был неверен и изменил. Я буду… Я обращусь лишь в средство для его счастия (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастия, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот все мое решение! Иван Федорович в высшей степени одобряет меня.

Она задыхалась. Она, может быть, гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться, это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало

нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это, и в сердце его шевельнулось сострадание. А тут как раз подбавил и брат Иван.

— Я высказал только мою мысль, — сказал он. — У всякой другой вышло бы все это надломленно, вымученно, а у вас — нет. Другая была бы неправа, а вы правы. Я не знаю, как это мотивировать, но я вижу, что вы искренни в высшей степени, а потому вы и правы…

— Но ведь это только в эту минуту… А что такое эта минута? Всего лишь вчерашнее оскорбление — вот что значит эта минута! — не выдержала вдруг госпожа Хохлакова, очевидно не желавшая вмешиваться, но не удержавшаяся и вдруг сказавшая очень верную мысль.

— Так, так, — перебил Иван, с каким-то вдруг азартом и видимо озлясь, что его перебили, — так, но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта минута — протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание, то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга! Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных

чувств, собственного подвига и собственного горя, но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно в своем роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным…

Проговорил он это решительно с какой-то злобой, видимо нарочно, и даже, может быть, не желая скрыть своего намерения, то есть что говорит нарочно и в насмешку.

— О боже, как это все не так! — воскликнула опять госпожа Хохлакова.

— Алексей Федорович, скажите же вы! Мне мучительно надо знать, что вы мне скажете! — воскликнула Катерина Ивановна и вдруг залилась слезами. Алеша встал с дивана.

— Это ничего, ничего! — с плачем продолжала она, — это от расстройства, от сегодняшней ночи, но подле таких двух друзей, как вы и брат ваш, я еще чувствую себя крепкою… потому что знаю… вы оба меня никогда не оставите…

— К несчастью, я завтра же, может быть, должен уехать в Москву и надолго оставить вас…

И это, к несчастию, неизменимо… — проговорил вдруг Иван Федорович.

— Завтра, в Москву! — перекосилось вдруг все лицо Катерины Ивановны, — но… но боже мой, как это счастливо! — вскричала она в один миг совсем изменившимся голосом и в один миг прогнав свои слезы, так что и следа не осталось. Именно в один миг произошла в ней удивительная перемена, чрезвычайно изумившая Алешу: вместо плакавшей сейчас в каком-то надрыве своего чувства бедной оскорбленной девушки явилась вдруг женщина, совершенно владеющая собой и даже чем-то чрезвычайно довольная, точно вдруг чему-то обрадовавшаяся.

— О, не то счастливо, что я вас покидаю, уж разумеется нет, — как бы поправилась она вдруг с милою светскою улыбкой, — такой друг, как вы, не может этого подумать; я слишком, напротив, несчастна, что вас лишусь (она вдруг стремительно бросилась к Ивану Федоровичу и, схватив его за обе руки, с горячим чувством пожала их); но вот что счастливо, это то, что вы сами, лично, в состоянии будете передать теперь в Москве, тетушке и Агаше, все мое положение, весь теперешний ужас мой, в полной откровенности с Агашей и щадя милую тетушку, так, как сами

сумеете это сделать. Вы не можете себе представить, как я была вчера и сегодня утром несчастна, недоумевая, как я напишу им это ужасное письмо… потому что в письме этого никак, ни за что не передашь… Теперь же мне легко будет написать, потому что вы там у них будете налицо и все объясните. О, как я рада! Но я только этому рада, опять-таки поверьте мне. Сами вы мне, конечно, незаменимы… Сейчас же бегу напишу письмо, — заключила она вдруг и даже шагнула уже, чтобы выйти из комнаты.

— А Алеша-то? А мнение-то Алексея Федоровича, которое вам так непременно желалось выслушать? — вскричала госпожа Хохлакова. Язвительная и гневливая нотка прозвучала в ее словах.

— Я не забыла этого, — приостановилась вдруг Катерина Ивановна, — и почему вы так враждебны ко мне в такую минуту, Катерина Осиповна? — с горьким, горячим упреком произнесла она. — Что я сказала, то я и подтверждаю. Мне необходимо мнение его, мало того: мне надо решение его! Что он скажет, так и будет — вот до какой степени, напротив, я жажду ваших слов, Алексей Федорович… Но что с вами?

— Я никогда не думал, я не могу этого предста-

вить! — воскликнул вдруг Алеша горестно.

— Чего, чего?

— Он едет в Москву, а вы вскрикнули, что рады, — это вы нарочно вскрикнули! А потом тотчас стали объяснять, что вы не тому рады, а что, напротив, жалеете, что… теряете друга, но и это вы нарочно сыграли… как на театре в комедии сыграли!..

— На театре? Как?.. Что это такое? — воскликнула Катерина Ивановна в глубоком изумлении, вся вспыхнув и нахмурив брови.

— Да как ни уверяйте его, что вам жалко в нем друга, а все-таки вы настаиваете ему в глаза, что счастье в том, что он уезжает… — проговорил как-то совсем уже задыхаясь Алеша. Он стоял за столом и не садился.

— О чем вы, я не понимаю…

— Да я и сам не знаю… У меня вдруг как будто озарение… Я знаю, что я нехорошо это говорю, но я все-таки все скажу, — продолжал Алеша тем же дрожащим и пересекающимся голосом. — Озарение мое в том, что вы брата Дмитрия, может быть, совсем не любите… с самого начала… Да и Дмитрий, может быть, не любит вас тоже вовсе… с самого начала… а только чтит… Я, право, не знаю, как я все это теперь смею, но надо же

кому-нибудь правду сказать… потому что никто здесь правды не хочет сказать…

— Какой правды? — вскричала Катерина Ивановна, и что-то истерическое зазвенело в ее голосе.

— А вот какой, — пролепетал Алеша, как будто полетев с крыши, — позовите сейчас Дмитрия — я его найду, — и пусть он придет сюда и возьмет вас за руку, потом возьмет за руку брата Ивана и соединит ваши руки. Потому что вы мучаете Ивана, потому только, что его любите… а мучите потому, что Дмитрия надрывом любите… вне-правду любите… потому что уверили себя так…

Алеша оборвался и замолчал.

— Вы… вы… вы маленький юродивый, вот вы кто! — с побледневшим уже лицом и скривившимися от злобы губами отрезала вдруг Катерина Ивановна. Иван Федорович вдруг засмеялся и встал с места. Шляпа была в руках его.

— Ты ошибся, мой добрый Алеша, — проговорил он с выражением лица, которого никогда еще Алеша у него не видел, — с выражением какой-то молодой искренности и сильного неудержимо откровенного чувства, — никогда Катерина Ивановна не любила меня! Она знала все время, что я ее люблю, хоть я и никогда

не говорил ей ни слова о моей любви, — знала, но меня не любила. Другом тоже я ее не был ни разу, ни одного дня: гордая женщина в моей дружбе не нуждалась. Она держала меня при себе для беспрерывного мщения. Она мстила мне и на мне за все оскорбления, которые постоянно и всякую минуту выносила во весь этот срок от Дмитрия, оскорбления с первой встречи их… Потому что и самая первая встреча их осталась у ней на сердце как оскорбление. Вот каково ее сердце! Я все время только и делал, что выслушивал о любви ее к нему. Я теперь еду, но знайте, Катерина Ивановна, что вы действительно любите только его. И по мере оскорблений его все больше и больше. Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но все это от гордости… Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас

оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки… Я не хочу сидеть подле надрыва… Впрочем, я уже не умею говорить, все сказал… Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить. Потом прощу, а теперь не надо руки.

Den Dank, Dame, begehr ich nicht[15], –

прибавил он с искривленною улыбкой, доказав, впрочем, совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша. Он вышел из комнаты, даже не простившись и с хозяйкой, госпожой Хохлаковой. Алеша всплеснул руками.

— Иван, — крикнул он ему, как потерянный, вслед, — воротись, Иван! Нет, нет, он теперь ни за что не воротится! — воскликнул он опять в горестном озарении, — но это я, я виноват, я начал! Иван говорил злобно, нехорошо. Несправедливо и злобно… — Алеша восклицал как полоумный.

---

[15] Сноски: 15
Награда не нужна мне, госпожа (*нем.*).

Катерина Ивановна вдруг вышла в другую комнату.

— Вы ничего не наделали, вы действовали прелестно, как ангел, — быстро и восторженно зашептала горестному Алеше госпожа Хохлакова. — Я употреблю все усилия, чтоб Иван Федорович не уехал…

Радость сияла на ее лице, к величайшему огорчению Алеши; но Катерина Ивановна вдруг вернулась. В руках ее были два радужные кредитные билета.

— Я имею к вам одну большую просьбу, Алексей Федорович, — начала она, прямо обращаясь к Алеше по-видимому спокойным и ровным голосом, точно и в самом деле ничего сейчас не случилось. — Неделю — да, кажется, неделю назад — Дмитрий Федорович сделал один горячий и несправедливый поступок, очень безобразный. Тут есть одно нехорошее место, один трактир. В нем он встретил этого отставного офицера, штабс-капитана этого, которого ваш батюшка употреблял по каким-то своим делам. Рассердившись почему-то на этого штабс-капитана, Дмитрий Федорович схватил его за бороду и при всех вывел в этом унизительном виде на улицу и на улице еще долго вел, и говорят,

что мальчик, сын этого штабс-капитана, который учится в здешнем училище, еще ребенок, увидав это, бежал все подле и плакал вслух и просил за отца и бросался ко всем и просил, чтобы защитили, а все смеялись. Простите, Алексей Федорович, я не могу вспомнить без негодования этого позорного *его* поступка… одного из таких поступков, на которые может решиться только один Дмитрий Федорович в своем гневе… и в страстях своих! Я и рассказать этого не могу, не в состоянии… Я сбиваюсь в словах. Я справлялась об этом обиженном и узнала, что он очень бедный человек. Фамилия его Снегирев. Он за что-то провинился на службе, его выключили, я не умею вам это рассказать, и теперь он с своим семейством, с несчастным семейством больных детей и жены, сумасшедшей кажется, впал в страшную нищету. Он уже давно здесь в городе, он что-то делает, писарем где-то был, а ему вдруг теперь ничего не платят. Я бросила взгляд на вас… то есть я думала — я не знаю, я как-то путаюсь, — видите, я хотела вас просить, Алексей Федорович, добрейший мой Алексей Федорович, сходить к нему, отыскать предлог, войти к ним, то есть к этому штабс-капитану, — о боже! как я сбиваюсь — и деликатно, осторожно — именно как только

вы один сумеете сделать (Алеша вдруг покраснел) — суметь отдать ему это вспоможение, вот, двести рублей. Он, наверно, примет… то есть уговорить его принять… Или нет, как это? Видите ли, это не то что плата ему за примирение, чтоб он не жаловался (потому что он, кажется, хотел жаловаться), а просто сочувствие, желание помочь, от меня, от меня, от невесты Дмитрия Федоровича, а не от него самого… Одним словом, вы сумеете… Я бы сама поехала, но вы сумеете гораздо лучше меня. Он живет в Озерной улице, в доме мещанки Калмыковой… Ради бога, Алексей Федорович, сделайте мне это, а теперь… теперь я несколько… устала. До свиданья…

Она вдруг так быстро повернулась и скрылась опять за портьеру, что Алеша не успел и слова сказать, — а ему хотелось сказать. Ему хотелось просить прощения, обвинить себя, — ну что-нибудь сказать, потому что сердце его было полно, и выйти из комнаты он решительно не хотел без этого. Но госпожа Хохлакова схватила его за руку и вывела сама. В прихожей она опять остановила его, как и давеча.

— Гордая, себя борет, но добрая, прелестная, великодушная! — полушепотом восклицала госпожа Хохлакова. — О, как я ее люблю, особенно

иногда, и как я всему, всему теперь вновь опять рада! Милый Алексей Федорович, вы ведь не знали этого: знайте же, что мы все, все — я, обе ее тетки — ну все, даже Lise, вот уже целый месяц как мы только того и желаем и молим, чтоб она разошлась с вашим любимцем Дмитрием Федоровичем, который ее знать не хочет и нисколько не любит, и вышла бы за Ивана Федоровича, образованного и превосходного молодого человека, который ее любит больше всего на свете. Мы ведь целый заговор тут составили, и я даже, может быть, не уезжаю лишь из-за этого…

— Но ведь она же плакала, опять оскорбленная! — вскричал Алеша.

— Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, — я всегда против женщин в этом случае, я за мужчин.

— Мама, вы его портите и губите, — послышался тоненький голосок Lise из-за двери.

— Нет, это я всему причиной, я ужасно виноват! — повторял неутешный Алеша в порыве мучительного стыда за свою выходку и даже закрывая руками лицо от стыда.

— Напротив, вы поступили как ангел, как ангел, я это тысячи тысяч раз повторить готова.

— Мама, почему он поступил как ангел, — по-

слышался опять голосок Lise.

— Мне вдруг почему-то вообразилось, на все это глядя, — продолжал Алеша, как бы и не слыхав Лизы, — что она любит Ивана, вот я и сказал эту глупость… и что теперь будет!

— Да с кем, с кем? — воскликнула Lise, — мама, вы, верно, хотите умертвить меня. Я вас спрашиваю — вы мне не отвечаете.

В эту минуту вбежала горничная.

— С Катериной Ивановной худо… Они плачут… истерика, бьются.

— Что такое, — закричала Lise, уже тревожным голосом. — Мама, это со мной будет истерика, а не с ней!

— Lise, ради бога, не кричи, не убивай меня. Ты еще в таких летах, что тебе нельзя всего знать, что большие знают, прибегу — все расскажу, что можно тебе сообщить. О боже мой! Я бегу, бегу… Истерика — это добрый знак, Алексей Федорович, это превосходно, что с ней истерика. Это именно так и надо. Я в этом случае всегда против женщин, против всех этих истерик и женских слез. Юлия, беги и скажи, что я лечу. А что Иван Федорович так вышел, так она сама виновата. Но он не уедет. Lise, ради бога, не кричи! Ах да, ты не кричишь, это я кричу, прости свою мамашу,

но я в восторге, в восторге, в восторге! А заметили вы, Алексей Федорович, каким молодым человеком Иван Федорович давеча вышел, сказал это все и вышел! Я думала, он такой ученый, академик, а он вдруг так горячо-горячо, откровенно и молодо, неопытно и молодо, и так это все прекрасно, прекрасно, точно вы… И этот стишок немецкий сказал, ну точно как вы! Но бегу, бегу. Алексей Федорович, спешите скорей по этому поручению и поскорей вернитесь. Lise, не надобно ли тебе чего? Ради бога, не задерживай ни минуты Алексея Федоровича, он сейчас к тебе вернется…

Госпожа Хохлакова наконец убежала. Алеша, прежде чем идти, хотел было отворить дверь к Lise.

— Ни за что! — вскричала Lise, — теперь уж ни за что! Говорите так, сквозь дверь. За что вы в ангелы попали? Я только это одно и хочу знать.

— За ужасную глупость, Lise! Прощайте.

— Не смейте так уходить! — вскричала было Lise.

— Lise, у меня серьезное горе! Я сейчас ворочусь, но у меня большое, большое горе!

И он выбежал из комнаты.

VI

Надрыв в избе

У него было действительно серьезное горе, из таких, какие он доселе редко испытывал. Он выскочил и «наглупил» — и в каком же деле: в любовных чувствах! «Ну что я в этом понимаю, что я в этих делах разбирать могу? — в сотый раз повторял он про себя, краснея, — ох, стыд бы ничего, стыд только должное мне наказание, — беда в том, что несомненно теперь я буду причиною новых несчастий… А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить. Так ли соединяют?» Тут он вдруг опять припомнил, как он «соединил руки», и страшно стыдно стало ему опять. «Хоть я сделал это все и искренно, но вперед надо быть умнее», — заключил он вдруг и даже не улыбнулся своему заключению.

Поручение Катерины Ивановны было дано в Озерную улицу, и брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озерной улицы в переулке. Алеша решил зайти к нему во всяком случае прежде, чем к штабс-капитану, хоть и предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот, может быть, как-нибудь нарочно будет

прятаться от него теперь, но во что бы то ни стало надо было его разыскать. Время же уходило: мысль об отходившем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его с того часа, как он вышел из монастыря.

В поручении Катерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство, чрезвычайно тоже его заинтересовавшее: когда Катерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос, подле отца, то у Алеши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть, наверное, тот давешний школьник, укусивший его за палец, когда он, Алеша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь уж Алеша был почти уверен в этом, сам не зная еще почему. Таким образом, увлекшись посторонними соображениями, он развлекся и решил не «думать» о сейчас наделанной им «беде», не мучить себя раскаянием, а делать дело, а там что будет, то и выйдет. На этой мысли он окончательно ободрился. Кстати, завернув в переулок к брату Дмитрию и чувствуя голод, он вынул из кармана взятую у отца булку и съел дорогой. Это подкрепило его силы.

Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домиш-

ка — старик столяр, его сын и старушка, жена его, — даже подозрительно посмотрели на Алешу. «Уж третий день как не ночует, может, куда и выбыл», — ответил старик на усиленные вопросы Алеши. Алеша понял, что он отвечает по данной инструкции. На вопрос его: «Не у Грушеньки ли он, и не у Фомы ли опять прячется» (Алеша нарочно пустил в ход эти откровенности), все хозяева даже пугливо на него посмотрели. «Любят его, стало быть, руку его держат, — подумал Алеша, — это хорошо».

Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени; налево из сеней жила старая хозяйка со старухою дочерью, и, кажется, обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане, несколько раз повторенный, одна из них, поняв наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем чрез сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простою избой. Алеша взялся было рукой за железную скобу, чтоб отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он

знал, однако, со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан человек семейный: «Или спят все они, или, может быть, услыхали, что я пришел, и ждут, пока я отворю; лучше я снова постучусь к ним», — и он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже, может быть, десять спустя.

— Кто таков? — прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом.

Алеша отворил тогда дверь и шагнул чрез порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну чрез всю комнату была протянута веревка, на которой было развешено разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати, справа, виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою чрез веревку, протянутую поперек угла. За этою занавеской тоже примечалась сбоку устроенная

на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые, заплесневшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба и, сверх того, находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая; чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы — взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор пока дама не заговорила сама и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма

опрятно одетая. Она брезгливо осматривала вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание, молодая тоже девушка, лет двадцати, но горбатая и безногая, с отсохшими, как сказали потом Алеше, ногами. Костыли ее стояли подле, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какою-то спокойною кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькою редкою бородкой, весьма похожею на растрепанную мочалку (это сравнение и особенно слово «мочалка» так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алеши, он это потом припомнил). Очевидно, этот самый господин и крикнул из-за двери: «кто таков», так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявою салфеткой, подлетел к Алеше.

— Монах на монастырь просит, знал к кому прийти! — громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица. Но господин, подбежавший к Алеше, мигом повернулся к ней

на каблуках и взволнованным срывающимся каким-то голосом ей ответил:

— Нет-с, Варвара Николавна, это не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь, — вдруг опять повернулся он к Алеше, — что побудило вас-с посетить… эти недра-с?

Алеша внимательно смотрел на него, он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он очевидно сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время — странно это было — видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или, еще лучше, на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о «недрах» задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алеше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое пальто, заштопанное и в пятнах.

Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно он из них, как маленький мальчик, вырос.

— Я… Алексей Карамазов… — проговорил было в ответ Алеша.

— Отменно умею понимать-с, — тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. — Штабс я капитан-с Снегирев-с, в свою очередь; но все же желательно узнать, что именно побудило…

— Да я так только зашел. Мне, в сущности, от себя хотелось бы вам сказать одно слово… Если только позволите…

— В таком случае вот и стул-с, извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили: «Извольте взять место»… — и штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул (простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый) и поставил его чуть не посредине комнаты; затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, по-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе.

— Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный

своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс приобретается в унижении.

— Это так точно, — усмехнулся Алеша, — только невольно приобретается или нарочно?

— Видит бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства.

— Я пришел… по тому самому делу…

— По тому самому делу? — нетерпеливо прервал штабс-капитан.

— По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, — неловко отрезал Алеша.

— Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит, насчет мочалки, банной мочалки? — надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку.

— Какая это мочалка? — пробормотал Алеша.

— Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел! — крикнул знакомый уже Алеше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. — Это я ему давеча палец укусил!

Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего, в углу, под образами, на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу: «Дома, дескать, теперь не достанешь».

— Какой такой палец укусил? — привскочил со стула штабс-капитан. — Это вам он палец укусил-с?

— Да, мне. Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что.

— Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с, — совсем уже вскочил со стула штабс-капитан.

— Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал… Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да

он, кажется, теперь и болен…

— А вы думали, я высеку-с? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с? — проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. — Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения-с, пятого не потребуете?.. — Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в исступлении.

— Я, кажется, теперь все понял, — тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. — Значит, ваш мальчик — добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика… Это я теперь понимаю, — повторил он раздумывая. — Но брат мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему возможно будет прийти к вам или, всего лучше, свидеться с вами опять в том самом

месте, то он попросит у вас при всех прощения… если вы пожелаете.

— То есть вырвал бороденку и попросил извинения… Все, дескать, закончил и удовлетворил, так ли-с?

— О нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно!

— Так что если б я попросил его светлость стать на коленки предо мной в этом самом трактире-с — «Столичный город» ему наименование — или на площади-с, так он и стал бы?

— Да, он станет и на колени.

— Пронзили-с. Прослезили меня и пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын — мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них, возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…

— Ах, это совершенная правда! — воскликнул Алеша.

— Да полноте наконец паясничать; какой-нибудь дурак придет, а вы срамите! — вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу

с брезгливою и презрительною миной.

— Повремените немного, Варвара Николавна, позвольте выдержать направление, — крикнул ей отец, хотя и повелительным тоном, но, однако, весьма одобрительно смотря на нее. — Это уж у нас такой характер-с, — повернулся он опять к Алеше.

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

То есть надо бы в женском роде: благословить она не хотела-с. Но позвольте вас представить и моей супруге: вот-с Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович, — он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял. — Вы даме представляетесь, надо встать-с. Не тот-с Карамазов, маменька, который… гм и так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать.

И он почтительно, нежно даже поцеловал

у супруги ручку. Девица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной, надменно вопросительное лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость.

— Здравствуйте, садитесь, господин Черномазов, — проговорила она.

— Карамазов, маменька, Карамазов (мы из простых-с), — подшепнул он снова.

— Ну Карамазов или как там, а я всегда Черномазов… Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит, ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила…

— Мы из простых-с, из простых-с, — подсказал еще раз капитан.

— Папа, ах папа! — проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, и вдруг закрыла глаза платком.

— Шут! — брякнула девица у окна.

— Видите, у нас какие известия, — расставила руки мамаша, указывая на дочерей, — точно облака идут; пройдут облака, и опять наша музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я, батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того.

Дьяконица тогда приходит и говорит: «Александр Александрович превосходнейшей души человек, а Настасья, говорит, Петровна, это исчадие ада». — «Ну, отвечаю, это как кто кого обожает, а ты и мала куча, да вонюча». — «А тебя, говорит, надо в повиновении держать». — «Ах ты, черная ты, — говорю ей, — шпага, ну и кого ты учить пришла?» — «Я, — говорит она, — воздух чистый впускаю, а ты нечистый». — «А спроси, — отвечаю ей, — всех господ офицеров, нечистый ли во мне воздух али другой какой?» И так это у меня с того самого времени на душе сидит, что намеднись сижу я вот здесь, как теперь, и вижу, тот самый генерал вошел, что на Святую сюда приезжал: «Что, — говорю ему, — ваше превосходительство, можно ли благородной даме воздух свободный впускать?» — «Да, отвечает, надо бы у вас форточку али дверь отворить, по тому самому, что у вас воздух несвежий». Ну и все-то так! А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. «Я, говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду». Батюшки, голубчики, не попрекайте мать родную! Николай Ильич, батюшка, я ль тебе не угодила, только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес. Простите,

батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня, совсем одинокую, а и чего вам мой воздух противен стал!

И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней.

— Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты. Все-то тебя любят, все обожают! — и он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями; схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алеше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы. — Ну-с, видели-с? Слышали-с? — как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную.

— Вижу и слышу, — пробормотал Алеша.

— Папа, папа! Неужели ты с ним… Брось ты его, папа! — крикнул вдруг мальчик, привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца.

— Да полноте вы, наконец, паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут!.. — совсем уже озлившись, крикнула все из того угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула.

— Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя выходить, Варвара Николавна, и я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму — и пойдемте-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен. Эта вот сидящая девица — это дочка моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам ее представить — ангел Божий во плоти… к смертным слетевший… если можете только это понять…

— Весь ведь так и сотрясается, словно судорогой его сводит, — продолжала в негодовании Варвара Николаевна.

— А эта, вот что теперь на меня ножкой топает и паяцем меня давеча обличила, — это тоже ангел Божий во плоти-с и справедливо меня обозвала-с. Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо-с…

И, схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу.

VII

И на чистом воздухе

— Воздух чистый-с, а в хоромах-то у меня и впрямь несвежо, во всех даже смыслах. Прой-

демте, сударь, шажком. Очень бы хотелось мне вас заинтересовать-с.

— Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело… — заметил Алеша, — и только не знаю, как мне начать.

— Как не узнать, что у вас до меня дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. Али в самом деле только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А кстати о мальчике-с: я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад, — я про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники главное-с. Ну-с вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде-с, бросился ко мне: «Папа, кричит, папа!» Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите его» — так ведь и кричит: «Простите»; ручонками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует-с… Помню я в ту минуту, какое у него было личико-с,

не забыл-с и не забуду-с!..

— Клянусь, — воскликнул Алеша, — брат вам самым искренним образом, самым полным, выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой площади… Я заставлю его, иначе он мне не брат!

— Ага, так это еще в прожекте находится. Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит пылкого-с. Так бы и сказали-с. Нет, уж в таком случае позвольте мне и о высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, ибо он его тогда выразил-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с: «Ты, говорит, офицер, и я офицер, если можешь найти секунданта, порядочного человека, то присылай — дам удовлетворение, хотя бы ты и мерзавец!» Вот что сказал-с. Воистину рыцарский дух! Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелась. Нет уж, где нам дворянами оставаться-с. Да и посудите сами-с, изволили сами быть сейчас у меня в хоромах — что видели-с? Три дамы сидят-с, одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная, курсистка-с, в Петербург снова рвется, там на берегах Невы

права женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего девять лет-с, один как перст, ибо умри я — и что со всеми этими недрами станется, я только про это одно вас спрошу-с? А если так, то вызови я его на дуэль, а ну как он меня тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что станется-с? Еще хуже того, если он не убьет, а лишь только меня искалечит: работать нельзя, а рот-то все-таки остается, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто ж их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу вместо школы милостыню просить высылать ежедневно? Так вот что оно для меня значит-с на дуэль-то его вызвать-с, глупое это слово-с, и больше ничего-с.

— Он будет у вас просить прощения, он посреди площади вам в ноги поклонится, — вскричал опять Алеша с загоревшимся взором.

— Хотел я его в суд позвать, — продолжал штабс-капитан, — но разверните наш кодекс, много ль мне придется удовлетворения за личную обиду мою с обидчика получить-с? А тут вдруг Аграфена Александровна призывает меня и кричит: «Думать не смей! Если в суд его позовешь, так подведу так, что всему свету публично обнаружится, что бил он тебя за твое же мошенничество, тогда самого тебя под суд упекут».

А Господь один видит, от кого мошенничество-то это вышло-с и по чьему приказу я как мелкая сошка тут действовал-с, — не по ее ли самой распоряжению да Федора Павловича? «А к тому же, прибавляет, навеки тебя прогоню, и ничего ты у меня впредь не заработаешь. Купцу моему тоже скажу (она его так и называет, старика-то: купец мой), так и тот тебя сгонит». Вот и думаю, если уж и купец меня сгонит, то что тогда, у кого заработаю? Ведь они только двое мне и остались, так как батюшка ваш Федор Павлович не только мне доверять перестал, по одной посторонней причине-с, но еще сам, заручившись моими расписками, в суд меня тащить хочет. Вследствие всего сего я и притих-с, и вы недра видели-с. А теперь позвольте спросить: больно он вам пальчик давеча укусил, Илюша-то? В хоромах-то я при нем войти в сию подробность не решился.

— Да, очень больно, и он очень был раздражен. Он мне, как Карамазову, за вас отомстил, мне это ясно теперь. Но если бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался? Это очень опасно, они могут его убить, они дети, глупы, камень летит и может голову проломить.

— Да уж и попало-с, не в голову, так в грудь-с,

повыше сердца-с, сегодня удар камнем, синяк-с, пришел, плачет, охает, а вот и заболел.

— И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех, он озлился за вас, они говорят, что он одному мальчику, Красоткину, давеча в бок перочинным ножиком пырнул…

— Слышал и про это, опасно-с: Красоткин это чиновник здешний, еще, может быть, хлопоты выйдут-с…

— Я бы вам советовал, — с жаром продолжал Алеша, — некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется… и гнев этот в нем пройдет…

— Гнев-с! — подхватил штабс-капитан, — именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за правду-с.

Ибо что он тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кричал ему: «Простите папочку, простите папочку», — то это только Бог один знает да я-с. И вот так-то детки наши — то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но благородных нищих-с, — правду на земле еще в девять лет от роду узнают-с. Богатым где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с, — горячо и опять как бы в исступлении произнес штабс-капитан и при этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая наяву выразить, как пришибла его Илюшу «истина». — В тот самый день он у меня в лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже, только заметил я: глядит, глядит на меня из угла, а все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а я вижу, что не уроки у него на уме. На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с. Маменька тоже тут плакать начала-с — маменьку-то я очень люблю-с, — ну с горя и клюкнул на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России пьяные

люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу это я и Илюшу в тот день не очень запомнил, а в тот-то именно день мальчишки и подняли его на смех в школе с утра-с: «Мочалка, — кричат ему, — отца твоего за мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил». На третий это день пришел он опять из школы, смотрю — лица на нем нет, побледнел. Что ты, говорю? Молчит. Ну в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас маменька и девицы участие примут, — девицы-то к тому же все уже узнали, даже еще в первый день. Варвара-то Николавна уже стала ворчать: «Шуты, паяцы, разве может у вас что разумное быть?» — «Так точно, говорю, Варвара Николавна, разве может у нас что разумное быть?» Тем на тот раз и отделался. Вот-с к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать-с, каждый вечер и допрежь того гулять выходили, ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем, от самой нашей калитки до вон того камня большущего, который вон там на дороге сиротой лежит у плетня и где выгон городской начинается: место пустынное и прекрасное-с. Идем мы с Илюшей, ручка его в моей руке, по обыкновению; махонькая у него ручка,

пальчики тоненькие, холодненькие, — грудкой ведь он у меня страдает. «Папа, говорит, папа!» — «Что?» — говорю ему; глазенки, вижу, у него сверкают. «Папа, как он тебя тогда, папа!» — «Что делать, Илюша», — говорю. «Не мирись с ним, папа, не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал». — «Нет, говорю, Илюша, я денег от него не возьму теперь ни за что». Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. «Папа, говорит, папа, вызови его на дуэль, в школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей у него возьмешь». — «На дуэль, Илюша, мне нельзя его вызвать», — отвечаю я и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей счет сейчас изложил. Выслушал он. «Папа, говорит, папа, все-таки не мирись: я вырасту, я вызову его сам и убью его!» Глазенки-то сверкают и горят. Ну при всем том ведь я и отец, надобно ж было ему слово правды сказать. «Грешно, — говорю я ему, — убивать, хотя бы и на поединке». — «Папа, говорит, папа, я его повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!» Видите, видите, сударь, какой процессик в головке-то

его произошел в эти два дня, это он день и ночь об этом именно мщении с саблей думал и ночью, должно быть, об этом бредил-с. Только стал он из школы приходить больно битый, это третьего дня я все узнал, и вы правы-с; больше уж в школу эту я его не пошлю-с. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает, сам озлился, сердце в нем зажглось, — испугался я тогда за него. Опять ходим, гуляем. «Папа, спрашивает, папа, ведь богатые всех сильнее на свете?» — «Да, говорю, Илюша, нет на свете сильнее богатого». — «Папа, говорит, я разбогатею, я в офицеры пойду и всех разобью, меня царь наградит, я приеду, и тогда никто не посмеет…» Потом помолчал да и говорит — губенки-то у него всё по-прежнему вздрагивают: «Папа, говорит, какой это нехороший город наш, папа!» — «Да, говорю, Илюшечка, не очень-таки хорош наш город». — «Папа, переедем в другой город, в хороший, говорит, город, где про нас и не знают». — «Переедем, говорю, переедем, Илюша, — вот только денег скоплю». Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных, и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем, изредка тебя подсажу, а я

тут подле пойду, потому лошадку свою поберечь надо, не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а главное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго, слава богу, думаю, развлек я его, утешил. Это третьего дня вечером было, а вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел, мрачный вернулся, очень уж мрачен. Вечером взял я его за ручку, вывел гулять, молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью повеяло, да и смеркалось уж, — идем, обоим нам грустно. «Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой в дорогу-то соберемся?» — думаю на вчерашний-то разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. «Э, думаю, плохо, новое есть». Дошли мы, вот как теперь, до этого самого камня, сел я на камень этот, а на небесах всё змеи запущены, гудят и трещат, змеев тридцать видно. Ведь ныне змеиный сезон-с. «Вот, говорю, Илюша, пора бы и нам змеёк прошлогодний запустить. Починю-ка я его, где он у тебя там спрятан?» Молчит мой мальчик, глядит в сторону, стоит ко мне боком. А тут ветер вдруг загудел, понесло песком… Бросился он вдруг ко мне весь, обнял

мне обеими ручонками шею, стиснул меня. Знаете, детки коли молчаливые да гордые, да слезы долго перемогают в себе, да как вдруг прорвутся, если горе большое придет, так ведь не то что слезы потекут-с, а брызнут, словно ручьи-с. Теплыми-то брызгами этими так вдруг и обмочил он мне все лицо. Зарыдал как в судороге, затрясся, прижимает меня к себе, я сижу на камне. «Папочка, вскрикивает, папочка, милый папочка, как он тебя унизил!» Зарыдал тут и я-с, сидим и сотрясаемся обнявшись. «Папочка, говорит, папочка!» — «Илюша, — говорю ему, — Илюшечка!» Никто-то нас тогда не видел-с, Бог один видел, авось мне в формуляр занесет-с. Поблагодарите вашего братца, Алексей Федорович. Нет-с, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высеку-с!

Кончил он опять со своим давешним злым и юродливым вывертом. Алеша почувствовал, однако, что ему уж он доверяет и что будь на его месте другой, то с другим этот человек не стал бы так «разговаривать» и не сообщил бы ему того, что сейчас ему сообщил. Это ободрило Алешу, у которого душа дрожала от слез.

— Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком! — воскликнул он. — Если б вы это

устроили…

— Точно так-с, — пробормотал штабс-капитан.

— Но теперь не про то, совсем не про то, слушайте, — продолжал восклицать Алеша, — слушайте. Я имею к вам поручение: этот самый мой брат, этот Дмитрий, оскорбил и свою невесту, благороднейшую девушку, и о которой вы, верно, слышали. Я имею право вам открыть про ее оскорбление, я даже должен так сделать, потому что она, узнав про вашу обиду и узнав все про ваше несчастное положение, поручила мне сейчас… давеча… снести вам это вспоможение от нее… но только от нее одной, не от Дмитрия, который и ее бросил, отнюдь нет, и не от меня, от брата его, и не от кого-нибудь, а от нее, только от нее одной! Она вас умоляет принять ее помощь… вы оба обижены одним и тем же человеком… Она и вспомнила-то о вас лишь тогда, когда вынесла от него такую же обиду (по силе обиды), как и вы от него! Это значит, сестра идет к брату с помощью… Она именно поручила мне уговорить вас принять от нее вот эти двести рублей как от сестры. Никто-то об этом не узнает, никаких несправедливых сплетен не может произойти… вот эти двести рублей, и, клянусь, вы должны принять их, иначе… иначе, стало быть, все долж-

ны быть врагами друг другу на свете! Но ведь есть же и на свете братья… У вас благородная душа… вы должны это понять, должны!..

И Алеша протянул ему две новенькие радужные сторублевые кредитки. Оба они стояли тогда именно у большого камня, у забора, и никого кругом не было. Кредитки произвели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление: он вздрогнул, но сначала как бы от одного удивления: ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. Помощь от кого-нибудь, да еще такая значительная, ему и не мечталась даже во сне. Он взял кредитки и с минуту почти и отвечать не мог, совсем что-то новое промелькнуло в лице его.

— Это мне-то, мне-с, это столько денег, двести рублей! Батюшки! Да я уж четыре года не видал таких денег, господи! И говорит, что сестра… и вправду это, вправду?

— Клянусь вам, что все, что я вам сказал, правда! — вскричал Алеша. Штабс-капитан покраснел.

— Послушайте-с, голубчик мой, послушайте-с, ведь если я и приму, то ведь не буду же я подлецом? В глазах-то ваших, Алексей Федорович, ведь не буду, не буду подлецом? Нет-с, Алексей Федоро-

вич, вы выслушайте, выслушайте-с, — торопился он, поминутно дотрогиваясь до Алеши обеими руками, — вы вот уговариваете меня принять тем, что «сестра» посылает, а внутри-то, про себя-то — не восчувствуете ко мне презрения, если я приму-с, а?

— Да нет же, нет! Спасением моим клянусь вам, что нет! И никто не узнает никогда, только мы: я, вы, да она, да еще одна дама, ее большой друг…

— Что дама! Слушайте, Алексей Федорович, выслушайте-с, ведь уж теперь минута такая пришла-с, что надо выслушать, ибо вы даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти двести рублей, — продолжал бедняк, приходя постепенно в какой-то беспорядочный, почти дикий восторг. Он был как бы сбит с толку, говорил же чрезвычайно спеша и торопясь, точно опасаясь, что ему не дадут всего высказать. — Кроме того, что это честно приобретено, от столь уважаемой и святой «сестры-с», знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку — горбатенького-то ангела моего, дочку-то, полечить теперь могу? Приезжал ко мне доктор Герценштубе, по доброте своего сердца, осматривал их обеих целый час: «Не понимаю, говорит, ничего», а, однако же, минеральная вода, которая в аптеке здешней

есть (прописал он ее), несомненную пользу ей принесет, да ванны ножные из лекарств тоже ей прописал. Минеральная-то вода стоит тридцать копеек, а кувшинов-то надо выпить, может быть, сорок. Так я взял да рецепт и положил на полку под образа, да там и лежит. А Ниночку прописал купать в каком-то растворе, в горячих ваннах таких, да ежедневно утром и вечером, так где ж нам было сочинить такое леченье-с, у нас-то, в хоромах-то наших, без прислуги, без помощи, без посуды и воды-с? А Ниночка-то вся в ревматизме, я вам это еще и не говорил, по ночам ноет у ней вся правая половина, мучается и, верите ли, ангел Божий, крепится, чтобы нас не обеспокоить, не стонет, чтобы нас не разбудить. Кушаем мы что попало, что добудется, так ведь она самый последний кусок возьмет, что собаке только можно выкинуть: «Не стою я, дескать, этого куска, я у вас отнимаю, вам бременем сижу». Вот что ее взгляд ангельский хочет изобразить. Служим мы ей, а ей это тягостно: «Не стою я того, не стою, недостойная я калека, бесполезная», — а еще бы она не стоила-с, когда она всех нас своею ангельскою кротостью у Бога вымолила, без нее, без ее тихого слова, у нас был бы ад-с, даже Варю и ту смягчила. А Варвару-то Николавну тоже

не осуждайте-с, тоже ангел она, тоже обиженная. Прибыла она к нам летом, а было с ней шестнадцать рублей, уроками заработала и отложила их на отъезд, чтобы в сентябре, то есть теперь-то, в Петербург на них воротиться. А мы взяли денежки-то ее и прожили и не на что ей теперь воротиться, вот как-с. Да и нельзя воротиться-то, потому на нас, как каторжная, работает — ведь мы ее как клячу запрягли-оседлали, за всеми ходит, чинит, моет, пол метет, маменьку в постель укладывает, а маменька капризная-с, а маменька слезливая-с, а маменька сумасшедшая-с!.. Так ведь теперь я на эти двести рублей служанку нанять могу-с, понимаете ли вы, Алексей Федорович, лечение милых существ предпринять могу-с, курсистку в Петербург направлю-с, говядины куплю-с, диету новую заведу-с. Господи, да ведь это мечта!

Алеша был ужасно рад, что доставил столько счастия и что бедняк согласился быть осчастливленным.

— Стойте, Алексей Федорович, стойте, — схватился опять за новую, вдруг представившуюся ему мечту штабс-капитан и опять затараторил исступленною скороговоркой, — да знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь

мечту осуществим: купим лошадку да кибитку, да лошадку-то вороненькую, он просил непременно чтобы вороненькую, да и отправимся, как третьего дня расписывали. У меня в К-ской губернии адвокат есть знакомый-с, с детства приятель-с, передавали мне чрез верного человека, что если приеду, то он мне у себя на конторе место письмоводителя будто бы даст-с, так ведь, кто его знает, может, и даст… Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, пешечком, да всех бы и повез-с… Господи, да если бы только один должок пропащий здесь получить, так, может, достанет даже и на это-с!

— Достанет, достанет! — воскликнул Алеша, — Катерина Ивановна вам пришлет еще, сколько угодно, и знаете ли, у меня тоже есть деньги, возьмите сколько вам надо, как от брата, как от друга, потом отдадите… (Вы разбогатеете, разбогатееете!) И знаете, что никогда вы ничего лучше даже и придумать не в состоянии, как этот переезд в другую губернию! В этом ваше спасение, а главное, для вашего мальчика — и знаете, поскорее бы, до зимы бы, до холодов, и написали бы нам оттуда, и остались бы мы братьями… Нет, это не мечта!

Алеша хотел было обнять его, до того он был доволен. Но, взглянув на него, он вдруг остановился: тот стоял, вытянув шею, вытянув губы, с исступленным и побледневшим лицом и что-то шептал губами, как будто желая что-то выговорить; звуков не было, а он все шептал губами, было как-то странно.

— Чего вы! — вздрогнул вдруг отчего-то Алеша.

— Алексей Федорович... я... вы... — бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в упор с видом решившегося полететь с горы, и в то же время губами как бы и улыбаясь, — я-с... вы-с... А не хотите ли, я вам один фокусик сейчас покажу-с! — вдруг прошептал он быстрым, твердым шепотом, речь уже не срывалась более.

— Какой фокусик?

— Фокусик, фокус-покус такой, — все шептал штабс-капитан; рот его скривился на левую сторону, левый глаз прищурился, он, не отрываясь, все смотрел на Алешу, точно приковался к нему.

— Да что с вами, какой фокус? — прокричал тот уж совсем в испуге.

— А вот какой, глядите! — взвизгнул вдруг штабс-капитан.

И, показав ему обе радужные кредитки, кото-

рые все время, в продолжение всего разговора, держал обе вместе за уголок большим и указательным пальцами правой руки, он вдруг с каким-то остервенением схватил их, смял и крепко зажал в кулаке правой руки.

— Видели-с, видели-с! — взвизгнул он Алеше, бледный и исступленный, и вдруг, подняв вверх кулак, со всего размаху бросил обе смятые кредитки на песок, — видели-с? — взвизгнул он опять, показывая на них пальцем, — ну так вот же-с!..

И вдруг, подняв правую ногу, он с дикою злобой бросился их топтать каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги.

— Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! — Вдруг он отскочил назад и выпрямился пред Алешей. Весь вид его изобразил собой неизъяснимую гордость.

— Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продает-с! — вскричал он, простирая на воздух руку. Затем быстро повернулся и бросился бежать; но он не пробежал и пяти шагов, как, весь повернувшись опять, вдруг сделал Алеше ручкой. Но и опять, не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз обернулся, на этот раз без искривленного смеха в лице, а напротив,

все оно сотрясалось слезами. Плачущею, срывающеюся, захлебывающеюся скороговоркой прокричал он:

— А что ж бы я моему мальчику-то сказал, если б у вас деньги за позор наш взял? — и, проговорив это, бросился бежать, на сей раз уже не оборачиваясь. Алеша глядел ему вслед с невыразимою грустью. О, он понимал, что тот до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитки. Бежавший ни разу не обернулся, так и знал Алеша, что не обернется. Преследовать и звать его он не захотел, он знал почему. Когда же тот исчез из виду, Алеша поднял обе кредитки. Они были лишь очень смяты, сплюснуты и вдавлены в песок, но совершенно целы и даже захрустели, как новенькие, когда Алеша развертывал их и разглаживал. Разгладив, он сложил их, сунул в карман и пошел к Катерине Ивановне докладывать об успехе ее поручения.

Книга пятая. Pro и contra

[16]



I

Сговор

Госпожа Хохлакова опять встретила Алешу первая. Она торопилась: случилось нечто важное: истерика Катерины Ивановны кончилась обмороком, затем наступила «ужасная, страшная слабость, она легла, завела глаза и стала бредить. Теперь жар, послали за Герценштубе, послали за тетками. Тетки уж здесь, а Герценштубе еще нет. Все сидят в ее комнате и ждут. Что-то будет, а она без памяти. А ну если горячка!»

Восклицая это, госпожа Хохлакова имела вид

---

[16] Сноски: 16
За и против (*лат.*).

серьезно испуганный: «Это уж серьезно, серьезно!» — прибавляла она к каждому слову, как будто все, что случалось с ней прежде, было несерьезно. Алеша выслушал ее с горестью; начал было излагать ей и свои приключения, но она его с первых же слов прервала: ей было некогда, она просила посидеть у Lise и у Lise подождать ее.

— Lise, милейший Алексей Федорович, — зашептала она почти на ухо, — Lise меня странно удивила сейчас, но и умилила, а потому сердце мое ей все прощает. Представьте, только что вы ушли, она вдруг искренно стала раскаиваться, что над вами будто бы смеялась вчера и сегодня. Но ведь она не смеялась, она лишь шутила. Но так серьезно раскаивалась, почти до слез, так что я удивилась. Никогда она прежде серьезно не раскаивалась, когда надо мною смеялась, а все в шутку. А вы знаете, она поминутно надо мною смеется. А вот теперь она серьезно, теперь пошло все серьезно. Она чрезвычайно ценит ваше мнение, Алексей Федорович, и если можете, то не обижайтесь на нее и не имейте претензии. Я сама только и делаю, что щажу ее, потому что она такая умненькая — верите ли вы? Она говорила сейчас, что вы были другом ее детства, — «самым серьезным другом моего детства», — представьте

себе это, самым серьезным, а я-то? У ней на этот счет чрезвычайно серьезные чувства и даже воспоминания, а главное, эти фразы и словечки, самые неожиданные эти словечки, так что никак не ожидаешь, а вдруг оно и выскочит. Вот недавно о сосне, например: стояла у нас в саду в ее первом детстве сосна, может и теперь стоит, так что нечего говорить в прошедшем времени. Сосны не люди, они долго не изменяются, Алексей Федорович. «Мама, говорит, я помню эту сосну, как со сна», — то есть «сосну, как со сна» — это как-то она иначе выразилась, потому что тут путаница, «сосна» слово глупое, но только она мне наговорила по этому поводу что-то такое оригинальное, что я решительно не возьмусь передать. Да и все забыла. Ну, до свиданья, я очень потрясена и, наверно, с ума схожу. Ах, Алексей Федорович, я два раза в жизни с ума сходила, и меня лечили. Ступайте к Lise. Ободрите ее, как вы всегда прелестно это сумеете сделать. Lise, — крикнула она, подходя к ее двери, — вот я привела к тебе столь оскорбленного тобою Алексея Федоровича, и он нисколько не сердится, уверяю тебя, напротив, удивляется, как ты могла подумать!

— Mersi, maman; войдите, Алексей Федорович.

Алеша вошел. Lise смотрела как-то сконфуженно и вдруг вся покраснела. Она видимо чего-то стыдилась и, как всегда при этом бывает, быстро-быстро заговорила совсем о постороннем, точно этим только посторонним она и интересовалась в эту минуту.

— Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих двухстах рублях и об этом вам поручении… к этому бедному офицеру… и рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели, и, знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково… она все перескакивает… но я слушала и плакала. Что же, как же, отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный?..

— То-то и есть, что не отдал, и тут целая история, — ответил Алеша, с своей стороны как бы именно более всего озабоченный тем, что деньги не отдал, а между тем Lise отлично заметила, что и он смотрит в сторону и тоже видимо старается говорить о постороннем. Алеша присел к столу и стал рассказывать, но с первых же слов он совершенно перестал конфузиться и увлек, в свою очередь, Lise. Он говорил под влиянием сильного чувства и недавнего чрезвычайного впечатления, и рассказать ему удалось хорошо и обстоятельно. Он и прежде, еще в Москве, еще

в детстве Lise, любил приходить к ней и рассказывать то из случившегося с ним сейчас, то из прочитанного, то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем, но большею частью веселые и смешные. Теперь они оба как бы вдруг перенеслись в прежнее московское время, года два назад. Lise была чрезвычайно растрогана его рассказом. Алеша с горячим чувством сумел нарисовать перед ней образ «Илюшечки». Когда же кончил во всей подробности сцену о том, как тот несчастный человек топтал деньги, то Lise всплеснула руками и вскричала в неудержимом чувстве:

— Так вы не отдали денег, так вы так и дали ему убежать! Боже мой, да вы хоть бы побежали за ним сами и догнали его…

— Нет, Lise, этак лучше, что я не побежал, — сказал Алеша, встал со стула и озабоченно прошелся по комнате.

— Как лучше, чем лучше? Теперь они без хлеба и погибнут!

— Не погибнут, потому что эти двести рублей их все-таки не минуют. Он все равно возьмет их завтра. Завтра-то уж наверно возьмет, — проговорил Алеша, шагая в раздумье. — Видите ли,

Lise, — продолжал он, вдруг остановясь пред ней, — я сам тут сделал одну ошибку, но и ошибка-то вышла к лучшему.

— Какая ошибка и почему к лучшему?

— А вот почему, это человек трусливый и слабый характером. Он такой измученный и очень добрый. Я вот теперь все думаю: чем это он так вдруг обиделся и деньги растоптал, потому что, уверяю вас, он до самого последнего мгновения не знал, что растопчет их. И вот мне кажется, что он многим тут обиделся… да и не могло быть иначе в его положении… Во-первых, он уж тем обиделся, что слишком при мне деньгам обрадовался и предо мною этого не скрыл. Если б обрадовался, да не очень, не показал этого, фасоны бы стал делать, как другие, принимая деньги, кривляться, ну тогда бы еще мог снести и принять, а то он уж слишком правдиво обрадовался, а это-то и обидно. Ах, Lise, он правдивый и добрый человек, вот в этом-то и вся беда в этих случаях! У него все время, пока он тогда говорил, голос был такой слабый, ослабленный, и говорил он так скоро-скоро, все как-то хихикал таким смешком, или уже плакал… право, он плакал, до того он был в восхищении… и про дочерей своих говорил… и про место, что ему в другом го-

роде дадут… И чуть только излил душу, вот вдруг ему и стыдно стало за то, что он так всю душу мне показал. Вот он меня сейчас и возненавидел. А он из ужасно стыдливых бедных. Главное же, обиделся тем, что слишком скоро меня за своего друга принял и скоро мне сдался; то бросался на меня, пугал, а тут вдруг, только что увидел деньги, и стал меня обнимать. Потому что он меня обнимал, все руками трогал. Это именно вот в таком виде он должен был все это унижение почувствовать, а тут как раз я эту ошибку сделал, очень важную: я вдруг и скажи ему, что если денег у него недостанет на переезд в другой город, то ему еще дадут, и даже я сам ему дам из моих денег сколько угодно. Вот это вдруг его и поразило: зачем, дескать, и я выскочил ему помогать? Знаете, Lise, это ужасно как тяжело для обиженного человека, когда все на него станут смотреть его благодетелями… я это слышал, мне это старец говорил. Я не знаю, как это выразить, но я это часто и сам видел. Да я ведь и сам точно так же чувствую. А главное то, что хоть он и не знал до самого последнего мгновения, что растопчет кредитки, но все-таки это предчувствовал, это уж непременно. Потому-то и восторг у него был такой сильный, что он предчувствовал… И вот

хоть все это так скверно, но все-таки к лучшему. Я так даже думаю, что к самому лучшему, лучше и быть не могло…

— Почему, почему лучше и быть не могло? — воскликнула Lise, с большим удивлением смотря на Алешу.

— Потому, Lise, что если б он не растоптал, а взял эти деньги, то, придя домой, чрез час какой-нибудь и заплакал бы о своем унижении, вот что вышло бы непременно. Заплакал бы и, пожалуй, завтра пришел бы ко мне чем свет и бросил бы, может быть, мне кредитки и растоптал бы как давеча. А теперь он ушел ужасно гордый и с торжеством, хоть и знает, что «погубил себя». А стало быть, теперь уж ничего нет легче, как заставить его принять эти же двести рублей не далее как завтра, потому что он уж свою честь доказал, деньги швырнул, растоптал… Не мог же он знать, когда топтал, что я завтра их ему опять принесу. А между тем деньги-то эти ему ужасно как ведь нужны. Хоть он теперь и горд, а все-таки ведь даже сегодня будет думать о том, какой помощи он лишился. Ночью будет еще сильнее думать, во сне будет видеть, а к завтрашнему утру, пожалуй, готов будет ко мне бежать и прощенья просить. А я-то вот тут и явлюсь:

«Вот, дескать, вы гордый человек, вы доказали, ну теперь возьмите, простите нас». Вот тут-то он и возьмет!

Алеша с каким-то упоением произнес: «Вот тут-то он и возьмет!» Lise захлопала в ладошки.

— Ах, это правда, ах, я это ужасно вдруг поняла! Ах, Алеша, как вы все это знаете? Такой молодой и уж знает, что в душе… Я бы никогда этого не выдумала…

— Его, главное, надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берет, — продолжал в своем упоении Алеша, — и не только на равной, но даже на высшей ноге…

— «На высшей ноге» — прелестно, Алексей Федорович, но говорите, говорите!

— То есть я не так выразился… про высшую ногу… но это ничего, потому что…

— Ах, ничего, ничего, конечно ничего! Простите, Алеша, милый… Знаете, я вас до сих пор почти не уважала… то есть уважала, да на равной ноге, а теперь буду на высшей уважать… Милый, не сердитесь, что я «острю», — подхватила она тотчас же с сильным чувством. — Я смешная и маленькая, но вы, вы… Слушайте, Алексей Федорович, нет ли тут во всем этом рассуждении

нашем, то есть вашем… нет, уж лучше нашем… нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному… в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а? В том, что так наверно решили теперь, что он деньги примет, а?

— Нет, Lise, нет презрения, — твердо ответил Алеша, как будто уже приготовленный к этому вопросу, — я уж об этом сам думал, идя сюда. Рассудите, какое уж тут презрение, когда мы сами такие же, как он, когда все такие же, как он. Потому что ведь и мы такие же, не лучше. А если б и лучше были, то были бы все-таки такие же на его месте… Я не знаю, как вы, Lise, но я считаю про себя, что у меня во многом мелкая душа. А у него и не мелкая, напротив, очень деликатная… Нет, Lise, нет тут никакого презрения к нему! Знаете, Lise, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за иными как за больными в больницах…

— Ах, Алексей Федорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!

— Давайте, Lise, я готов, только я сам не совсем готов; я иной раз очень нетерпелив, а в другой раз и глазу у меня нет. Вот у вас другое дело.

— Ах, не верю! Алексей Федорович, как я счастлива!

— Как хорошо, что вы это говорите, Lise.

— Алексей Федорович, вы удивительно хороши, но вы иногда как будто педант… а между тем, смотришь, вовсе не педант. Подите посмотрите у дверей, отворите их тихонько и посмотрите, не подслушивает ли маменька, — прошептала вдруг Lise каким-то нервным, торопливым шепотом.

Алеша пошел, приотворил двери и доложил, что никто не подслушивает.

— Подойдите сюда, Алексей Федорович, — продолжала Lise, краснея все более и более, — дайте вашу руку, вот так. Слушайте, я вам должна большое признание сделать: вчерашнее письмо я вам не в шутку написала, а серьезно…

И она закрыла рукой свои глаза. Видно было, что ей очень стыдно сделать это признание. Вдруг она схватила его руку и стремительно поцеловала ее три раза.

— Ах, Lise, вот и прекрасно, — радостно воскликнул Алеша. — А я ведь был совершенно уверен, что вы написали серьезно.

— Уверен, представьте себе! — отвела вдруг она его руку, не выпуская ее, однако, из своей руки, краснея ужасно и смеясь маленьким, счастливым смешком, — я ему руку поцеловала, а он говорит:

«и прекрасно». — Но упрекала она несправедливо: Алеша тоже был в большом смятении.

— Я бы желал вам всегда нравиться, Lise, но не знаю, как это сделать, — пробормотал он кое-как и тоже краснея.

— Алеша, милый, вы холодны и дерзки. Видите ли-с. Он изволил меня выбрать в свои супруги и на том успокоился! Он был уже уверен, что я написала серьезно, каково! Но ведь это дерзость — вот что!

— Да разве это худо, что я был уверен? — засмеялся вдруг Алеша.

— Ах, Алеша, напротив, ужасно как хорошо, — нежно и со счастьем посмотрела на него Lise. Алеша стоял, все еще держа свою руку в ее руке. Вдруг он нагнулся и поцеловал ее в самые губки.

— Это что еще? Что с вами? — вскрикнула Lise.

Алеша совсем потерялся.

— Ну, простите, если не так… Я, может быть, ужасно глупо… Вы сказали, что я холоден, я взял и поцеловал… Только я вижу, что вышло глупо…

Lise засмеялась и закрыла лицо руками.

— И в этом платье! — вырвалось у ней между смехом, но вдруг она перестала смеяться и стала вся серьезная, почти строгая.

— Ну, Алеша, мы еще подождем с поцелуями,

потому что мы этого еще оба не умеем, а ждать нам еще очень долго, — заключила она вдруг. — Скажите лучше, за что вы берете меня, такую дуру, больную дурочку, вы, такой умный, такой мыслящий, такой замечающий? Ах, Алеша, я ужасно счастлива, потому что я вас совсем не стою!

— Стоите, Lise. Я на днях выйду из монастыря совсем. Выйдя в свет, надо жениться, это-то я знаю. Так и *он* мне велел. Кого ж я лучше вас возьму… и кто меня, кроме вас, возьмет? Я уж это обдумывал. Во-первых, вы меня с детства знаете, а во-вторых, в вас очень много способностей, каких во мне совсем нет. У вас душа веселее, чем у меня; вы, главное, невиннее меня, а уж я до многого, до многого прикоснулся… Ах, вы не знаете, ведь и я Карамазов! Что в том, что вы смеетесь и шутите, и надо мной тоже; напротив, смейтесь, я так этому рад… Но вы смеетесь как маленькая девочка, а про себя думаете как мученица…

— Как мученица? Как это?

— Да, Lise, вот давеча ваш вопрос: нет ли в нас презрения к тому несчастному, что мы так душу его анатомируем, — этот вопрос мученический… видите, я никак не умею это выразить, но у кого такие вопросы являются, тот сам способен стра-

дать. Сидя в креслах, вы уж и теперь должны были много передумать…

— Алеша, дайте мне вашу руку, что вы ее отнимаете, — промолвила Lise ослабленным от счастья, упавшим каким-то голоском. — Послушайте, Алеша, во что вы оденетесь, как выйдете из монастыря, в какой костюм? Не смейтесь, не сердитесь, это очень, очень для меня важно.

— Про костюм, Lise, я еще не думал, но в какой хотите, в такой и оденусь.

— Я хочу, чтоб у вас был темно-синий бархатный пиджак, белый пикейный жилет и пуховая серая мягкая шляпа… Скажите, вы так и поверили давеча, что я вас не люблю, когда я от письма вчерашнего отреклась?

— Нет, не поверил.

— О, несносный человек, неисправимый!

— Видите, я знал, что вы меня… кажется, любите, но я сделал вид, что вам верю, что вы не любите, чтобы вам было… удобнее…

— Еще того хуже! И хуже и лучше всего. Алеша, я вас ужасно люблю. Я давеча, как вам прийти, загадала: спрошу у него вчерашнее письмо, и если он мне спокойно вынет и отдаст его (как и ожидать от него всегда можно), то значит, что он совсем меня не любит, ничего не чувствует,

а просто глупый и недостойный мальчик, а я погибла. Но вы оставили письмо в келье, и это меня ободрило: не правда ли, вы потому оставили в келье, что предчувствовали, что я буду требовать назад письмо, так чтобы не отдавать его? Так ли? Ведь так?

— Ох, Lise, совсем не так, ведь письмо-то со мной и теперь и давеча было тоже, вот в этом кармане, вот оно.

Алеша вынул, смеясь, письмо и показал ей издали.

— Только я вам не отдам его, смотрите из рук.

— Как? Так вы давеча солгали, вы монах и солгали?

— Пожалуй, солгал, — смеялся и Алеша, — чтобы вам не отдавать письма, солгал. Оно очень мне дорого, — прибавил он вдруг с сильным чувством и опять покраснев, — это уж навеки, и я его никому никогда не отдам!

Lise смотрела на него в восхищении.

— Алеша, — залепетала она опять, — посмотрите у дверей, не подслушивает ли мамаша?

— Хорошо, Lise, я посмотрю, только не лучше ли не смотреть, а? Зачем подозревать в такой низости вашу мать?

— Как низости? В какой низости? Это то, что

она подслушивает за дочерью, так это ее право, а не низость, — вспыхнула Lise. — Будьте уверены, Алексей Федорович, что когда я сама буду матерью и у меня будет такая же дочь, как я, то я непременно буду за нею подслушивать.

— Неужели, Lise? Это нехорошо.

— Ах, боже мой, какая тут низость? Если б обыкновенный светский разговор какой-нибудь и я бы подслушивала, то это низость, а тут родная дочь заперлась с молодым человеком… Слушайте, Алеша, знайте, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся, и знайте еще, что я все письма ваши буду распечатывать и всё читать… Это уж вы будьте предуведомлены…

— Да, конечно, если так… — бормотал Алеша, — только это нехорошо…

— Ах, какое презрение! Алеша, милый, не будем ссориться с самого первого раза, — я вам лучше всю правду скажу: это, конечно, очень дурно подслушивать, и, уж конечно, я не права, а вы правы, но только я все-таки буду подслушивать.

— Делайте. Ничего за мной такого не подглядите, — засмеялся Алеша.

— Алеша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить.

— С большою охотой, Lise, и непременно, толь-

ко не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной несогласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит.

— Так и нужно. Так знайте, что и я, напротив, не только в самом главном подчиняться готова, но и во всем уступлю вам и вам теперь же клятву в этом даю — во всем и на всю жизнь, — вскричала пламенно Lise, — и это со счастием, со счастием! Мало того, клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать, ни разу и никогда, ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет. И хоть мне ужасно будет хотеться подслушивать, я это знаю, но я все-таки не буду, потому что вы считаете это неблагородным. Вы теперь как мое провидение… Слушайте, Алексей Федорович, почему вы такой грустный все эти дни, и вчера и сегодня; я знаю, что у вас есть хлопоты, бедствия, но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть, секретная может быть, а?

— Да, Lise, есть и секретная, — грустно произнес Алеша. — Вижу, что меня любите, коли угадали это.

— Какая же грусть? О чем? Можно сказать? — с робкою мольбой произнесла Lise.

— Потом скажу, Lise… после… — смутился Але-

ша. — Теперь, пожалуй, и непонятно будет. Да я, пожалуй, и сам не сумею сказать.

— Я знаю, кроме того, что вас мучают ваши братья, отец?

— Да, и братья, — проговорил Алеша, как бы в раздумье.

— Я вашего брата Ивана Федоровича не люблю, Алеша, — вдруг заметила Lise.

Алеша замечание это отметил с некоторым удивлением, но не поднял его.

— Братья губят себя, — продолжал он, — отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут «земляная карамазовская сила», как отец Паисий намедни выразился, — земляная и неистовая, необделанная… Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы — и того не знаю. Знаю только, что и сам я Карамазов… Я монах, монах? Монах я, Lise? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?

— Да, сказала.

— А я в Бога-то вот, может быть, и не верую.

— Вы не веруете, что с вами? — тихо и осторожно проговорила Lise. Но Алеша не ответил на это. Было тут, в этих слишком внезапных словах его нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее.

— И вот теперь, кроме всего, мой друг уходит, первый в мире человек, землю покидает. Если бы вы знали, если бы вы знали, Lise, как я связан, как я спаян душевно с этим человеком! И вот я останусь один… Я к вам приду, Lise… Впредь будем вместе…

— Да, вместе, вместе! Отныне всегда вместе на всю жизнь. Слушайте, поцелуйте меня, я позволяю.

Алеша поцеловал ее.

— Ну теперь ступайте, Христос с вами! (И она перекрестила его.) Ступайте скорее *к нему*, пока жив. Я вижу, что жестоко вас задержала. Я буду сегодня молиться за него и за вас. Алеша, мы будем счастливы! Будем мы счастливы, будем?

— Кажется, будем, Lise.

Выйдя от Lise, Алеша не заблагорассудил пройти к госпоже Хохлаковой и, не простясь с нею, направился было из дому. Но только что отворил дверь и вышел на лестницу, откуда ни возьмись пред ним сама госпожа Хохлакова. С первого слова Алеша догадался, что она поджидала его тут нарочно.

— Алексей Федорович, это ужасно. Это детские пустяки и все вздор. Надеюсь, вы не вздумаете мечтать… Глупости, глупости и глупости! — на-

кинулась она на него.

— Только не говорите этого ей, — сказал Алеша, — а то она будет взволнована, а это ей теперь вредно.

— Слышу благоразумное слово благоразумного молодого человека. Понимать ли мне так, что вы сами только потому соглашались с ней, что не хотели, из сострадания к ее болезненному состоянию, противоречием рассердить ее?

— О нет, совсем нет, я совершенно серьезно с нею говорил, — твердо заявил Алеша.

— Серьезность тут невозможна, немыслима, и во-первых, я вас теперь совсем не приму ни разу, а во-вторых, я уеду и ее увезу, знайте это.

— Да зачем же, — сказал Алеша, — ведь это так еще неблизко, года полтора еще, может быть, ждать придется.

— Ах, Алексей Федорович, это, конечно, правда, и в полтора года вы тысячу раз с ней поссоритесь и разойдетесь. Но я так несчастна, так несчастна! Пусть это все пустяки, но это меня сразило. Теперь я как Фамусов в последней сцене, вы Чацкий, она Софья, и представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить, а ведь и там все роковое произошло на лестнице. Я все слышала, я едва устояла. Так вот где объяснение

ужасов всей этой ночи и всех давешних истерик! Дочке любовь, а матери смерть. Ложись в гроб. Теперь второе и самое главное: что это за письмо, которое она вам написала, покажите мне его сейчас, сейчас!

— Нет, не надо. Скажите, как здоровье Катерины Ивановны, мне очень надо знать.

— Продолжает лежать в бреду, она не очнулась; ее тетки здесь и только ахают и надо мной гордятся, а Герценштубе приехал и так испугался, что я не знала, что с ним и делать и чем его спасти, хотела даже послать за доктором. Его увезли в моей карете. И вдруг в довершение всего вы вдруг с этим письмом. Правда, все это еще через полтора года. Именем всего великого и святого, именем умирающего старца вашего покажите мне это письмо, Алексей Федорович, мне, матери! Если хотите, то держите его пальцами, а я буду читать из ваших рук.

— Нет, не покажу, Катерина Осиповна, хотя бы и она позволила, я не покажу. Я завтра приду и, если хотите, я с вами о многом переговорю, а теперь — прощайте!

И Алеша выбежал с лестницы на улицу.

II

Смердяков с гитарой

Да и некогда было ему. У него блеснула мысль, еще когда он прощался с Lise. Мысль о том: как бы самым хитрейшим образом поймать сейчас брата Дмитрия, от него, очевидно, скрывающегося? Было уже не рано, был час третий пополудни. Всем существом своим Алеша стремился в монастырь к своему «великому» умирающему, но потребность видеть брата Дмитрия пересилила все: в уме Алеши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться. В чем именно состояла катастрофа и что хотел бы он сказать сию минуту брату, может быть, он и сам бы не определил. «Пусть благодетель мой умрет без меня, но по крайней мере я не буду укорять себя всю жизнь, что, может быть, мог бы что спасти и не спас, прошел мимо, торопился в свой дом. Делая так, по его великому слову сделаю…»

План его состоял в том, чтобы захватить брата Дмитрия нечаянно, а именно: перелезть, как вчера, через тот плетень, войти в сад и засесть в ту беседку. «Если же его там нет, — думал Але-

ша, — то, не сказавшись ни Фоме, ни хозяйкам, притаиться и ждать в беседке хотя бы до вечера. Если он по-прежнему караулит приход Грушеньки, то очень может быть, что и придет в беседку…» Алеша, впрочем, не рассуждал слишком много о подробностях плана, но он решил его исполнить, хотя бы пришлось и в монастырь не попасть сегодня…

Все произошло без помехи: он перелез через плетень почти в том самом месте, как вчера, и скрытно пробрался в беседку. Ему не хотелось, чтоб его заметили: и хозяйка, и Фома (если он тут) могли держать сторону брата и слушаться его приказаний, а стало быть, или в сад Алешу не пустить, или брата предуведомить вовремя, что его ищут и спрашивают. В беседке никого не было. Алеша сел на свое вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку, она показалась ему почему-то гораздо более ветхою, чем вчера, дрянною такою показалась ему в этот раз. День был, впрочем, такой же ясный, как и вчера. На зеленом столе отпечатался кружок от вчерашней, должно быть, расплескавшейся рюмки с коньяком. Пустые и непригодные к делу мысли, как и всегда во время скучного ожидания, лезли ему в голову: например, почему он, войдя

теперь сюда, сел именно точь-в-точь на то самое место, на котором вчера сидел, и почему не на другое? Наконец ему стало очень грустно, грустно от тревожной неизвестности. Но не просидел он и четверти часа, как вдруг, очень где-то вблизи, послышался аккорд гитары. Сидели или только сейчас уселся кто-то шагах от него в двадцати, никак не дальше, где-нибудь в кустах. У Алеши вдруг мелькнуло воспоминание, что, уходя вчера от брата из беседки, он увидел, или как бы мелькнула пред ним влево у забора садовая зеленая низенькая старая скамейка между кустами. На ней-то, стало быть, и уселись теперь гости. Кто же? Один мужской голос вдруг запел сладенькою фистулою куплет, аккомпанируя себе на гитаре:

Непобедимой силой
Привержен я к милой.
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!

Голос остановился. Лакейский тенор и выверт песни лакейский. Другой, женский уже, голос

вдруг произнес ласкательно и как бы робко, но с большим, однако, жеманством:

— Что вы к нам долго не ходите, Павел Федорович, что вы нас всё презираете?

— Ничего-с, — ответил мужской голос, хотя и вежливо, но прежде всего с настойчивым и твердым достоинством. Видимо, преобладал мужчина, а заигрывала женщина. «Мужчина — это, кажется, Смердяков, — подумал Алеша, — по крайней мере по голосу, а дама — это, верно, хозяйки здешнего домика дочь, которая из Москвы приехала, платье со шлейфом носит и за супом к Марфе Игнатьевне ходит…»

— Ужасно я всякий стих люблю, если складно, — продолжал женский голос. — Что же вы не продолжаете?

Голос запел снова:

Царская корона –
Была бы моя милая здорова.
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!

— В прошлый раз еще лучше выходило, — за-

метил женский голос. — Вы спели про корону: «Была бы моя милочка здорова». Этак нежнее выходило, вы, верно, сегодня позабыли.

— Стихи вздор-с, — отрезал Смердяков.

— Ах нет, я очень стишок люблю.

— Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с? Стихи не дело, Марья Кондратьевна.

— Как вы во всем столь умны, как это вы во всем произошли? — ласкался все более и более женский голос.

— Я бы не то еще мог-с, я бы и не то еще знал-с, если бы не жребий мой с самого моего сыздетства. Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от Смердящей произошел, а они и в Москве это мне в глаза тыкали, отсюда благодаря Григорию Васильевичу переползло-с. Григорий Васильевич попрекает, что я против рождества бунтую: «Ты, дескать, ей ложесна разверз». Оно пусть ложесна, но я бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с. На базаре говорили, а ваша маменька тоже

рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с *малыим*. Для чего же с *малыим*, когда можно просто «с малым» сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось, так ведь это мужицкая, так сказать, слеза-с, мужицкие самые чувства. Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу, бывало, «с малыим», так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

— Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

— Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.

— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые

французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.

— Да будто они там у себя так уж лучше наших? Я иного нашего щеголечка на трех молодых самых англичан не променяю, — нежно проговорила Марья Кондратьевна, должно быть, сопровождая в эту минуту слова свои самыми томными глазками.

— Это как кто обожает-с.

— А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец, уж это я вам чрез стыд говорю.

— Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с.

— Вы Ивана Федоровича, говорили сами, так уважаете.

— А они про меня отнеслись, что я вонючий лакей. Они меня считают, что бунтовать могу; это они ошибаются-с. Была бы в кармане моем

такая сумма, и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своею-с, и ничего-то он не умеет делать, а, напротив, от всех почтен. Я, положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке. Потому что я готовлю специально, а ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович голоштанник-с, а вызови он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет-с, а чем он лучше меня-с? Потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с.

— На дуэли очень, я думаю, хорошо, — заметила вдруг Марья Кондратьевна.

— Чем же это-с?

— Страшно так и храбро, особенно коли молодые офицерики с пистолетами в руках один против другого палят за которую-нибудь. Просто картинка. Ах, кабы девиц пускали смотреть, я ужасно как хотела бы посмотреть.

— Хорошо коли сам наводит, а коли ему самому в самое рыло наводят, так оно тогда самое глупое чувство-с. Убежите с места, Марья Кондратьевна.

— Неужто вы побежали бы?

Но Смердяков не удостоил ответить. После минутного молчания раздался опять аккорд и фистула залилась последним куплетом:

Сколько ни стараться
Стану удаляться,
Жизнью наслажда-а-аться
И в столице жить!
Не буду тужить.
Совсем не буду тужить,
Совсем даже не намерен тужить!

Тут случилась неожиданность: Алеша вдруг чихнул; на скамейке мигом притихли. Алеша встал и пошел в их сторону. Это был действительно Смердяков, разодетый, напомаженный и чуть ли не завитой, в лакированных ботинках. Гитара лежала на скамейке. Дама же была Марья Кондратьевна, хозяйкина дочка; платье на ней было светло-голубое, с двухаршинным хвостом; девушка была еще молоденькая и недурная бы собой, но с очень уж круглым лицом и со страшными веснушками.

— Брат Дмитрий скоро воротится? — сказал Алеша как можно спокойнее.

Смердяков медленно приподнялся со скамей-

ки; приподнялась и Марья Кондратьевна.

— Почему ж бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича; другое дело, кабы я при них сторожем состоял? — тихо, раздельно и пренебрежительно ответил Смердяков.

— Да я просто спросил, не знаете ли? — объяснил Алеша.

— Ничего я про ихнее пребывание не знаю, да и знать не желаю-с.

— А брат мне именно говорил, что вы-то и даете ему знать обо всем, что в доме делается, и обещались дать знать, когда придет Аграфена Александровна.

Смердяков медленно и невозмутимо вскинул на него глазами.

— А вы как изволили на сей раз пройти, так как ворота здешние уж час как на щеколду затворены? — спросил он, пристально смотря на Алешу.

— А я прошел с переулка через забор прямо в беседку. Вы, надеюсь, извините меня в этом, — обратился он к Марье Кондратьевне, — мне надо было захватить скорее брата.

— Ах, можем ли мы на вас обижаться, — протянула Марья Кондратьевна, польщенная извинением Алеши, — так как и Дмитрий Федорович

часто этим манером в беседку ходят, мы и не знаем, а он уж в беседке сидит.

— Я его теперь очень ищу, я очень бы желал его видеть или от вас узнать, где он теперь находится. Поверьте, что по очень важному для него же самого делу.

— Они нам не сказываются, — пролепетала Марья Кондратьевна.

— Хотя бы я и по знакомству сюда приходил, — начал вновь Смердяков, — но они и здесь меня бесчеловечно стеснили беспрестанным спросом про барина: что, дескать, да как у них, кто приходит и кто таков уходит, и не могу ли я что иное им сообщить? Два раза грозили мне даже смертью.

— Как это смертью? — удивился Алеша.

— А для них разве это что составляет-с, по их-нему характеру, который сами вчера изволили наблюдать-с. Если, говорят, Аграфену Александровну пропущу и она здесь переночует, — не быть тебе первому живу. Боюсь я их очень-с, и кабы не боялся еще пуще того, то заявить бы должен на них городскому начальству. Даже бог знает что произвести могут-с.

— Намедни сказали им: «В ступе тебя истолку», — прибавила Марья Кондратьевна.

— Ну если в ступе, то это только, может быть,

разговор… — заметил Алеша. — Если б я его мог сейчас встретить, я бы мог ему что-нибудь и об этом сказать…

— Вот что единственно могу сообщить, — как бы надумался вдруг Смердяков. — Бываю я здесь по всегдашнему соседскому знакомству, и как же бы я не ходил-с? С другой стороны, Иван Федорович чем свет сегодня послали меня к ним на квартиру в ихнюю Озерную улицу, без письма-с, с тем чтобы Дмитрий Федорович на словах непременно пришли в здешний трактир-с на площади, чтобы вместе обедать. Я пошел-с, но Дмитрия Федоровича я на квартире ихней не застал-с, а было уж восемь часов. «Был, говорят, да весь вышел» — этими самыми словами их хозяева сообщили. Тут точно у них заговор какой-с, обоюдный-с. Теперь же, может быть, они в эту самую минуту в трактире этом сидят с братцем Иваном Федоровичем, так как Иван Федорович домой обедать не приходили, а Федор Павлович отобедали час тому назад одни и теперь почивать легли. Убедительнейше, однако, прошу, чтобы вы им про меня и про то, что я сообщил, ничего не говорили-с, ибо они ни за что убьют-с.

— Брат Иван звал Дмитрия сегодня в трактир? — быстро переспросил Алеша.

— Это точно так-с.

— В трактир «Столичный город», на площади?

— В этот самый-с.

— Это очень возможно! — воскликнул Алеша в большом волнении. — Благодарю вас, Смердяков, известие важное, сейчас пойду туда.

— Не выдавайте-с, — проговорил ему вслед Смердяков.

— О нет, я в трактир явлюсь как бы нечаянно, будьте покойны.

— Да куда же вы, я вам калитку отопру, — крикнула было Марья Кондратьевна.

— Нет, здесь ближе, я опять чрез плетень.

Известие страшно потрясло Алешу. Он пустился к трактиру. В трактир ему входить было в его одежде неприлично, но осведомиться на лестнице и вызвать их, это было возможно. Но только что он подошел к трактиру, как вдруг отворилось одно окно и сам брат Иван закричал ему из окна вниз:

— Алеша, можешь ты ко мне сейчас войти сюда или нет? Одолжишь ужасно.

— Очень могу, только не знаю, как мне в моем платье.

— А я как раз в отдельной комнате, ступай на крыльцо, я сбегу навстречу…

Через минуту Алеша сидел рядом с братом. Иван был один и обедал.

III

Братья знакомятся

Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган. Алеша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил и до трактиров вообще не охотник; стало быть, именно потому только и очутился здесь, подумал он, чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И, однако, брата Дмитрия не было.

— Прикажу я тебе ухи аль чего-нибудь, не чаем же ведь ты одним живешь, — крикнул Иван, по-видимому ужасно довольный, что залучил

Алешу. Сам он уж кончил обед и пил чай.

— Ухи давай, давай потом и чаю, я проголодался, — весело проговорил Алеша.

— А варенья вишневого? Здесь есть. Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил?

— А ты это помнишь? Давай и варенья, я и теперь люблю.

Иван позвонил полового и приказал уху, чай и варенья.

— Я все помню, Алеша, я помню тебя до одиннадцати лет, мне был тогда пятнадцатый год. Пятнадцать и одиннадцать, это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал об тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали слова. Завтра я уезжаю и думал сейчас, здесь сидя: как бы мне его увидеть, чтобы проститься, а ты и идешь мимо.



— А ты очень желал меня увидать?

— Очень, я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня

смотрел все эти три месяца, в глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание, а вот этого-то я и не терплю, оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать: твердо, дескать, стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю, на чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен; напротив, полюбил я наконец твой ожидающий взгляд… Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша?

— Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя: Иван — могила. Я говорю про тебя: Иван — загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра!

— Что ж это такое? — засмеялся Иван.

— А не рассердишься? — засмеялся и Алеша.

— Ну?

— А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные двадцатитрехлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый, наконец, мальчик! Что, не очень тебя обидел?

— Напротив, поразил совпадением! — весело

и с жаром вскричал Иван. — Веришь ли, что я, после давешнего нашего свидания у ней, только об этом про себя и думал, об этой двадцатитрехлетней моей желторотости, а ты вдруг теперь точно угадал и с этого самого начинаешь. Я сейчас здесь сидел и знаешь что говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования — а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду… не знаю куда. Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она

отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь

просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь… Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? — засмеялся вдруг Иван.

— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.

— Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, может быть! А в чем она, вторая твоя половина?

— В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван.

— Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно

я люблю такие professions de foi[17] вот от таких… послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?

— Правда. Мой старец меня в мир посылает.

— Увидимся еще, стало быть, в миру-то, встретимся до тридцати-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до восьмидесяти даже мечтает, сам говорил, у него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне… хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем, пожалуй, стать, кроме как на этом… Но до семидесяти подло, лучше до тридцати: можно сохранить «оттенок благородства», себя надувая. Не видал сегодня Дмитрия?

— Нет, не видал, но я Смердякова видел. — И Алеша рассказал брату наскоро и подробно о своей встрече с Смердяковым.

Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, кое-что даже переспросил.

— Только он просил меня брату Дмитрию не сказывать о том, что он о нем говорил, — прибавил Алеша.

---

[17] Сноски: 17
Исповедания веры (*фр.*).

Иван нахмурился и задумался.

— Ты это из-за Смердякова нахмурился? — спросил Алеша.

— Да, из-за него. К черту его, Дмитрия я действительно хотел было видеть, но теперь не надо… — неохотно проговорил Иван.

— А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?

— Да.

— Что же Дмитрий и отец? Чем это у них кончится? — тревожно промолвил Алеша.

— А ты все свою канитель! Да я-то тут что? Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию? — раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. — Каинов ответ Богу об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту? Но, черт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем? Дела кончил и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивал у него все эти три месяца его красавицу Катерину Ивановну. Э, черт, у меня свои дела были. Дела кончил и еду. Дела давеча кончил, ты был свидетелем.

— Это давеча у Катерины Ивановны?

— Да, у ней, и разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут ни при чем. У меня были только собственные дела с Ка-

териною Ивановною. Сам ты знаешь, напротив, что Дмитрий вел себя так, как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько, а он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет, если бы ты знал, как я себя теперь легко чувствую! Я вот здесь сидел и обедал и, веришь ли, хотел было спросить шампанского, чтоб отпраздновать первый мой час свободы. Тьфу, полгода почти — и вдруг разом, все разом снял. Ну подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить!

— Ты про любовь свою говоришь, Иван?

— Любовь, если хочешь, да, я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, и она меня мучила. Сидел над ней… и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и расхохотался — веришь этому. Нет, я буквально говорю.

— Ты и теперь так это весело говоришь, — заметил Алеша, вглядываясь в его в самом деле повеселевшее вдруг лицо.

— Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю! Хе-хе! Вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась! Как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, и теперь

нравится ужасно, а между тем как легко от нее уехать. Ты думаешь, я фанфароню?

— Нет. Только это, может, не любовь была.

— Алешка, — засмеялся Иван, — не пускайся в рассуждения о любви! Тебе неприлично. Давеча-то, давеча-то ты выскочил, ай! Я еще и забыл поцеловать тебя за это… А мучила-то она меня как! Воистину у надрыва сидел. Ох, она знала, что я ее люблю! Любила меня, а не Дмитрия, — весело настаивал Иван. — Дмитрий только надрыв. Все, что я давеча ей говорил, истинная правда. Но только в том дело, самое главное, что ей нужно, может быть, лет пятнадцать аль двадцать, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да, пожалуй, и не догадается она никогда, несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше: встал да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?

Алеша рассказал ему об истерике и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду.

— А не врет Хохлакова?

— Кажется, нет.

— Надо справиться. От истерики, впрочем, никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика,

Бог женщине послал истерику любя. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять.

— Ты, однако же, давеча ей сказал, что она никогда тебя не любила.

— Это я нарочно. Алешка, прикажу-ка я шампанского, выпьем за мою свободу. Нет, если бы ты знал, как я рад!

— Нет, брат, не будем лучше пить, — сказал вдруг Алеша, — к тому же мне как-то грустно.

— Да, тебе давно грустно, я это давно вижу.

— Так ты непременно завтра утром поедешь?

— Утром? Я не говорил, что утром… А впрочем, может, и утром. Веришь ли, я ведь здесь обедал сегодня, единственно чтобы не обедать со стариком, до того он мне стал противен. Я от него от одного давно бы уехал. А ты что так беспокоишься, что я уезжаю. У нас с тобой еще бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие!

— Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность?

— Да нас-то с тобой чем это касается? — засмеялся Иван, — ведь свое-то мы успеем все-таки переговорить, свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о люб-

ви к Катерине Ивановне, о старике и Дмитрии? О заграницe? О роковом положении России? Об императоре Наполеоне? Так ли, для этого ли?

— Нет, не для этого.

— Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: «Како веруеши али вовсе не веруеши?» — вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?

— Пожалуй что и так, — улыбнулся Алеша. — Ты ведь не смеешься теперь надо мною, брат?

— Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь

прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?

— Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, — конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо, — проговорил Алеша, все с тою же тихою и испытующею улыбкой вглядываясь в брата.

— Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно, но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю.

— Как ты это славно подвел, — засмеялся вдруг Алеша.

— Ну говори же, с чего начинать, приказывай сам, — с Бога? Существует ли Бог, что ли?

— С чего хочешь, с того и начинай, хоть с «другого конца». Ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет Бога, — пытливо поглядел на брата Алеша.

— Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил и видел, как у тебя разгорелись глазки. Но теперь я вовсе не прочь с тобой переговорить и говорю это очень серьезно. Я с тобой хочу сойтись, Алеша, потому что у меня нет друзей, попробовать хочу. Ну, представь же себе, может быть, и я принимаю Бога, — засмеялся Иван, — для тебя это неожиданно, а?

— Да, конечно, если ты только и теперь не шутишь.

— «Шутишь». Это вчера у старца сказали, что я шучу. Видишь, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать, s'il n'existait pas Dieu il faudrait l'inventer. И действительно, человек выдумал Бога. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль — мысль о необходимости Бога — могла залезть в голову такому дикому и злому

животному, как человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том: человек ли создал Бога или Бог человека? Не стану я, разумеется, перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы. Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтоб я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть, то есть что я за человек, во что верую и на что надеюсь, ведь так, так? А потому и объявляю, что принимаю Бога прямо и просто. Но вот, однако, что надо отметить: если Бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная

или, еще обширнее — все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет Бога: есть ли он или нет? Всё это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к Богу» и которое есть само Бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге — а? Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира

этого Божьего — не принимаю и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, — пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, Алеша, вот мой тезис. Это уж я серьезно тебе высказал. Я нарочно начал этот наш с тобой разговор как глупее нельзя начать, но довел до моей исповеди, потому что ее только тебе и надо. Не о Боге тебе нужно было,

а лишь нужно было узнать, чем живет твой любимый тобою брат. Я и сказал.

Иван заключил свою длинную тираду вдруг с каким-то особенным и неожиданным чувством.

— А для чего ты начал так, как «глупее нельзя начать»? — спросил Алеша, задумчиво смотря на него.

— Да, во-первых, хоть для русизма: русские разговоры на эти темы все ведутся как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее.

— Ты мне объяснишь, для чего «мира не принимаешь»? — проговорил Алеша.

— Уж конечно, объясню, не секрет, к тому и вел. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою, — улыбнулся вдруг Иван, совсем как маленький кроткий мальчик. Никогда еще Алеша не видал у него такой улыбки.

IV

Бунт

— Я тебе должен сделать одно признание, — начал Иван: — я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала любовь.

— Об этом не раз говорил старец Зосима, — заметил Алеша, — он тоже говорил, что лицо человека часто многим еще неопытным в любви людям мешает любить. Но ведь есть и много любви в человечестве, и почти подобной Христовой любви, это я сам знаю, Иван…

— Ну я-то пока еще этого не знаю и понять

не могу, и бесчисленное множество людей со мной тоже. Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж оттого, что такова их натура. По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но мы-то не боги. Положим, я, например, глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и, сверх того, редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдавил ему ногу. К тому же страдание и страдание: унизительное страдание, унижающее меня, голод например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое, по его фантазии, должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы бы-

ли наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется. Но, во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет

понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось в свою карьеру, избивая целые семейства в домах, в которые забирался по ночам для грабежа, зарезать заодно несколько и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на тюремном дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходить к нему под окно, и тот очень сдружился с ним… Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит, и мне грустно.

— Ты говоришь с странным видом, — с беспокойством заметил Алеша, — точно ты в каком

безумии.

— Кстати, мне недавно рассказывал один болгарин в Москве, — продолжал Иван Федорович, как бы и не слушая брата, — как турки и черкесы там у них, в Болгарии, повсеместно злодействуют, опасаясь поголовного восстания славян, — то есть жгут, режут, насилуют женщин и детей, прибивают арестантам уши к забору гвоздями и оставляют так до утра, а поутру вешают — и проч., всего и вообразить невозможно. В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если б он даже и мог это сделать. Эти турки, между прочим, с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезания их кинжалом из чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. На глазах-то матерей и составляло главную сладость. Но вот, однако, одна меня сильно заинтересовавшая картинка. Представь: грудной младенчик на руках трепещущей матери, кру-

гом вошедшие турки. У них затеялась веселая штучка: они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтоб схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку… Художественно, не правда ли? Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое.

— Брат, к чему это все? — спросил Алеша.

— Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.

— В таком случае, равно как и Бога.

— А ты удивительно как умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в «Гамлете», — засмеялся Иван. — Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию. Ты спросил сейчас, для чего я это все: я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков и, веришь ли, записываю и собираю из газет и рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция. Турки, конечно, вошли в коллекцию, но это всё иностранцы. У меня есть

и родные штучки и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально: у нас прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть — это нечто уже наше и не может быть у нас отнято. За границей теперь как будто и не бьют совсем, нравы, что ли, очистились, али уж законы такие устроились, что человек человека как будто уж и не смеет посечь, но зато они вознаградили себя другим и тоже чисто национальным, как и у нас, и до того национальным, что у нас оно как будто и невозможно, хотя, впрочем, кажется, и у нас прививается, особенно со времени религиозного движения в нашем высшем обществе. Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве, очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, двадцатитрехлетнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом. Этот Ришар был чей-то незаконнорожденный, которого еще младенцем лет шести *подарили* родители каким-то горным швейцарским пастухам, и те его взрастили, чтоб употреблять в работу. Рос он у них как дикий зверенок, не научили его пастухи ничему, напротив,

семи лет уже посылали пасти стадо, в мокреть и в холод, почти без одежды и почти не кормя его. И уж конечно, так делая, никто из них не задумывался и не раскаивался, напротив, считал себя в полном праве, ибо Ришар подарен им был как вещь, и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям, но ему не давали даже и этого и били, когда он крал у свиней, и так провел он все детство свое и всю юность, до тех пор пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти. Там ведь не сентиментальничают. И вот в тюрьме его немедленно окружают пасторы и члены разных Христовых братств, благотворительные дамы и проч. Научили они его в тюрьме читать и писать, стали толковать ему Евангелие, усовещевали, убеждали, напирали, пилили, давили, и вот он сам торжественно сознается наконец в своем преступлении. Он обратился, он написал сам суду,

что он изверг и что наконец-таки он удостоился того, что и его озарил Господь и послал ему благодать. Все взволновалось в Женеве, вся благотворительная и благочестивая Женева. Все, что было высшего и благовоспитанного, ринулось к нему в тюрьму; Ришара целуют, обнимают: «Ты брат наш, на тебя сошла благодать!» А сам Ришар только плачет в умилении: «Да, на меня сошла благодать! Прежде я все детство и юность мою рад был корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во Господе!» — «Да, да, Ришар, умри во Господе, ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты невиновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм (что ты делал очень нехорошо, ибо красть не позволено), — но ты пролил кровь и должен умереть». И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: «Это лучший из дней моих, я иду к Господу!» — «Да, — кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы, — это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!» Все это двигается к эшафоту вслед за позорною колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота: «Умри,

брат наш, — кричат Ришару, — умри во Господе, ибо и на тебя сошла благодать!» И вот покрытого поцелуями братьев брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Нет, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшего общества и разослана для просвещения народа русского при газетах и других изданиях даром. Штука с Ришаром хороша тем, что национальна. У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам брат и что на него сошла благодать, но, повторяю, у нас есть свое, почти что не хуже. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, «по кротким глазам». Этого кто ж не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает, в опьянении битья сечет больно, бесчисленно: «Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!» Клячонка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную,

по плачущим, по «кротким глазам». Вне себя она рванула и вывезла и пошла, вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно — у Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь, лошадей и сам Бог дал, чтоб их сечь. Так татары нам растолковали и кнут на память подарили. Но можно ведь сечь и людей. И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами — об этом у меня подробно записано. Папенька рад, что прутья с сучками, «садче будет», говорит он, и вот начинает «сажать» родную дочь. Я знаю наверно, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!» Дело каким-то чертовым неприличным случаем доходит до суда. Нанимается адвокат. Русский народ давно уже назвал у нас адвоката — «аблакат — нанятая совесть». Адвокат кричит в защиту своего клиента. «Дело, дескать, такое простое, семейное

и обыкновенное, отец посек дочку, и вот, к стыду наших дней, дошло до суда!» Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. Э-эх, меня не было там, я бы рявкнул предложение учредить стипендию в честь имени истязателя!.. Картинки прелестные. Но о детках есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русских детках, Алеша. Девчоночку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать, «почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные». Видишь, я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многих в человечестве — это любовь к истязанию детей, но одних детей. Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко, как образованные и гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, — вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь гневливости, зверь сладострастной распаля-

емости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу, спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и проч. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься), — за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «Боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта

ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша.

— Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная, и главное, только что прочел в одном из сборников наших древностей, в «Архиве», в «Старине», что ли, надо справиться, забыл даже, где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия, и да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких (правда, и тогда уже, кажется, очень немногих), которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот жи-

вет генерал в своем поместье в две тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая охромела?» Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты, — оглядел его генерал, — взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, наутро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть… «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — кричат ему псари, мальчик бежит… «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала,

кажется, в опеку взяли. Ну… что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!

— Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.

— Браво! — завопил Иван в каком-то восторге, — уж коли ты сказал, значит… Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!

— Я сказал нелепость, но…

— То-то и есть, что но… — кричал Иван. — Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем, что знаем!

— Что ты знаешь?

— Я ничего не понимаю, — продолжал Иван как бы в бреду, — я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте…

— Для чего ты меня испытуешь? — с надрывом горестно воскликнул Алеша, — скажешь ли мне наконец?

— Конечно, скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме.

Иван помолчал с минуту, лицо его стало вдруг очень грустно.

— Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам

и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот, однако же, детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю — вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех

злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: «Прав ты, Господи», то уж, конечно, настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молил-

ся в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться

лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ*. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

— Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша.

— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.

— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?

— Нет, не могу допустить. Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся *и за все*, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и созиждается здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои».

— А, это «единый безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять, то я б ее тебе рассказал?

— Ты написал поэму?

— О нет, не написал, — засмеялся Иван, — и ни-

когда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то есть слушатель. Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя, — усмехнулся Иван. — Рассказывать или нет?

— Я очень слушаю, — произнес Алеша.

— Поэма моя называется «Великий инквизитор», вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.

V

Великий инквизитор

— Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия, тьфу! — засмеялся Иван, — а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, — тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, — тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа

и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В «Notre Dame de Paris»[18] у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: «Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie»[19], где и является она сама лично и произносит свой bon jugement[20]. У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад,

---

[18] Сноски: 18
«Собор Парижской Богоматери» (*фр*.).

[19] Сноски: 19
«Милосердный суд пресвятой и всемилостивой Девы Марии» (*фр*.).

[20] Сноски: 20
Милосердный суд (*фр*.).

и руководит ее «по мукам» архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает Бог» — выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, — то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему: «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло

тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви), «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут

пострадать и умереть за него, как и прежде… И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи явися нам», столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их «житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу, — к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, он возжелал хоть на мгновенье посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном автодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков ad majorem gloriam Dei[21]. Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди

[21] Сноски: 21
К вящей славе Господней (*лат.*).

их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это он, это сам он, — повторяют все, — это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавлива-

ется, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» — «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, — нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен,

покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? ты? — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет

завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь», — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

— Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? — улыбнулся все время молча слушавший Алеша, — прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное qui pro quo[22]?

— Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван, — если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического — хочешь qui pro quo, то пусть так и будет. Оно правда, — рассмеялся он опять, — старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчераш-

[22] Сноски: 22
«Одно вместо другого», путаница, недоразумение (*лат.*).

ним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что qui pro quo, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

— А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

— Да так и должно быть во всех даже случаях, — опять засмеялся Иван. — Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: «все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? — спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, — нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был

на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: „Хочу сделать вас свободными“. Но вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей, — прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. — Да, это дело нам дорого стоило, — продолжает он, строго смотря на него, — но мы докончили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?»

— Я опять не понимаю, — прервал Алеша, — он иронизирует, смеется?

— Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он,

конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он ему, — ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»

— А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? — спросил Алеша.

— А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-

нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов — и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, — то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая исто-

рия человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: „Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои“. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?

Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: „Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!“ Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“ — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: „Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали“. И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем,

что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: „Лучше поработите нас, но накормите нас“. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивить-

ся на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать — так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв „хлебы“, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе — это: „пред кем преклониться?“ Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно

все вместе. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: „Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!“ И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, — знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит

хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, — и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен

был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, — но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: „Если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в Отца твоего“, но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно,

ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и без-

божником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: „Сойди со креста и уверуем, что это ты“. Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, — и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут

храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастие — вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты осталь-

ные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на *чуде, тайне* и *авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовию облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это

в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с *ним*, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться

непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за *ним*. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: „Тайна!“ Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастия. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще:

сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут *свободное* знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих“. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них,

чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно

трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних

мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих *тайну*, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее „гадкое“ тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: „Суди нас, если можешь и смеешь“. Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался

акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой „восполнить число“. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили подвиг твой*. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi[23]».

Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся.

Алеша, все слушавший его молча, под конец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но видимо себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места.

---

[23] Сноски: 23
Так я сказал (*лат.*).

— Но… это нелепость! — вскричал он, краснея. — Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула… как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии… Это Рим, да и Рим не весь, это неправда — это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастия людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то… Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором — римским первосвященником во главе… вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти… Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения… вроде будущего крепостного права, с тем что они станут помещиками… вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия…

— Да стой, стой, — смеялся Иван, — как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть! Конечно, фантазия. Но позволь, однако: неужели ты

в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ? Уж не отец ли Паисий так тебя учит?

— Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего… но, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша.

— Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: «совсем не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ — хоть один только такой, как мой старик инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ

Божиих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своею свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул… к умным людям. Неужели этого не могло случиться?

— К кому примкнул, к каким умным людям? — почти в азарте воскликнул Алеша. — Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов… Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!

— Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного

духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, «жаждущей власти для одних только грязных благ», то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие,

как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь… Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.

— Ты, может быть, сам масон! — вырвалось вдруг у Алеши. — Ты не веришь в Бога, — прибавил он, но уже с чрезвычайною скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. — Чем же кончается твоя поэма? — спросил он вдруг, смотря в землю, — или уж она кончена?

— Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горь-

кое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!» И выпускает его на «темные стогна града». Пленник уходит.

— А старик?

— Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.

— И ты вместе с ним, и ты? — горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся.

— Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал: мне бы только до тридцати лет дотянуть, а там — кубок об пол!

— А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? — горестно восклицал Алеша. — С таким адом в груди и в го-

лове разве это возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть… а если нет, то убьешь себя сам, а не выдержишь!

— Есть такая сила, что все выдержит! — с холодною уже усмешкою проговорил Иван.

— Какая сила?

— Карамазовская… сила низости карамазовской.

— Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?

— Пожалуй, и это… только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там…

— Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями.

— Опять-таки по-карамазовски.

— Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли, так ли?

Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.

— А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов… и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? — криво усмехнулся он. — Да, пожалуй: «все позволено», если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина недурна.

Алеша молча глядел на него.

— Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя, — с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван, — а теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы «все позволено» я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да?

Алеша встал, подошел к нему и молча тихо поцеловал его в губы.

— Литературное воровство! — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг, — это ты украл из моей поэмы! Спасибо, однако. Вставай, Алеша, идем, пора и мне и тебе.

Они вышли, но остановились у крыльца трактира.

— Вот что, Алеша, — проговорил Иван твердым голосом, — если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево — и довольно, слышишь, довольно. То есть, если я бы завтра и не уехал (кажется, уеду наверно) и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже,

особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, — прибавил он вдруг раздражительно, — все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе, с своей стороны, за это тоже одно обещание дам: когда к тридцати годам я захочу «бросить кубок об пол», то, где б ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою… хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени: каков-то ты тогда будешь? Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы, может быть, лет на семь, на десять прощаемся. Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus, ведь он умирает; умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай…

Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаньице промелькнуло, как стрелка, в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое

плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. «Pater Seraphicus — это имя он откуда-то взял — откуда? — промелькнуло у Алеши. — Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу… Вот и скит, господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня… от него и навеки!»

Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь.

VI

Пока еще очень неясная

А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг со всем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что, многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучило его вовсе не то. «Уж не отвращение ли к родительскому дому? — подумал он про себя. — Похоже на то, до того опротивел, и хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно…» Но нет, и это не то. Уж не прощание ли

с Алешей и бывший с ним разговор: «Столько лет молчал со всем светом и не удостоивал говорить, и вдруг нагородил столько ахинеи». В самом деле, это могла быть молодая досада молодой неопытности и молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его несомненно существовали большие расчеты. Конечно, и это было, то есть эта досада, даже непременно должна была быть, но и это было не то, все не то. «Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве…»

Иван Федорович попробовал было «не думать», но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, вроде как торчит что-нибудь иногда пред глазом, и долго, за делом или в горячем разговоре, не замечаешь его, а между тем видимо раздражаешься, почти мучаешься, и наконец-то догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, упавший на пол, книгу, не убранную в шкаф, и проч., и проч. Наконец

Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома и вдруг, примерно шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило.

На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Давеча, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, за разговором, Смердяков на время позабылся, но, однако же, остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. «Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить!» — подумалось ему с нестерпимою злобой.

Дело в том, что Иван Федорович действительно очень невзлюбил этого человека в последнее время и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти

ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что вначале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, дивясь некоторой бестолковости или, лучше сказать, некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое «этого созерцателя» могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует; но Иван Федорович скоро убедился, что дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды предмет хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный, и что ему надо чего-то совсем другого. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и притом самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька,

начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты — говорили они и об этом, но хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Даже подивиться можно было нелогичности и беспорядку иных желаний его, поневоле выходивших наружу и всегда одинаково неясных. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего — не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, — была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков видимо стал считать себя бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то

произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное. Иван Федорович, однако, и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения и наконец только лишь в самое последнее время успел догадаться, в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: «Чего идешь, не пройдешь, видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего». Иван Федорович затрясся:

«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, но, к вели-

чайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое:

— Что батюшка, спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью, почти строго.

— Еще почивают-с, — выговорил он неторопливо. («Сам, дескать, первый заговорил, а не я».) — Удивляюсь я на вас, сударь, — прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза, выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки.

— С чего ты на меня удивляешься? — отрывисто и сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его.

— Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с? — вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. «А чему я улыбался, сам, дескать, должен понять, если умный человек», — как бы говорил его прищуренный левый глазок.

— Зачем я в Чермашню поеду? — удивился

Иван Федорович.

Смердяков опять помолчал.

— Сами даже Федор Павлович так вас об том умоляли-с, — проговорил он наконец, не спеша и как бы сам не ценя своего ответа: третьестепенною, дескать, причиной отделываюсь, только чтобы что-нибудь сказать.

— Э, черт, говори ясней, чего тебе надобно? — вскричал наконец гневливо Иван Федорович, со смирения переходя на грубость.

Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с тою же улыбочкой.

— Существенного ничего нет-с… а так-с, к разговору…

Наступило опять молчание. Промолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться, а Смердяков стоял пред ним и как бы ждал: «А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет?» Так по крайней мере представлялось Ивану Федоровичу. Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновенье.

— Ужасное мое положение-с, Иван Федорович, не знаю даже, как и помочь себе, — проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним сло-

вом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся.

— Оба совсем блажные-с, оба дошли до самого малого ребячества-с, — продолжал Смердяков. — Я про вашего родителя и про вашего братца-с Дмитрия Федоровича. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту: «Что не пришла? Зачем не пришла?» — и так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А коль Аграфена Александровна не прийдет (потому что оне, пожалуй, совсем и не намерены вовсе никогда прийти-с), то накинутся на меня опять завтра поутру: «Зачем не пришла? Отчего не пришла, когда придет?» — точно я в этом в чем пред ними выхожу виноват. С другой стороны, такая статья-с, как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружьем в руках явится по соседству: «Смотри, дескать, шельма, бульонщик: проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, — убью тебя прежде всякого». Пройдет ночь, наутро и они тоже, как и Федор Павлович, мучительски мучить меня начнут: «Зачем не пришла, скоро ль покажется», — и точно я опять-таки и пред ними виноват выхожу-с в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым

часом все дальше серчают оба-с, что думаю иной час от страху сам жизни себя лишить-с. Я, сударь, на них не надеюсь-с.

— А зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал переносить? — раздражительно проговорил Иван Федорович.

— А как бы я не ввязался-с? Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать в полной точности-с. Я с самого начала все молчал, возражать не смея, а они сами определили мне своим слугой Личардой при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово: «Убью тебя, шельму, если пропустишь!» Наверно полагаю, сударь, что со мной завтра длинная падучая приключится.

— Какая такая длинная падучая?

— Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с али, пожалуй, день и другой продолжается-с. Раз со мной продолжалось это дня три, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять; и я все три дня не мог в разум войти. За Герценштубе, за здешним доктором, тогда Федор Павлович посылали-с, так тот льду к темени прикладывал да еще одно средство употребил… Помереть бы мог-с.

— Да ведь, говорят, падучую нельзя заранее

предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? — с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович.

— Это точно, что нельзя предузнать-с.

— К тому же ты тогда упал с чердака.

— На чердак каждый день лазею-с, могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упаду-с, в погреб тоже каждый день хожу-с, по своей надобности-с.

Иван Федорович длинно посмотрел на него.

— Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю, — тихо, но как-то грозно проговорил он, — притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в падучей? а?

Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и, усмехнувшись, произнес:

— Если бы я даже эту самую штуку и мог-с, то есть чтобы притвориться-с, и так как ее сделать совсем нетрудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти; ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителю,

не могут они тогда с больного человека спросить: «Зачем не донес?» Сами постыдятся.

— Э, черт! — вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. — Что ты все об своей жизни трусишь! Все эти угрозы брата Дмитрия только азартные слова и больше ничего. Не убьет он тебя; убьет, да не тебя!

— Убьет как муху-с, и прежде всего меня-с. А пуще того я другого боюсь: чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят.

— Почему тебя сочтут сообщником?

— Потому сочтут сообщником, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с.

— Какие знаки? Кому сообщил? Черт тебя побери, говори яснее!

— Должен совершенно признаться, — с педантским спокойствием тянул Смердяков, — что тут есть один секрет у меня с Федором Павловичем. Они, как сами изволите знать (если только изволите это знать), уже несколько дней, как то есть ночь али даже вечер, так тотчас сызнутри и запрутся. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе наверх, а вчера так и совсем никуда не выходили-с, а потому, может, и не знаете, как они старательно начали теперь

запираться на ночь. И приди хоть сам Григорий Васильевич, так они, разве что по голосу убедясь, ему отопрут-с. Но Григорий Васильевич не приходит-с, потому служу им теперь в комнатах один я-с — так они сами определили с той самой минуты, как начали эту затею с Аграфеной Александровной, а на ночь так и я теперь, по ихнему распоряжению, удаляюсь и ночую во флигеле, с тем чтобы до полночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить, и ждать, когда Аграфена Александровна придут-с, так как они вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они так-с: она, говорят, его боится, Дмитрия-то Федоровича (они его Митькой зовут-с), а потому ночью попозже задами ко мне пройдет; ты же, говорит, ее сторожи до самой полночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь аль в окно из саду рукой два первые раза потише, этак: раз-два, а потом сейчас три раза поскорее: тук-тук-тук. Вот, говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла, и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщили мне на тот случай, если что экстренное произойдет: сначала два раза скоро: тук-тук, а потом, обождав еще один раз, гораздо крепче. Вот они и поймут, что

нечто случилось внезапное и что оченно надо мне их видеть, и тоже мне отопрут, а я войду и доложу. Все на тот случай, что Аграфена Александровна может сама не прийти, а пришлет о чем-нибудь известить; окромя того, Дмитрий Федорович тоже могут прийти, так и о нем известить, что он близко. Оченно боятся они Дмитрия Федоровича, так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла, и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович тем временем где появится близко, так и тут беспременно обязан я им тотчас о том доложить, постучамши три раза, так что первый-то знак в пять стуков означает: «Аграфена Александровна пришли», а второй знак в три стука — «оченно, дескать, надоть»; так сами по нескольку раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках этих знают всего лишь я да они-с, так они безо всякого уже сумления и нисколько не окликая (вслух окликать они очень боятся) и отопрут. Вот эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь и стали известны.

— Почему известны? Передал ты? Как же ты смел передать?

— От этого самого страху-с. И как же бы я посмел умолчать пред ними-с? Дмитрий Федорович

каждый день напирали: «Ты меня обманываешь, ты от меня что скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю!» Тут я им эти самые секретные знаки и сообщил, чтобы видели по крайности мое раболепие и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу.

— Если думаешь, что он этими знаками воспользуется и захочет войти, то ты его не пускай.

— А когда я сам в припадке буду лежать-с, как же я тогда не пущу-с, если б я даже и мог осмелиться их не пустить-с, зная их столь отчаянными-с.

— Э, черт возьми! Почему ты так уверен, что придет падучая, черт тебя побери? Смеешься ты надо мной или нет?

— Как же бы я посмел над вами смеяться, и до смеху ли, когда такой страх? Предчувствую, что будет падучая, предчувствие такое имею, от страху от одного и придет-с.

— Э, черт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григория, уж он-то его не пустит.

— Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания барина не смею никоим образом сообщить-с. А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит и не пустит, так они как раз

сегодня со вчерашнего расхворались, а Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Так давеча и условились. А лечение это у них весьма любопытное-с: настойку такую Марфа Игнатьевна знают-с и постоянно держат, крепкую, на какой-то траве — секретом таким обладают-с. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год-с, когда у того поясница отнимается вся-с, вроде как бы с ним паралич-с, раза по три в год-с. Тогда они берут полотенце-с, мочат в этот настой и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса-с, досуха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет-с, а затем остальное, что в стклянке, дают ему выпить-с с некоторою молитвою-с, не все, однако ж, потому что часть малую при сем редком случае и себе оставляют-с и тоже выпивают-с. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся-с и спят очень долгое время крепко-с; и как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здоров-с, а Марфа Игнатьевна проснется, и у нее всегда после того голова болит-с. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнят-с, так вряд ли им что услыхать-с и Дмитрия Федоровича не допустить-с. Спать будут-с.

— Что за ахинея! И все это как нарочно так сразу и сойдется: и у тебя падучая, и те оба без памяти! — прокричал Иван Федорович, — да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? — вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови.

— Как же бы я так подвел-с… и для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит-с, и от одних его мыслей-с… Захотят они что учинить — учинят-с, а нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть.

— А зачем ему к отцу проходить, да еще потихоньку, если, как ты сам говоришь, Аграфена Александровна и совсем не придет, — продолжал Иван Федорович, бледнея от злобы, — сам же ты это говоришь, да и я все время, тут живя, был уверен, что старик только фантазирует и что не придет к нему эта тварь. Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? Говори! Я хочу твои мысли знать.

— Сами изволите знать, зачем придут, к чему же тут мои мысли? Придут по единой ихней злобе али по своей мнительности в случае примерно моей болезни, усомнятся и пойдут с нетерпения искать в комнаты, как вчерашний

раз: не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них потихоньку. Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи запечатаны, под тремя печатями-с, обвязано ленточкою и надписано собственною их рукой: «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти», а потом, дня три спустя подписали еще: «и цыпленочку». Так вот это-то и сомнительно-с.

— Вздор! — крикнул Иван Федорович почти в исступлении. — Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, как исступленный злобный дурак, но грабить не пойдет!

— Им оченно теперь нужны деньги-с, до последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете, сколь нужны, — чрезвычайно спокойно и с замечательною отчетливостью изъяснил Смердяков. — Эти самые три тысячи-с они к тому же считают как бы за свои собственные и так сами мне объяснили: «Мне, говорят, родитель остается еще три тысячи ровно должен». А ко всему тому рассудите, Иван Федорович, и некоторую чистую правду-с: ведь это почти что наверно так, надо сказать-с, что Аграфена Александровна, если только захотят они того

сами, то непременно заставят их на себе жениться, самого барина то есть, Федора Павловича-с, если только захотят-с, — ну, а ведь они, может быть, и захотят-с. Ведь я только так говорю, что она не придет, а она, может быть, и более того захочет-с, то есть прямо барыней сделаться. Я сам знаю, что их купец Самсонов говорили ей самой со всею откровенностью, что это дело будет весьма не глупое, и притом смеялись. А они сами умом очень не глупые-с. Им за голыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать-с. Так вот теперь это взямши, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам-с с братцем вашим Алексеем Федоровичем уж ничего-то ровно после смерти родителя не останется, ни рубля-с, потому что Аграфена Александровна для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевести-с. А помри ваш родитель теперь, пока еще этого нет ничего-с, то всякому из вас по сорока тысяч верных придется тотчас-с, даже и Дмитрию Федоровичу, которого они так ненавидят-с, так как завещания у них ведь не сделано-с… Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно…

Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице

Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел.

— Так зачем же ты, — перебил он вдруг Смердякова, — после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. — Иван Федорович с трудом переводил дух.

— Совершенно верно-с, — тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем.

— Как совершенно верно? — переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами.

— Я говорил, вас жалеючи. На вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил… чем у такого дела сидеть-с… — ответил Смердяков, с самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали.

— Ты, кажется, большой идиот и уж конечно… страшный мерзавец! — встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное: Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и — еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по край-

ней мере это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку.

— Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать, — завтра рано утром — вот и все! — с злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову.

— Самое это лучшее-с, — подхватил тот, точно и ждал того, — только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить-с, в каком-либо таком случае-с.

Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно; все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное: «Не скажешь ли, дескать, еще чего, не прибавишь ли, — так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана Федоровича взгляде.

— А из Чермашни разве не вызвали бы тоже… в каком-нибудь таком случае? — завопил вдруг Иван Федорович, не известно для чего вдруг

ужасно возвысив голос.

— Тоже-с и из Чермашни-с… обеспокоят-с… — пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально, пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза.

— Только Москва дальше, а Чермашня ближе, так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в Чермашню, аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю?

— Совершенно верно-с… — пробормотал уже пресекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой.

VII

«С умным человеком и поговорить любопытно»

Да и говорил тоже. Встретив Федора Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками: «Я к себе наверх, а не к вам, до свидания», и прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. Очень может быть, что старик слишком был ему в эту минуту ненавистен, но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. А старик и впрямь, видно, хотел ему что-то поскорей сообщить, для чего нарочно и вышел встретить его в залу; услышав же такую любезность, остановился молча и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин до тех пор, пока тот скрылся из виду.

— Чего это он? — быстро спросил он вошедшего вслед за Иваном Федоровичем Смердякова.

— Сердятся на что-то-с, кто их разберет, — пробормотал тот уклончиво.

— А и черт! Пусть сердится! Подавай самовар и скорей сам убирайся, живо. Нет ли чего нового?

Тут начались расспросы именно из таких, на которые Смердяков сейчас жаловался Ивану

Федоровичу, то есть все насчет ожидаемой посетительницы, и мы эти расспросы здесь опустим. Чрез полчаса дом был заперт, и помешанный старикашка похаживал один по комнатам, в трепетном ожидании, что вот-вот раздадутся пять условных стуков, изредка заглядывая в темные окна и ничего в них не видя, кроме ночи.

Было уже очень поздно, а Иван Федорович все не спал и соображал. Поздно он лег в эту ночь, часа в два. Но мы не станем передавать все течение его мыслей, да и не время нам входить в эту душу: этой душе свой черед. И даже если б и попробовали что передать, то было бы очень мудрено это сделать, потому что были не мысли, а было что-то очень неопределенное, а главное — слишком взволнованное. Сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Мучили его тоже разные странные и почти неожиданные совсем желания, например: уж после полночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова, но спросили бы вы за что, и сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, какого только можно приискать

на свете. С другой стороны, не раз охватывала в эту ночь его душу какая-то необъяснимая и унизительная робость, от которой он — он это чувствовал — даже как бы терял вдруг физические силы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому. Ненавидел он даже Алешу, вспоминая давешний с ним разговор, ненавидел очень минутами и себя. О Катерине Ивановне он почти что и думать забыл и много этому потом удивлялся, тем более что сам твердо помнил, как еще вчера утром, когда он так размашисто похвалился у Катерины Ивановны, что завтра уедет в Москву, в душе своей тогда же шепнул про себя: «А ведь вздор, не поедешь, и не так тебе будет легко оторваться, как ты теперь фанфаронишь». Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, — слушал подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проде-

лывал, для чего слушал — конечно, и сам не знал. Этот «поступок» он всю жизнь свою потом называл «мерзким» и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни. К самому же Федору Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил: как он там внизу ходит, что он примерно там у себя теперь должен делать, предугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в темные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, ждать — не стучит ли кто. Выходил Иван Федорович для этого занятия на лестницу раза два. Когда все затихло и уже улегся и Федор Павлович, часов около двух, улегся и Иван Федорович с твердым желанием поскорее заснуть, так как чувствовал себя страшно измученным. И впрямь: заснул он вдруг крепко и спал без снов, но проснулся рано, часов в семь, когда уже рассвело. Раскрыв глаза, к изумлению своему, он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии, быстро вскочил и быстро оделся, затем вытащил свой чемодан и, не медля, поспешно начал его укладывать. Белье как раз еще вчера утром получилось все от прачки. Иван Федорович даже

усмехнулся при мысли, что так все оно сошлось, что нет никакой задержки внезапному отъезду. А отъезд выходил действительно внезапный. Хотя Иван Федорович и говорил вчера (Катерине Ивановне, Алеше и потом Смердякову), что завтра уедет, но, ложась вчера спать, он очень хорошо помнил, что в ту минуту и не думал об отъезде, по крайней мере совсем не мыслил, что, поутру проснувшись, первым движением бросится укладывать чемодан. Наконец чемодан и сак были готовы: было уже около девяти часов, когда Марфа Игнатьевна взошла к нему с обычным ежедневным вопросом: «Где изволите чай кушать, у себя аль сойдете вниз?» Иван Федорович сошел вниз, вид имел почти что веселый, хотя было в нем, в словах и в жестах его, нечто как бы раскидывающееся и торопливое. Приветливо поздоровавшись с отцом и даже особенно наведавшись о здоровье, он, не дождавшись, впрочем, окончания ответа родителя, разом объявил, что чрез час уезжает в Москву, совсем, и просит послать за лошадьми. Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, пренеприлично позабыв поскорбеть об отъезде сынка; вместо того вдруг чрезвычайно захлопотал, вспомнив как раз кстати одно насущное собственное дело.

— Ах ты! Экой! Не сказал вчера… ну да все равно и сейчас уладим. Сделай ты мне милость великую, отец ты мой родной, заезжай в Чермашню. Ведь тебе с Воловьей станции всего только влево свернуть, всего двенадцать каких-нибудь верстoчек, и вот она, Чермашня.

— Помилуйте, не могу: до железной дороги восемьдесят верст, а машина уходит со станции в Москву в семь часов вечера — ровно только, чтоб поспеть.

— Поспеешь завтра, не то послезавтра, а сегодня сверни в Чермашню. Чего тебе стоит родителя успокоить! Если бы здесь не дело, я сам давно слетал бы, потому что штука-то там спешная и чрезвычайная, а здесь у меня время теперь не такое… Видишь, там эта роща моя, в двух участках, в Бегичеве да в Дячкине, в пустошах. Масловы, старик с сыном, купцы, всего восемь тысяч дают на сруб, а всего только прошлого года покупщик нарывался, так двенадцать давал, да не здешний, вот где черта. Потому у здешних теперь сбыту нет: кулачат Масловы — отец с сыном, стотысячники: что положат, то и бери, а из здешних никто и не смеет против них тягаться. А Ильинский батюшка вдруг отписал сюда в прошлый четверг, что приехал Горсткин, тоже

купчишка, знаю я его, только драгоценность-то в том, что не здешний, а из Погребова, значит, не боится он Масловых, потому не здешний. Одиннадцать тысяч, говорит, за рощу дам, слышишь? А пробудет он здесь, пишет батюшка, еще-то всего лишь неделю. Так вот бы ты поехал, да с ним и сговорился…

— Так вы напишите батюшке, тот и сговорится.

— Не умеет он, тут штука. Этот батюшка смотреть не умеет. Золото человек, я ему сейчас двадцать тысяч вручу без расписки на сохранение, а смотреть ничего не умеет, как бы и не человек вовсе, ворона обманет. А ведь ученый человек, представь себе это. Этот Горсткин на вид мужик, в синей поддевке, только характером он совершенный подлец, в этом-то и беда наша общая: он лжет, вот черта. Иной раз так налжет, что только дивишься, зачем это он. Налгал третьего года, что жена у него умерла и что он уже женат на другой, и ничего этого не было, представь себе: никогда жена его не умирала, живет и теперь и его бьет каждые три дня по разу. Так вот и теперь надо узнать: лжет аль правду говорит, что хочет купить и одиннадцать тысяч дать?

— Так ведь и я тут ничего не сделаю, у меня

тоже глазу нет.

— Стой, подожди, годишься и ты, потому я тебе все приметы его сообщу, Горсткина-то, я с ним дела уже давно имею. Видишь: ему на бороду надо глядеть; бороденка у него рыженькая, гаденькая, тоненькая. Коли бороденка трясется, а сам он говорит да сердится — значит ладно, правду говорит, хочет дело делать; а коли бороду гладит левою рукой, а сам посмеивается — ну, значит надуть хочет, плутует. В глаза ему никогда не гляди, по глазам ничего не разберешь, темна вода, плут, — гляди на бороду. Я тебе к нему записку дам, а ты покажи. Он Горсткин, только он не Горсткин, а Лягавый, так ты ему не говори, что он Лягавый, обидится. Коли сговоришься с ним и увидишь, что ладно, тотчас и отпиши сюда. Только это и напиши: «Не лжет, дескать». Стой на одиннадцати, одну тысячку можешь спустить, больше не спускай. Подумай: восемь и одиннадцать — три тысячи разницы. Эти я три тысячи ровно как нашел, скоро ли покупщика достанешь, а деньги до зарезу нужны. Дашь знать, что серьезно, тогда я сам уж отсюда слетаю и кончу, как-нибудь урву время. А теперь чего я туда поскачу, если все это батька выдумал? Ну, едешь или нет?

— Э, некогда, избавьте.

— Эх, одолжи отца, припомню! Без сердца вы все, вот что! Чего тебе день али два? Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня. Я Алешку послал бы, да ведь что Алешка в этих делах? Я ведь единственно потому, что ты умный человек, разве я не вижу. Лесом не торгуешь, а глаз имеешь. Тут только чтобы видеть: всерьез или нет человек говорит. Говорю, гляди на бороду: трясется бороденка — значит всерьез.

— Сами ж вы меня в Чермашню эту проклятую толкаете, а? — вскричал Иван Федорович, злобно усмехнувшись.

Федор Павлович злобы не разглядел или не хотел разглядеть, а усмешку подхватил:

— Значит, едешь, едешь? Сейчас тебе записку настрочу.

— Не знаю, поеду ли, не знаю, дорогой решу.

— Что дорогой, реши сейчас. Голубчик, реши! Сговоришься, напиши мне две строчки, вручи батюшке, и он мне мигом твою цидулку пришлет. А затем и не держу тебя, ступай в Венецию. Тебя обратно на Воловью станцию батюшка на своих доставит…

Старик был просто в восторге, записку настро-

чил, послали за лошадьми, подали закуску, коньяк. Когда старик бывал рад, то всегда начинал экспансивничать, но на этот раз он как бы сдерживался. Про Дмитрия Федоровича, например, не произнес ни единого словечка. Разлукой же совсем не был тронут. Даже как бы и не находил, о чем говорить; и Иван Федорович это очень заметил: «Надоел же я ему, однако», — подумал он про себя. Только провожая сына уже с крыльца, старик немного как бы заметался, полез было лобызаться. Но Иван Федорович поскорее протянул ему для пожатия руку, видимо отстраняя лобзания. Старик тотчас понял и вмиг осадил себя.

— Ну, с Богом, с Богом! — повторял он с крыльца. — Ведь приедешь еще когда в жизни-то? Ну и приезжай, всегда буду рад. Ну, Христос с тобою!

Иван Федорович влез в тарантас.

— Прощай, Иван, очень-то не брани! — крикнул в последний раз отец.

Провожать вышли все домашние: Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Федорович подарил всем по десяти рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер.

— Видишь… в Чермашню еду… — как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нерв-

ным смешком. Долго он это вспоминал потом.

— Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, — твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича.

Тарантас тронулся и помчался. В душе путешественника было смутно, но он жадно глядел кругом на поля, на холмы, на деревья, на стаю гусей, пролетавшую над ним высоко по ясному небу. И вдруг ему стало так хорошо. Он попробовал заговорить с извозчиком, и его ужасно что-то заинтересовало из того, что ответил ему мужик, но чрез минуту сообразил, что все мимо ушей пролетело и что он, по правде, и не понял того, что мужик ответил. Он замолчал, хорошо было и так: воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. Мелькнули было в уме его образы Алеши и Катерины Ивановны; но он тихо усмехнулся и тихо дунул на милые призраки, и они отлетели: «Будет еще их время», — подумал он. Станцию отмахали быстро, переменили лошадей и помчались на Воловью. «Почему с умным человеком поговорить любопытно, что он этим хотел сказать? — вдруг так и захватило ему дух. — А я зачем доложил ему, что в Чермашню еду?» Доскакали до Воловьей станции. Иван Федорович

вышел из тарантаса, и ямщики его обступили. Рядились в Чермашню, двенадцать верст проселком, на вольных. Он велел впрягать. Вошел было в станционный дом, огляделся кругом, взглянул было на смотрительшу и вдруг вышел обратно на крыльцо.

— Не надо в Чермашню. Не опоздаю, братцы, к семи часам на железную дорогу?

— Как раз потрафим. Запрягать, что ли?

— Впрягай мигом. Не будет ли кто завтра из вас в городе?

— Как не быть, вот Митрий будет.

— Не можешь ли, Митрий, услугу оказать? Зайди ты к отцу моему, Федору Павловичу Карамазову, и скажи ты ему, что я в Чермашню не поехал. Можешь али нет?

— Почему не зайти, зайдем; Федора Павловича очень давно знаем.

— А вот тебе и на чай, потому он тебе, пожалуй, не даст… — весело засмеялся Иван Федорович.

— А и впрямь не дадут, — засмеялся и Митрий. — Спасибо, сударь, непременно выполним…

В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. «Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый

мир, в новые места, и без оглядки!» Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь; вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся.

— Я подлец! — прошептал он про себя.

А Федор Павлович, проводив сынка, остался очень доволен. Целые два часа чувствовал он себя почти счастливым и попивал коньячок; но вдруг в доме произошло одно предосадное и пренеприятное для всех обстоятельство, мигом повергшее Федора Павловича в большое смятение: Смердяков пошел зачем-то в погреб и упал вниз с верхней ступеньки. Хорошо еще, что на дворе случилась в то время Марфа Игнатьевна и вовремя услышала. Падения она не видела, но зато услышала крик, крик особенный, странный, но ей уже давно известный, — крик эпилептика, падающего в припадке. Приключился ли с ним припадок в ту минуту, когда он сходил по ступенькам вниз, так что он, конечно, тотчас же и должен был слететь вниз в бесчувствии, или, напротив, уже от падения и от сотрясения произошел у Смердякова, известного эпилептика, его припадок — разобрать нельзя было, но нашли

его уже на дне погреба, в корчах и судорогах, бьющимся и с пеной у рта. Думали сначала, что он наверно сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся, но, однако, «сберег Господь», как выразилась Марфа Игнатьевна: ничего такого не случилось, а только трудно было достать его и вынести из погреба на свет божий. Но попросили у соседей помощи и кое-как это совершили. Находился при всей этой церемонии и сам Федор Павлович, сам помогал, видимо перепуганный и как бы потерявшийся. Больной, однако, в чувство не входил: припадки хоть и прекращались на время, но зато возобновлялись опять, и все заключили, что произойдет то же самое, что и в прошлом году, когда он тоже упал нечаянно с чердака. Вспомнили, что тогда прикладывали ему к темени льду. Ледок в погребе еще нашелся, и Марфа Игнатьевна распорядилась, а Федор Павлович под вечер послал за доктором Герценштубе, который и прибыл немедленно. Осмотрев больного тщательно (это был самый тщательный и внимательный доктор во всей губернии, пожилой и почтеннейший старичок), он заключил, что припадок чрезвычайный и «может грозить опасностью», что покамест он, Герценштубе, еще не понимает всего, но что завтра утром, если

не помогут теперешние средства, он решится принять другие. Больного уложили во флигеле, в комнатке рядом с помещением Григория и Марфы Игнатьевны. Затем Федор Павлович уже весь день претерпевал лишь несчастие за несчастием: обед сготовила Марфа Игнатьевна, и суп сравнительно с приготовлением Смердякова вышел «словно помои», а курица оказалась до того пересушенною, что и прожевать ее не было никакой возможности. Марфа Игнатьевна на горькие, хотя и справедливые, упреки барина возражала, что курица и без того была уже очень старая, а что сама она в поварах не училась. К вечеру вышла другая забота: доложили Федору Павловичу, что Григорий, который с третьего дня расхворался, как раз совсем почти слег, отнялась поясница. Федор Павлович окончил свой чай как можно пораньше и заперся один в доме. Был он в страшном и тревожном ожидании. Дело в том, что как раз в этот вечер ждал он прибытия Грушеньки уже почти наверно; по крайней мере получил он от Смердякова, еще рано поутру, почти заверение, что «они уж несомненно обещали прибыть-с». Сердце неугомонного старичка билось тревожно, он ходил по пустым своим комнатам и прислушивался. Надо было держать ухо

востро: мог где-нибудь сторожить ее Дмитрий Федорович, а как она постучится в окно (Смердяков еще третьего дня уверил Федора Павловича, что передал ей где и куда постучаться), то надо было отпереть двери как можно скорее и отнюдь не задерживать ее ни секунды напрасно в сенях, чтобы чего, боже сохрани, не испугалась и не убежала. Хлопотливо было Федору Павловичу, но никогда еще сердце его не купалось в более сладкой надежде: почти ведь наверно можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет!..

Книга шестая. Русский инок



I

Старец Зосима и его гости

Когда Алеша с тревогой и с болью в сердце вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении: вместо отходящего больного, может быть уже без памяти, каким боялся найти его, он вдруг его увидал сидящим в кресле, хотя с изможженным от слабости, но с бодрым и веселым лицом, окруженного гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу. Впрочем, встал он с постели не более как за четверть часа до прихода Алеши; гости уже собрались в его келью раньше и ждали, пока он проснется, по твердому заверению отца Паисия, что «учитель встанет несомненно, чтоб еще раз побеседовать с милыми сердцу его, как сам изрек и как сам пообещал

еще утром». Обещанию же этому, да и всякому слову отходящего старца, отец Паисий веровал твердо, до того, что если бы видел его и совсем уже без сознания и даже без дыхания, но имел бы его обещание, что еще раз восстанет и простится с ним, то не поверил бы, может быть, и самой смерти, все ожидая, что умирающий очнется и исполнит обетованное. Поутру же старец Зосима положительно изрек ему, отходя ко сну: «Не умру прежде, чем еще раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленные сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз изолью». Собравшиеся на эту последнюю, вероятно, беседу старца были самые преданные ему друзья с давних лет. Их было четверо: иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый, из звания простого, но духом твердый, нерушимо и просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своем, хотя видимо скрывал свое умиление до какого-то даже стыда. Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек, из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говорив-

ший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. Этого как бы трепещущего человека старец Зосима весьма любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением, хотя, может быть, ни с кем во всю жизнь свою не сказал менее слов, как с ним, несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствованиях с ним вдвоем по всей святой Руси. Было это уже очень давно, лет пред тем уже сорок, когда старец Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном, малоизвестном костромском монастыре и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный костромской монастырек. Все, и хозяин и гости, расположились во второй комнате старца, в которой стояла постель его, комнате, как и было указано прежде, весьма тесной, так что все четверо (кроме Порфирия-послушника, пребывавшего стоя) едва разместились вокруг кресел старца на принесенных из первой комнаты стульях. Начало уже смеркаться, комната освещалась от лампад и восковых свеч пред иконами. Увидав Алешу, смутившегося при входе

и ставшего в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протянул руку:

— Здравствуй, тихий, здравствуй, милый, вот и ты. И знал, что прибудешь.

Алеша подошел к нему, склонился пред ним до земли и заплакал. Что-то рвалось из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать.

— Что ты, подожди оплакивать, — улыбнулся старец, положив правую руку свою на его голову, — видишь, сижу и беседую, может, и двадцать лет еще проживу, как пожелала мне вчера та добрая, милая, из Вышегорья, с девочкой Лизаветой на руках. Помяни, Господи, и мать, и девочку Лизавету! (Он перекрестился.) Порфирий, дар-то ее снес, куда я сказал?

Это он припомнил о вчерашних шести гривнах, пожертвованных веселою поклонницей, чтоб отдать «той, которая меня бедней». Такие жертвы происходят как епитимии, добровольно на себя почему-либо наложенные, и непременно из денег, собственным трудом добытых. Старец послал Порфирия еще с вечера к одной недавно еще погоревшей нашей мещанке, вдове с детьми, пошедшей после пожара нищенствовать. Порфирий поспешил донести, что дело уже сделано и что подал, как приказано ему было, «от неиз-

вестной благотворительницы».

— Встань, милый, — продолжал старец Алеше, — дай посмотрю на тебя. Был ли у своих и видел ли брата?

Алеше странно показалось, что он спрашивает так твердо и точно об одном только из братьев, — но о котором же: значит, для этого-то брата, может быть, и отсылал его от себя и вчера, и сегодня.

— Одного из братьев видел, — ответил Алеша.

— Я про того, вчерашнего, старшего, которому я до земли поклонился.

— Того я вчера лишь видел, а сегодня никак не мог найти, — сказал Алеша.

— Поспеши найти, завтра опять ступай и поспеши, все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился.

Он вдруг умолк и как бы задумался. Слова были странные. Отец Иосиф, свидетель вчерашнего земного поклона старца, переглянулся с отцом Паисием. Алеша не вытерпел.

— Отец и учитель, — проговорил он в чрезвычайном волнении, — слишком неясны слова ваши… Какое это страдание ожидает его?

— Не любопытствуй. Показалось мне вчера

нечто страшное… словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд… так что ужаснулся я в сердце моем мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица… как бы изображавшее всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбылась. Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но все от Господа и все судьбы наши. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Запомни сие. А тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей за лик твой, узнай сие, — проговорил старец с тихою улыбкой. — Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь — что важнее всего. Ну вот ты каков. Отцы и учители мои, — умиленно улыбаясь, обратился он к гостям своим, — никогда до сего дня не говорил я, даже и ему, за что был столь милым душе моей лик сего юноши. Теперь лишь скажу: был мне

лик его как бы напоминанием и пророчеством. На заре дней моих, еще малым ребенком, имел я старшего брата, умершего юношей, на глазах моих, всего только семнадцати лет. И потом, проходя жизнь мою, убедился я постепенно, что был этот брат мой в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. То первое явление было еще в детстве моем, и вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его. Чудно это, отцы и учители, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения, так что даже удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей. Слышишь ли сие, Порфирий, — обратился он к прислуживавшему его послушнику. — Много раз видел я на лице твоем как бы огорчение, что я Алексея больше люблю, чем тебя. Теперь знаешь, почему так было, но и тебя люблю, знай это, и много

раз горевал, что ты огорчаешься. Вам же, милые гости, хочу я поведать о сем юноше, брате моем, ибо не было в жизни моей явления драгоценнее сего, более пророческого и трогательного. Умилилось сердце мое, и созерцаю всю жизнь мою в сию минуту, како бы вновь ее всю изживая…

Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившими его в последний день жизни его гостями сохранилась отчасти записанною. Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа, или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед с учителем своим, этого уже я не могу решить, к тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы беспрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как, без сомнения, по последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе, ибо велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя, вмешиваясь в разговор, может быть, даже и от себя поведали и рассказали что-либо, к тому же и беспрерывности такой в повествовании сем быть не могло, ибо старец иногда задыхался, те-

рял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а гости не покидали мест своих. Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия, читал отец Паисий. Замечательно тоже, что никто из них, однако же, не полагал, что умрет он в самую эту же ночь, тем более что в этот последний вечер жизни своей он, после глубокого дневного сна, вдруг как бы обрел в себе новую силу, поддерживавшую его во всю длинную эту беседу с друзьями. Это было как бы последним умилением, поддержавшим в нем неимоверное оживление, но на малый лишь срок, ибо жизнь его пресеклась вдруг… Но об этом после. Теперь же хочу уведомить, что предпочел, не излагая всех подробностей беседы, ограничиться лишь рассказом старца по рукописи Алексея Федоровича Карамазова. Будет оно короче, да и не столь утомительно, хотя, конечно, повторяю это, многое Алеша взял и из прежних бесед и совокупил вместе.

II

Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым

Сведения биографические

а) О юноше брате старца Зосимы

Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии северной, в городе В., от родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь два года от роду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, не великий, достаточный, чтобы прожить с детьми не нуждаясь. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на восемь, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, не насмешливый и странно как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился, так по крайней мере запомнила о нем матушка. За полгода до кончины своей, когда уже минуло ему семнадцать лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе

человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный немалый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался Великий пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется: «Все это бредни, говорит, и нет никакого и Бога», — так что в ужас привел и мать и прислугу, да и меня малого, ибо хотя был я и девяти лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, четверо человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. Еще помню, как из сих четверых продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за шестьдесят рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на шестой неделе поста стало вдруг брату хуже, а был он и всегда нездоровый, грудной, сложения слабого и наклонный к чахотке; роста же немалого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он, что ли, но доктор

прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностию (более для того, чтобы не испугать его), чтобы поговел и причастился святых Божиих таин, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав, рассердился и выбранил храм Божий, однако задумался: догадался сразу, что болен опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем, и сам уже знал, что давно нездоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: «Не жилец я на свете меж вами, может, и года не проживу», и вот словно и напророчил. Прошло дня три, и настала Страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. «Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтоб обрадовать вас и успокоить», — сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя: «Знать, близка кончина его, коли такая в нем вдруг перемена». Но недолго походил он в церковь, слег, так что исповедовали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а наутро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его:

сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно — такая дивная началась в нем вдруг перемена! Войдет к нему в комнату старая нянька: «Позволь, голубчик, я и у тебя лампаду зажгу пред образом». А он прежде не допускал, задувал даже. «Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде. Ты Богу, лампадку зажигая, молишься, а я, на тебя радуясь, молюсь. Значит, одному Богу и молимся». Странными казались нам эти снова, а мать уйдет к себе и все плачет, только к нему входя обтирала глаза и принимала веселый вид. «Матушка, не плачь, голубушка, — говорит, бывало, — много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то, жизнь-то веселая, радостная!» — «Ах, милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет». — «Мама, — отвечает ей, — не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил; умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые: «Милые, говорит, дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде

не знал, не ценил». Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить». Матушка, слушая, качала головой: «Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь». — «Мама, радость моя, говорит, нельзя, чтобы не было господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается: «Ну и чем это ты, говорит, пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?» — «Матушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда?» Так он вставал со сна, каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь и весь трепеща любовью. Приедет,

бывало, доктор — старик немец Эйзеншмидт ездил: «Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете?» — шутит, бывало, с ним. «Не то что день, и много дней проживете, — ответит, бывало, доктор, — и месяцы, и годы еще проживете». — «Да чего годы, чего месяцы! — воскликнет, бывало, — что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы все счастие узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять». — «Не жилец он на свете, ваш сын, — промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца, — он от болезни впадает в помешательство». Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил». Этого уж никто тогда у нас не мог понять, а он от радости плачет: «Да, говорит, была такая Божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил

в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе». — «Уж много ты на себя грехов берешь», — плачет, бывало, матушка. «Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?»

И много еще было, чего и не припомнить и не вписать. Помню, однажды вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно; ничего не сказал, только поглядел так с минуту: «Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!» Вышел я тогда и пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах веселье,

взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда, но не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но на сердце осталось все неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было все восстать и откликнуться. Так оно и случилось.

б) О Священном Писании в жизни отца Зосимы

Остались мы тогда одни с матушкой. Посоветовали ей скоро добрые знакомые, что вот, дескать, остался всего один у вас сынок, и не бедные вы, капитал имеете, так по примеру прочих почему бы сына вашего не отправить вам в Петербург, а оставшись здесь, знатной, может быть, участи его лишите. И надоумили матушку меня в Петербург в кадетский корпус свезти, чтобы в императорскую гвардию потом поступить. Матушка долго колебалась: как это с последним сыном расстаться, но, однако, решилась, хотя и не без многих слез, думая счастию моему способствовать. Свезла она меня в Петербург да и определила, а с тех пор я ее и не видал вовсе; ибо через три года сама скончалась, все три года по нас обоих грустила и трепетала. Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний

у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о Священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга, Священная история, с прекрасными картинками, под названием «Сто четыре Священные истории Ветхого и Нового Завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю. Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет от роду. Повела матушка меня одного (не помню, где был тогда брат) во храм Господень, в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смот-

рел я умиленно и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя слова Божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такою большою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме Божием читают. Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдов, столько овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень, и молил за них Бога: может, согрешили они, веселясь. И вот восходит к Богу диавол вместе с сынами Божьими и говорит Господу, что прошел по всей земле и под землею. «А видел ли раба моего Иова?» — спрашивает его Бог. И похвалился Бог диаволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся диавол на слова Божии: «Предай его мне и увидишь, что возропщет раб твой и проклянет твое имя». И предал Бог своего праведника, столь им любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его, все вдруг, как Божиим громом, и разодрал Иов одежды свои, и бросился на землю, и возопил: «Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, Бог

дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!» Отцы и учители, пощадите теперешние слезы мои — ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскою восьмилетнею грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление, и смятение, и радость. И верблюды-то так тогда мое воображение заняли, и сатана, который так с Богом говорит, и Бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его, восклицающий: «Буди имя твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня», — а затем тихое и сладостное пение во храме: «Да исправится молитва моя», и снова фимиам от кадила священника и коленопреклоненная молитва! С тех пор — даже вчера еще взял ее — и не могу читать эту пресвятую повесть без слез. А и сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые: как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху диаволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал с себя гной своих ран, и для чего: чтобы только похвалиться пред сатаной: «Вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня!» Но в том и великое, что тут тайна, — что мимоидущий

лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут Творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою: «Хорошо то, что я сотворил», — смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим. А Иов, хваля Господа, служит не только ему, но послужит и всему созданию его в роды и роды и во веки веков, ибо к тому и предназначен был. Господи, что это за книга и какие уроки! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных: восстановляет Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их — Господи: «Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы?» Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная ста-

рость: благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни — а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая! Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце… Други и учители, слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас иереи Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое и прямо заверяют, даже печатно, — читал сие сам, — что не могут они уже теперь будто бы толковать народу Писание, ибо мало у них содержания, и если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у нас содержания. Господи! думаю, дай Бог им более сего столь драгоценного для них содержания (ибо справедлива и их жалоба), но воистину говорю: если кто

виноват сему, то наполовину мы сами! Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен все время работой и требами, но не все же ведь время, ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтоб и о Боге вспомнить. Да и не круглый же год работа. Собери он у себя раз в неделю, в вечерний час, сначала лишь только хоть деток, — прослышат отцы, и отцы приходить начнут. Да и не хоромы же строить для сего дела, а просто к себе в избу прими; не страшись, не изгадят они твою избу, ведь всего-то на час один собираешь. Разверни-ка он им эту книгу и начни читать без премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя словеса сии, изредка лишь остановись и растолкуй иное непонятное простолюдину слово, не беспокойся, поймут всё, всё поймет православное сердце! Прочти им об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с Господом и сказал: «Страшно место сие», — и поразишь благочестивый ум простолюдина. Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого, Иосифа,

сновидца и пророка великого, а отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф, уже царедворец великий, ими не узнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, и все любя: «Люблю вас и, любя, мучаю». Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его где-нибудь там в горячей степи, у колодца, купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабом в чужую землю, и вот, увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит наконец от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет; утирает потом лицо свое и выходит сияющ и светел и возвещает им: «Братья, я Иосиф, брат ваш!» Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже Отчизну, и умер в чужой земле, изрекши на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшееся таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь, о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его! Отцы и учи-

тели, простите и не сердитесь, что как малый младенец толкую о том, что давно уже знаете и о чем меня же научите, стократ искуснее и благолепнее. От восторга лишь говорю сие, и простите слезы мои, ибо люблю книгу сию! Пусть заплачет и он, иерей Божий, и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его слушающих. Нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу простолюдина, и не умрет оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. И не надо, не надо много толковать и учить, все поймет он просто. Думаете ли вы, что не поймет простолюдин? Попробуйте прочтите ему далее повесть, трогательную и умилительную, о прекрасной Эсфири и надменной Вастии; или чудное сказание о пророке Ионе во чреве китове. Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелию от Луки (так я делал), а потом из Деяний апостольских обращение Савла (это непременно, непременно!), а наконец, и из Четьи-Миней хотя бы житие Алексея человека Божия и великой из великих радостной страдалицы, боговидицы и христоносицы матери Марии Египтяныни — и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями,

и всего-то лишь час в неделю, невзирая на малое свое содержание, один часок. И увидит сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит во сто крат; помня радение иерея и умиленные слова его, поможет ему на ниве его добровольно, поможет и в дому его, да и уважением воздаст ему большим прежнего — вот уже и увеличится содержание его. Дело столь простодушное, что иной раз боимся даже и высказать, ибо над тобою же засмеются, а между тем сколь оно верное! Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших. И что за слово Христово без примера? Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия. В юности моей, давно уже, чуть не сорок лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали раз на большой реке судоходной, на берегу, с рыбаками, а вместе с нами присел один благообразный юноша, крестьянин, лет уже восемнадцати на вид, поспешал он к своему месту назавтра купеческую барку бечевою тя-

нуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо, благолепно, все Богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша этот, и разговорились мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами, и, вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных; был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел; лучше того как в лесу ничего я, говорит, не знаю, да и все хорошо. «Истинно, — отвечаю ему, — все хорошо и великолепно, потому что все истина. Посмотри, — говорю ему, — на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого

греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего». — «Да неужто, — спрашивает юноша, — и у них Христос?» — «Как же может быть иначе, — говорю ему, — ибо для всех слово, все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие. Вон, — говорю ему, — в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный». И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу, в малой келейке, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок: «Ступай, дескать, Христос с тобой», и отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И умилился юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос. «Ах, как, говорит, это хорошо, как все Божие хорошо и чудесно!» Сидит, задумался, тихо и сладко. Вижу, что понял. И заснул он подле меня сном легким, безгрешным. Благослови Господь юность! И помолился я тут за него сам, отходя ко сну. Господи, пошли мир и свет твоим людям!

в) Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок

В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти восемь лет, и с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, а служивших нам в корпусе солдат считали мы все как за совершенных скотов, и я тоже. Я-то, может быть, больше всех, ибо изо всех товарищей был на все восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть, а узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; все эти молодые люди были хорошие, да вели-то себя скверно, а пуще всех я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие, со всем юным стремлением, без удержу, поплыл на всех парусах. Но вот что дивно: читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием; Библию же одну никогда почти в то время не развертывал, но никогда

и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой: воистину берег эту книгу, сам того не ведая, «на день и час, на месяц и год». Прослужив этак года четыре, очутился я наконец в городе К., где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и богатое, принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого, да к тому же и слыл не за бедного, что в свете значит немало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной и достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богатство, влияние и силу, меня принимали ласково и радушно. И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно, — разгорелось мое сердце при таковой мечте. Потом уж сам постиг и вполне догадался, что, может быть, вовсе я ее и не любил с такою силой, а только чтил ее ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Себялюбие, однако же, помешало мне сделать предложение руки в то время: тяжело и страшно показалось расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни в таких юных летах, имея вдобавок и деньги. Намеки,

однако ж, я сделал. Во всяком случае, отложил на малое время всякий решительный шаг. А тут вдруг случись командировка в другой уезд на два месяца. Возвращаюсь я через два месяца и вдруг узнаю, что девица уже замужем, за богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня годами, но еще молодым, имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел, человеком весьма любезным и сверх того образованным, а уж образования-то я не имел вовсе. Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело: как же это, все почти знали, а я один ничего не знал? И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую. С краской в лице начал вспоминать, как много раз почти высказывал ей любовь мою, а так как она меня не останавливала и не предупредила, то, стало быть, вывел я, надо мною смеялась. Потом, конечно, сообразил и припомнил, что нисколько она не смеялась, сама же, напротив, разговоры такие шутливо

прерывала и зачинала на место их другие, — но тогда сообразить этого я не смог и запылал отомщением. Вспоминаю с удивлением, что отомщение сие и гнев мой были мне самому до крайности тяжелы и противны, потому что, имея характер легкий, не мог подолгу ни на кого сердиться, а потому как бы сам искусственно разжигал себя и стал наконец безобразен и нелеп. Выждал я время и раз в большом обществе удалось мне вдруг «соперника» моего оскорбить будто бы из-за самой посторонней причины, подсмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии — в двадцать шестом году дело было — и подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение и уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был я и моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой как бы тоже из ревнивого ко мне чувства: ревновал он меня и прежде, немножко, к жене своей, еще тогда невесте; теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенес, а вызвать на поединок не решился, то чтобы не стала она невольно презирать его и не

поколебалась любовь ее. Секунданта я достал скоро, товарища, нашего же полка поручика. Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными — до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки. Был в исходе июнь, и вот встреча наша назавтра, за городом, в семь часов утра — и воистину случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такою зверскою жестокостью. И верите ли, милые, сорок лет тому минуло времени, а припоминаю и теперь о том со стыдом и мукой. Лег я спать, заснул часа три, встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил — отпиралось у меня в сад, — вижу, восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое? Не оттого ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не оттого. Не оттого ли, что смерти боюсь, боюсь быть убитым? Нет, совсем

не то, совсем даже не то… И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело: в том, что я с вечера избил Афанасия! Все мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось: стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет — и это человек до того доведен, и это человек бьет человека! Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то, птички-то Бога хвалят… Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, за что меня любите, да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» — «Да, стою ли, — вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. «Матушка, кровинушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б

узнали — сейчас был бы рай!» — «Господи, да неужто же и это неправда, — плачу я и думаю, — воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей!» И представилась мне вдруг вся правда, во всем просвещении своем: что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем предо мной не повинного, а супругу его тем навеки счастья лишу, измучаю и убью. Лежал я так на постели ничком, лицом в подушку и не заметил вовсе, как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ, поручик, за мной, с пистолетами: «А, говорит, вот это хорошо, что ты уже встал, пора, идем». Заметался я тут, совсем потерялся, вышли мы, однако же, садиться в коляску: «Погоди здесь время, — говорю ему, — я в один миг сбегаю, кошелек забыл». И вбежал один в квартиру обратно, прямо в каморку к Афанасию: «Афанасий, говорю, я вчера тебя ударил два раза по лицу, прости ты меня», — говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался, глядит — и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так, как был, в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли: «Прости меня!» — говорю. Тут уж он и совсем обомлел: «Ваше благородие, батюшка барин, да как вы… да стою ли я…» — и заплакал вдруг сам, точно как давеча я, ладонями обеими

закрыл лицо, повернулся к окну и весь от слез так и затрясся, я же выбежал к товарищу, влетел в коляску, «вези» кричу. «Видал, — кричу ему, — победителя — вот он пред тобою!» Восторг во мне такой, смеюсь, всю дорогу говорю, говорю, не помню уж, что и говорил. Смотрит он на меня: «Ну, брат, молодец же ты, вижу, что поддержишь мундир». Так приехали мы на место, а они уже там, нас ожидают. Расставили нас, в двенадцати шагах друг от друга, ему первый выстрел — стою я пред ним веселый, прямо лицом к лицу, глазом не смигну, любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапало мне щеку да за ухо задело. «Слава богу, кричу, не убили человека!» — да свой-то пистолет схватил, оборотился назад, да швырком, вверх, в лес и пустил: «Туда, кричу, тебе и дорога!» Оборотился к противнику: «Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в десять крат, а пожалуй, еще и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете». Только что я это проговорил, так все трое они и закричали: «Помилуйте, — говорит мой противник, рассердился даже, — если вы не хотели драться,

к чему же беспокоили?» — «Вчера, — говорю ему, — еще глуп был, а сегодня поумнел», — весело так ему отвечаю. «Верю про вчерашнее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнению». — «Браво, — кричу ему, в ладоши захлопал, — я с вами и в этом согласен, заслужил!» — «Будете ли, милостивый государь, стрелять, или нет?» — «Не буду, говорю, а вы, если хотите, стреляйте еще раз, только лучше бы вам не стрелять». Кричат и секунданты, особенно мой: «Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить; если бы только я это знал!» Стал я тут пред ними пред всеми и уже не смеюсь: «Господа мои, говорю, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично?» — «Да не на барьере же, — кричит мой секундант опять. «То-то вот и есть, — отвечаю им, — это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться, только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех, но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел

в двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолета испугался и нечего его слушать. Господа, — воскликнул я вдруг от всего сердца, — посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем…» Хотел я и еще продолжать, да не смог, дух даже у меня захватило, сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. «Благоразумно все это и благочестиво, — говорит мне противник, — и во всяком случае человек вы оригинальный». — «Смейтесь, — смеюсь и я ему, — а потом сами похвалите». — «Да я готов и теперь, говорит, похвалить, извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек». — «Нет, говорю, сейчас не надо, а потом, когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протяните — хорошо сделаете». Воротились мы домой, секундант мой всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас

все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день: «мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает». Явились и защитники: «Выстрел все же, говорят, он выдержал». — «Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения». — «А кабы побоялся выстрелов, — возражают защитники, — так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить, а он в лес его еще заряженный бросил, нет, тут что-то другое вышло, оригинальное». Слушаю я, весело мне на них глядя. «Любезнейшие мои, — говорю я, — друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, потому что это я уже и сделал, я уже подал, сегодня же в канцелярии, утром, и когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю». Как только я это сказал, расхохотались все до единого: «Да ты б с самого начала уведомил, ну теперь все и объясняется, монаха судить нельзя», — смеются, не унимаются, да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело, полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители, и потом весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят: «Ах ты, монах», — говорят. И всякий-то мне ласковое слово скажет, отговаривать начали, жалеть

даже: «Что ты над собой делаешь?» — «Нет, говорят, он у нас храбрый, он выстрел выдержал и из своего пистолета выстрелить мог, а это ему сон накануне приснился, чтоб он в монахи пошел, вот он отчего». Точно то же почти произошло и в городском обществе. Прежде особенно-то и не примечали меня, а только принимали с радушием, а теперь вдруг все наперерыв узнали и стали звать к себе: сами смеются надо мной, а меня же любят. Замечу тут, что хотя о поединке нашем все вслух тогда говорили, но начальство это дело закрыло, ибо противник мой был генералу нашему близким родственником, а так как дело обошлось без крови, а как бы в шутку, да и я, наконец, в отставку подал, то и повернули действительно в шутку. И стал я тогда вслух и безбоязненно говорить, несмотря на их смех, потому что все же был смех не злобный, а добрый. Происходили же все эти разговоры больше по вечерам в дамском обществе, женщины больше тогда полюбили меня слушать и мужчин заставляли. «Да как же это можно, чтоб я за всех виноват был, — смеется мне всякий в глаза, — ну разве я могу быть за вас, например, виноват?» — «Да где, — отвечаю им, — вам это и познать, когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел и ко-

гда сущую ложь за правду считаем да и от других такой же лжи требуем. Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно, и что же, стал для всех вас точно юродивый: хоть и полюбили меня, а все же надо мной, говорю, смеетесь». — «Да как вас такого не любить?» — смеется мне вслух хозяйка, а собрание у ней было многолюдное. Вдруг, смотрю, подымается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил, а я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку: «Позвольте мне, говорит, изъяснить вам, что я первая не смеюсь над вами, а, напротив, со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш». Подошел тут и муж ее, а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне так стало, но пуще всех заметил я вдруг тогда одного господина, человека уже пожилого, тоже ко мне подходившего, которого я хотя прежде и знал по имени, но никогда с ним знаком не был и до сего вечера даже и слова с ним не сказал.

г) Таинственный посетитель

Был он в городе нашем на службе уже давно, место занимал видное, человек был уважаемый

всеми, богатый, славился благотворительностью, пожертвовал значительный капитал на богадельню и на сиротский дом и много, кроме того, делал благодеяний тайно, без огласки, что все потом по смерти его и обнаружилось. Лет был около пятидесяти, и вид имел почти строгий, был малоречив; женат же был не более десяти лет с супругой еще молодою, от которой имел трех малолетних еще детей. Вот я на другой вечер сижу у себя дома, как вдруг отворяется моя дверь и входит ко мне этот самый господин.

А надо заметить, что жил я тогда уже не на прежней квартире, а как только подал в отставку, съехал на другую и нанял у одной старой женщины, вдовы чиновницы, и с ее прислугой, ибо и переезд-то мой на сию квартиру произошел лишь потому только, что я Афанасия в тот же день, как с поединка воротился, обратно в роту препроводил, ибо стыдно было в глаза ему глядеть после давешнего моего с ним поступка — до того наклонен стыдиться неприготовленный мирской человек даже иного справедливейшего своего дела.

«Я, — говорит мне вошедший ко мне господин, — слушаю вас уже несколько дней в разных домах с большим любопытством и пожелал

наконец познакомиться лично, чтобы поговорить с вами еще подробнее. Можете вы оказать мне, милостивый государь, таковую великую услугу?» — «Могу, говорю, с превеликим моим удовольствием и почту за особую честь», — говорю это ему, а сам почти испугался, до того он меня с первого разу тогда поразил. Ибо хоть и слушали меня и любопытствовали, но никто еще с таким серьезным и строгим внутренним видом ко мне не подходил. А этот еще сам в квартиру ко мне пришел. Сел он. «Великую, — продолжает он, — вижу в вас силу характера, ибо не побоялись истине послужить в таком деле, в каком рисковали, за свою правду, общее презрение от всех понести». — «Вы, может быть, очень меня преувеличенно хвалите», — говорю ему. «Нет, не преувеличенно, — отвечает мне, — поверьте, что совершить таковой поступок гораздо труднее, чем вы думаете. Я, собственно, — продолжает он, — этим только и поразился и за этим к вам и пришел. Опишите мне, если не побрезгаете столь непристойным, может быть, моим любопытством, что именно ощущали вы в ту минуту, когда на поединке решились просить прощения, если только запомните? Не сочтите вопрос мой за легкомыслие; напротив, имею, задавая

таковой вопрос, свою тайную цель, которую, вероятно, и объясню вам впоследствии, если угодно будет Богу сблизить нас еще короче».

Все время, как он говорил это, глядел я ему прямо в лицо и вдруг ощутил к нему сильнейшую доверенность, а кроме того, и необычайное и с моей стороны любопытство, ибо почувствовал, что есть у него в душе какая-то своя особая тайна.

«Вы спрашиваете, что я именно ощущал в ту минуту, когда у противника прощения просил, — отвечаю я ему, — но я вам лучше с самого начала расскажу, чего другим еще не рассказывал», — и рассказал ему все, что произошло у меня с Афанасием и как поклонился ему до земли. «Из сего сами можете видеть, — заключил я ему, — что уже во время поединка мне легче было, ибо начал я еще дома, и раз только на эту дорогу вступил, то все дальнейшее пошло не только не трудно, а даже радостно и весело».

Выслушал он, смотрит так хорошо на меня: «Все это, говорит, чрезвычайно как любопытно, я к вам еще и еще приду». И стал с тех пор ко мне ходить чуть не каждый вечер. И сдружились бы мы очень, если б он мне и о себе говорил. Но о себе он не говорил почти ни слова, а все меня

обо мне же расспрашивал. Несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах, ибо мыслю: на что мне тайны его, вижу и без сего, что праведен человек. К тому же еще человек столь серьезный и неравный мне летами, а ходит ко мне, юноше, и мною не брезгает. И многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек. «Что жизнь есть рай, — говорит вдруг мне, — об этом я давно уже думаю, — и вдруг прибавил: — Только об этом и думаю». Смотрит на меня и улыбается. «Я больше вашего в этом, говорит, убежден, потом узнаете почему». Слушаю я это и думаю про себя: «Это он, наверно, хочет мне нечто открыть». — «Рай, говорит, в каждом из нас затаен, вот он теперь и во мне кроется, и, захочу, завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь». Гляжу: с умилением говорит и таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. «А о том, продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов, о том вы совершенно правильно рассудили, и удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять. И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них царствие небесное уже не в мечте,

а в самом деле». — «А когда, — воскликнул я ему тут с горестию, — сие сбудется, и сбудется ли еще когда-нибудь? Не мечта ли сие лишь только?» — «А вот уж вы, говорит, не веруете, проповедуете и сами не веруете. Знайте же, что несомненно сия мечта, как вы говорите, сбудется, тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется. Сбудется, но сначала должен заключиться период человеческого *уединения*». — «Какого это уединения?» — спрашиваю его. «А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке, но не заключился еще весь и не пришел еще срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит изо всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное

самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и, что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, и только и трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права его. Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение сына человеческого на небеси… Но до

тех пор надо все-таки знамя беречь и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль...»

Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждение, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться; но в том, что мода действительно в свете царица немалая, в этом все же надо сознаться. На таинственного же посетителя моего стал я наконец смотреть в восхищении, ибо, кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому, может быть, подвигу. Может, и то ему нравилось, что я наружно не любопытствовал о секрете его, ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере это уже очень стало видно примерно месяц спустя, как он стал посещать меня. «Знаете ли вы, — спросил он

меня однажды, — что в городе очень о нас обоих любопытствуют и дивятся тому, что я к вам столь часто хожу; но пусть их, ибо *скоро все объяснится*». Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил. Иногда же долго и как бы пронзительно смотрит на меня — думаю: «Что-нибудь сейчас да и скажет», а он вдруг перебьет и заговорит о чем-нибудь известном и обыкновенном. Стал тоже часто жаловаться на головную боль. И вот однажды, совсем даже неожиданно, после того как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел, лицо совсем перекосилось, сам же на меня глядит как в упор.

— Что с вами, — говорю, — уж не дурно ли вам?

А он именно на головную боль жаловался.

— Я… знаете ли вы… я… человека убил.

Проговорил да улыбается, а сам белый как мел. «Зачем это он улыбается», — пронзила мне мысль эта вдруг сердце, прежде чем я еще что-либо сообразил. Сам я побледнел.

— Что вы это? — кричу ему.

— Видите ли, — отвечает мне все с бледною усмешкой, — как дорого мне стоило сказать первое слово. Теперь сказал и, кажется, стал

на дорогу. Поеду.

Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того, как он три дня ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал его за помешанного, но кончил тем, что убедился наконец явно с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление, четырнадцать лет пред тем, над одною богатою госпожой, молодою и прекрасною собой, вдовой помещицей, имевшею в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому, одному знатному не малого чина военному, бывшему в то время в походе и которого ожидала она, однако, скоро к себе. Предложение его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить, он, зная расположение ее дома, пробрался к ней ночью из сада чрез крышу, с превеликою дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но, как весьма часто бывает, все с необыкновенною дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Чрез слуховое окно войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь,

бывшая в конце лесенки, не всегда по небрежности слуг запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз и как раз застал. Пробравшись в жилые покои, он, в темноте, прошел в ее спальню, в которой горела лампада. И, как нарочно, обе горничные ее девушки ушли потихоньку без спросу, по соседству, на именинную пирушку, случившуюся в той же улице. Остальные же слуги и служанки спали в людских и в кухне, в нижнем этаже. При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула. Затем с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг: не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки, ее комод и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невежа слуга, то есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги, взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в десять раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил и еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю

жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея! Да и о любви его к ней никто не знал, ибо был и всегда характера молчаливого и несообщительного, и друга, которому поверял бы душу свою, не имел. Считали же его просто знакомым убитой и даже не столь близким, ибо в последние две недели он и не посещал ее. Заподозрили же тотчас крепостного слугу ее Петра, и как раз сошлись все обстоятельства, чтоб утвердить сие подозрение, ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдаты отдать, в зачет следуемого с ее крестьян рекрута, так как был одинок и дурного сверх того поведения. Слышали, как он в злобе, пьяный, грозился в питейном доме убить ее. За два же дня до ее кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства нашли его на дороге, при выезде из города, мертво пьяного, имевшего в кармане своем нож, да еще с запачканною почему-то в крови правою ладонью. Утверждал, что кровь шла из носу, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке и что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных сему признаков,

по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. Тем дело и кончилось, предали воле Божьей, и все — и судьи, и начальство, и все общество — остались убеждены, что совершил преступление никто как умерший слуга. А засим началось наказание.

Таинственный гость, а теперь уже друг мой, поведал мне, что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его. Но о пролитой неповинной крови, об убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва его могла стать супругой другому, казалась ему невозможною, а потому долгое время убежден был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько вначале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта успокоили его, ибо умер тот, по всей очевидности (рассуждал он тогда), не от ареста или испуга, а от простудной болезни, приобретенной именно во дни его бегов, когда он, мертво пьяный, валялся целую ночь

на сырой земле. Краденые же вещи и деньги мало смущали его, ибо (все так же рассуждал он) сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он вскорости всю эту сумму, и даже гораздо большую, пожертвовал на учредившуюся у нас в городе богадельню. Нарочно сделал сие для успокоения совести насчет кражи, и, замечательно, на время, и даже долгое, действительно успокоился — сам передавал мне это. Пустился он тогда в большую служебную деятельность, сам напросился на хлопотливое и трудное поручение, занимавшее его года два, и, будучи характера сильного, почти забывал происшедшее; когда же вспоминал, то старался не думать о нем вовсе. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но все же стал наконец задумываться с мучением, не в подъем своим силам. Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, и он вскорости женился на ней, мечтая, что женитьбой прогонит уединенную тоску свою, а вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительно

жены и детей, удалится от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное сему ожиданию. Еще в первый месяц брака стала его смущать беспрерывная мысль: «Вот жена любит меня, ну что, если б она узнала?» Когда стала беременна первым ребенком и поведала ему это, он вдруг смутился: «Даю жизнь, а сам отнял жизнь». Пошли дети: «Как я смею любить, учить и воспитать их, как буду про добродетель им говорить: я кровь пролил». Дети растут прекрасные, хочется их ласкать: «А я не могу смотреть на их невинные, ясные лики; недостоин того». Наконец начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы, погубленная молодая жизнь ее, кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны. Но будучи тверд сердцем, сносил муку долго: «Искуплю все сею тайною мукой моею». Но напрасная была и сия надежда: чем дальше, тем сильнее становилось страдание. В обществе за благотворительную деятельность стали его уважать, хотя и боялись все строгого и мрачного характера его, но чем более стали уважать его, тем становилось ему невыносимее. Признавался мне, что думал было убить себя. Но вместо того начала мерещиться ему иная мечта, — мечта, которую считал он вначале

невозможною и безумною, но которая так присосалась наконец к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так: восстать, выйти пред народом и объявить всем, что убил человека. Года три он проходил с этою мечтой, мерещилась она ему все в разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда. Но, уверовав, почувствовал в сердце ужас, ибо: как исполнить? И вдруг произошел этот случай на моем поединке. «Глядя на вас, я теперь решился». Я смотрю на него.

— И неужели, — воскликнул я ему, всплеснув руками, — такой малый случай мог решимость такую в вас породить?

— Решимость моя три года рождалась, — отвечает мне, — а случай ваш дал ей только толчок. Глядя на вас, упрекнул себя и вам позавидовал, — проговорил он мне это даже с суровостью.

— Да вам и не поверят, — заметил я ему, — четырнадцать лет прошло.

— Доказательства имею, великие. Представлю.

И заплакал я тогда, облобызал его.

— Одно решите мне, одно! — сказал он мне (точно от меня теперь все и зависело), — жена, дети! Жена умрет, может быть, с горя, а дети хоть

и не лишатся дворянства и имения, — но дети варнака, и навек. А память-то, память какую в сердцах их по себе оставлю!

Молчу я.

— А расстаться-то с ними, оставить навеки? Ведь навек, навек!

Сижу я, молча про себя молитву шепчу. Встал я наконец, страшно мне стало.

— Что же? — смотрит на меня.

— Идите, — говорю, — объявите людям. Все минется, одна правда останется. Дети поймут, когда вырастут, сколько в великой решимости вашей было великодушия.

Ушел он тогда от меня как бы и впрямь решившись. Но все же более двух недель потом ко мне ходил, каждый вечер сряду, все приготовлялся, все не мог решиться. Измучил он мое сердце. То приходит тверд и говорит с умилением:

— Знаю, что наступит рай для меня, тотчас же и наступит, как объявлю. Четырнадцать лет был во аде. Пострадать хочу. Приму страдание и жить начну. Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься. Теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети, может быть, чего стоило мне страдание мое, и не осудят меня! Господь не в

силе, а в правде.

— Поймут все подвиг ваш, — говорю ему, — не сейчас, так потом поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной…

И уйдет он от меня как бы утешенный, а назавтра вдруг опять приходит злобный, бледный, говорит насмешливо:

— Каждый раз, как вхожу к вам, вы смотрите с таким любопытством: «Опять, дескать, не объявил?» Подождите, не презирайте очень. Не так ведь оно легко сделать, как вам кажется. Я, может быть, еще и не сделаю вовсе. Не пойдете же вы на меня доносить тогда, а?

А я, бывало, не только что смотреть с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезни, и душа моя была полна слез. Ночной даже сон потерял.

— Я сейчас, — продолжает, — от жены. Понимаете ли вы, что такое жена? Детки, когда я уходил, прокричали мне: «Прощайте, папа, приходите скорее с нами „Детское чтение“ читать». Нет, вы этого не понимаете! Чужая беда не дает ума.

Сам засверкал глазами, губы запрыгали. Вдруг стукнул о стол кулаком, так что вещи на столе вспрыгнули, — такой мягкий человек, в первый раз с ним случилось.

— Да нужно ли? — воскликнул, — да надо ли? Ведь никто осужден не был, никого в каторгу из-за меня не сослали, слуга от болезни помер. А за кровь пролиянную я мучениями был наказан. Да и не поверят мне вовсе, никаким доказательствам моим не поверят. Надо ли объявлять, надо ли? За кровь пролитую я всю жизнь готов еще мучиться, только чтобы жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут правда? Да и познают ли правду эту люди, оценят ли, почтут ли ее?

«Господи! — мыслю про себя, — о почтении людей думает в такую минуту!» И до того жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его. Вижу, он как исступленный. Ужаснулся я, поняв уже не умом одним, а живою душой, чего стоит такая решимость.

— Решайте же судьбу! — воскликнул опять.

— Идите и объявите, — прошептал я ему. Голосу во мне не хватило, но прошептал я твердо. Взял я тут со стола Евангелие, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава XII, стих 24:

«Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется

одно, а если умрет, то принесет много плода». Я этот стих только что прочел пред его приходом.

Прочел он.

— Правда, — говорит, но усмехнулся горько. — Да, в этих книгах, — говорит, помолчав, — ужас что такое встретишь. Под нос-то их легко совать. И кто это их писал, неужели люди?

— Дух Святый писал, — говорю.

— Болтать-то вам легко, — усмехнулся он еще, но уже почти ненавистно. Взял я книгу опять, развернул в другом месте и показал ему «К евреям», глава X, стих 31. Прочел он: «Страшно впасть в руки Бога живаго».

Прочел он да так и отбросил книгу. Задрожал весь даже.

— Страшный стих, — говорит, — нечего сказать, подобрали. — Встал со стула. — Ну, — говорит, — прощайте, может, больше и не приду… в раю увидимся. Значит, четырнадцать лет, как уже «впал я в руки Бога живаго», — вот как эти четырнадцать лет, стало быть, называются. Завтра попрошу эти руки, чтобы меня отпустили…

Хотел было я обнять и облобызать его, да не посмел — искривленно так лицо у него было и смотрел тяжело. Вышел он. «Господи, — подумал я, — куда пошел человек!» Бросился я

тут на колени пред иконой и заплакал о нем Пресвятой Богородице, скорой заступнице и помощнице. С полчаса прошло, как я в слезах на молитве стоял, а была уже поздняя ночь, часов около двенадцати. Вдруг, смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился.

— Где же вы были? — спрашиваю его.

— Я, — говорит, — я, кажется, что-то забыл… платок, кажется… Ну, хоть ничего не забыл, дайте присесть-то…

Сел на стул. Я стою над ним. «Сядьте, говорит, и вы». Я сел. Просидели минуты с две, смотрит на меня пристально и вдруг усмехнулся, запомнил я это, затем встал, крепко обнял меня и поцеловал…

— Попомни, — говорит, — как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь, попомни это!

В первый раз мне *ты* сказал. И ушел. «Завтра», — подумал я.

Так оно и сбылось. И не знал я в сей вечер, что на завтра как раз приходится день рождения его. Сам я в последние дни никуда не выходил, а потому и узнать не мог ни от кого. В этот же день у него каждогодно бывало большое собрание, съезжался весь город. Съехались и теперь. И вот, после обеденной трапезы, выходит он на сре-

дину, а в руках бумага — форменное донесение по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочел бумагу вслух всем собравшимся, а в ней полное описание всего преступления во всей подробности: «Как изверга себя извергаю из среды людей, Бог посетил меня, — заключил бумагу, — пострадать хочу!» Тут же вынес и выложил на стол все, чем мнил доказать свое преступление и что четырнадцать лет сохранял: золотые вещи убитой, которые похитил, думая отвлечь от себя подозрение, медальон и крест ее, снятые с шеи, — в медальоне портрет ее жениха, записную книжку и, наконец, два письма: письмо жениха ее к ней с извещением о скором прибытии и ответ ее на сие письмо, который начала и не дописала, оставила на столе, чтобы завтра отослать на почту. Оба письма захватил он с собою — для чего? Для чего потом сохранял четырнадцать лет вместо того, чтоб истребить как улики? И вот что же случилось: все пришли в удивление и в ужас, и никто не захотел поверить, хотя все выслушали с чрезвычайным любопытством, но как от больного, а несколько дней спустя уже совсем решено было во всех домах и приговорено, что несчастный человек помешался. Начальство и суд не могли

не дать хода делу, но приостановились и они: хотя представленные вещи и письма и заставили размышлять, но решено было и тут, что если сии документы и оказались бы верными, то все же окончательное обвинение не могло бы быть произнесено на основании только сих документов. Да и вещи все он мог иметь от нее самой, как знакомый ее и по доверенности. Слышал я, впрочем, что подлинность вещей была потом проверена чрез многих знакомых и родных убитой и что сомнений в том не было. Но делу сему опять не суждено было завершиться. Дней через пять все узнали, что страдалец заболел и что опасаются за жизнь его. Какою болезнию он заболел, не могу объяснить, говорили, что расстройством сердцебиения, но известно стало, что совет докторов, по настоянию супруги его, свидетельствовал и душевное его состояние и что вынесли заключение, что помешательство уже есть. Я ничего не выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его навестить, то долго мне возбраняли, главное супруга его: «Это вы, — говорит мне, — его расстроили, он и прежде был мрачен, а в последний год все замечали в нем необыкновенное волнение и странные поступки, а тут как раз вы его погу-

били; это вы его зачитали, не выходил он от вас целый месяц». И что же, не только супруга, но и все в городе накинулись на меня и меня обвинили: «Это все вы», — говорят. Я молчу, да и рад в душе, ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя. А помешательству его я верить не мог. Допустили наконец и меня к нему, сам потребовал того настоятельно, чтобы проститься со мной. Вошел я и как раз увидел, что не только дни, но и часы его сочтены. Был он слаб, желт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит умиленно и радостно.

— Совершилось! — проговорил мне, — давно жажду видеть тебя, что не приходил?

Я ему не объявил, что меня не допускали к нему.

— Бог сжалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои; не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу в сем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится…

долг исполнил…

Говорить не может, задыхается, горячо мне руку жмет, пламенно глядит на меня. Но недолго мы беседовали, супруга его беспрерывно к нам заглядывала. Но успел-таки шепнуть мне:

— А помнишь ли, как я к тебе тогда в другой раз пришел, в полночь? Еще запомнить тебе велел? Знаешь ли, для чего я входил? Я ведь убить тебя приходил!

Я так и вздрогнул.

— Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою. И вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце вынесло. «Теперь, думаю, он единый связал меня, и судия мой, не могу уже отказаться от завтрашней казни моей, ибо он все знает». И не то чтоб я боялся, что ты донесешь (не было и мысли о сем), но думаю: «Как я стану глядеть на него, если не донесу на себя?» И хотя бы ты был за тридевять земель, но жив, все равно, невыносима эта мысль, что ты жив и все знаешь, и меня судишь. Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват. Воротился я к тебе тогда, помню, что у тебя на столе лежит кинжал. Я сел и тебя сесть попросил, и целую минуту думал. Если б я убил тебя, то все равно бы погиб за это убийство, хотя бы

и не объявил о прежнем преступлении. Но о сем я не думал вовсе и думать не хотел в ту минуту. Я только тебя ненавидел и отомстить тебе желал изо всех сил за все. Но Господь мой поборол диавола в моем сердце. Знай, однако, что никогда ты не был ближе от смерти.

Через неделю он помер. Гроб его до могилы провожал весь город. Протоиерей сказал прочувствованное слово. Оплакивали страшную болезнь, прекратившую дни его. Но весь город восстал на меня, когда похоронили его, и даже принимать меня перестали. Правда, некоторые, вначале немногие, а потом все больше и больше, стали веровать в истину его показаний и очень начали посещать меня и расспрашивать с большим любопытством и радостью: ибо любит человек падение праведного и позор его. Но я замолчал и вскорости из города совсем выбыл, а через пять месяцев удостоился Господом Богом стать на путь твердый и благолепный, благословляя перст невидимый, мне столь явно сей путь указавший. А многострадального раба Божия Михаила памятую в молитвах моих и до сего дня на каждый день.

III

Из бесед и поучений старца Зосимы

д) Нечто об иноке русском и о возможном значении его

Отцы и учители, что есть инок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. И чем дальше, тем больше. Правда, ох правда, много и в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. На сие указывают образованные светские люди: «Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества, живете чужим трудом, бесстыдные нищие». А между тем сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньше указывают и даже обходят молчанием вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли русской! Ибо воистину приготовлены в тишине «на день и час, и месяц и год». Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божией, от древнейших отцов,

апостолов и мучеников, и, когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира. Сия мысль великая. От востока звезда сия воссияет.

Так мыслю об иноке, и неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите у мирских и во всем превозносящемся над народом Божиим мире, не исказился ли в нем лик Божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с некиим торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай» — вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых *уединение* и духовное самоубийство, а у бедных — зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы,

не верьте таковому единению людей. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такою необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтоб утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые небогаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Спрашиваю я вас: свободен ли такой человек? Я знал одного «борца за идею», который сам рассказывал мне, что, когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою «идею», чтобы только дали ему табаку. А ведь этакой говорит: «За человечество бороться иду». Ну куда такой пойдет и на что он способен? На скорый поступок разве, а долго не вытерпит. И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческо-

му единению впали, напротив, в *отъединение* и уединение, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше.

Другое дело путь иноческий. Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощию Божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного! Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить — уединенный ли богач или сей *освобожденный* от тиранства вещей и привычек? Инока корят его уединением: «Уединился ты, чтобы себя спасти в монастырских стенах, а братское служение

человечеству забыл». Но посмотрим еще, кто более братолюбию поусердствует? Ибо уединение не у нас, а у них, но не видят сего. А от нас и издревле деятели народные выходили, отчего же не может их быть и теперь? Те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело. От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — богоносец.

е) Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями

Боже, кто говорит, и в народе грех. А пламень растления умножается даже видимо, ежечасно, сверху идет. Наступает и в народе уединение: начинаются кулаки и мироеды; уже купец все больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образования не имея

нимало, а для сего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов. Ездит ко князьям, а всего-то сам мужик порченый. Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него. А сколько жестокости к семье, к жене, к детям даже; от пьянства все. Видал я на фабриках десятилетних даже детей: хилых, чахлых, согбенных и уже развратных. Душная палата, стучащая машина, весь Божий день работы, развратные слова и вино, вино, а то ли надо душе такого малого еще дитяти? Ему надо солнце, детские игры и всюду светлый пример и хоть каплю любви к нему. Да не будет же сего, иноки, да не будет истязания детей, восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее. Но спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо, греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду, Бога признает, умилительно плачет. Не то у высших. Те вослед науке хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему: ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступле-

ние? В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но «проклят гнев их, ибо жесток». А Россию спасет Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учители, берегите веру народа, и не мечта сие: поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его достоинство благолепное и истинное, сам видел, сам свидетельствовать могу, видел и удивлялся, видел, несмотря даже на смрад грехов и нищий вид народа нашего. Не раболепен он, и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды. И не мстителен, и не завистлив. «Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив — и пусть, благослови тебя Бог. Чту тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем-то и достоинство мое являю пред тобой человеческое». Воистину, если не говорят сего (ибо не умеют еще сказать сего), то так *поступают*, сам видел, сам испытывал, и верите ли: чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло! Но спасет

Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью, и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделятся. Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру… Буди, буди!

Отцы и учители, произошло раз со мною умилительное дело. Странствуя, встретил я однажды, в губернском городе К., бывшего моего денщика Афанасия, а с тех пор, как я расстался с ним, прошло уже тогда восемь лет. Нечаянно увидел меня на базаре, узнал, подбежал ко мне и, боже, сколь обрадовался, так и кинулся ко мне: «Батюшка, барин, вы ли это? Да неужто вас вижу?» Повел меня к себе. Был уже он в отставке, женился, двух детей-младенцев уже прижил. Проживал с супругой своею мелким торгом на рынке с лотка. Комнатка у него бедная, но чистенькая, радостная. Усадил меня, самовар поставил, за женой

послал, точно я праздник какой ему сделал, у него появившись. Подвел ко мне деток: «Благословите, батюшка». — «Мне ли благословлять, — отвечаю ему, — инок я простой и смиренный, Бога о них помолю, а о тебе, Афанасий Павлович, и всегда, на всяк день, с того самого дня, Бога молю, ибо с тебя, говорю, все и вышло». И объяснил ему я это как умел. Так что же человек: смотрит на меня и все не может представить, что я, прежний барин его, офицер, пред ним теперь в таком виде и в такой одежде: заплакал даже. «Чего же ты плачешь, — говорю ему, — незабвенный ты человек, лучше повеселись за меня душой, милый, ибо радостен и светел путь мой». Многого не говорил, а все охал и качал на меня головой умиленно. «Где же ваше, спрашивает, богатство?» Отвечаю ему: «В монастырь отдал, а живем мы в общежитии». После чаю стал я прощаться с ними, и вдруг вынес он мне полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, сует мне в руку, торопится: «Это уж вам, говорит, странному, путешествующему, пригодится вам, может, батюшка». Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его и ушел обрадованный и думаю дорогой: «Вот мы теперь оба, и он у себя, и я, идущий, охаем, должно быть, да усмехаемся

радостно, в веселии сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог привел встретиться». И больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь, как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки.

А про слуг прибавлю следующее: сердился я прежде, юношею, на слуг много: «кухарка горячо подала, денщик платье не вычистил». Но озарила меня тогда вдруг мысль моего милого брата, которую слышал от него в детстве моем: «Стою ли я того и весь-то, чтобы мне другой служил, а чтоб я, за нищету и темноту его, им помыкал?» И подивился я тогда же, сколь самые простые мысли, воочию ясные, поздно появляются в уме нашем. Без слуг невозможно в миру, но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. И почему я не могу быть слугою слуге моему и так, чтобы он даже видел это, и уж безо всякой гордости с моей стороны,

а с его — неверия? Почему не быть слуге моему как бы мне родным, так что приму его наконец в семью свою и возрадуюсь сему? Даже и теперь еще это так исполнимо, но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а, напротив, изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию. И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, — в объядении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верую, что нет и что время близко. Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немыслимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: «Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла». А насмешников вопросить бы самих:

если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то, напротив, и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простодушию. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого. И сбылось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных сократится дело сие. Стал я тогда, еще в офицерском мундире, после поединка моего, говорить про слуг в обществе, и все-то, помню, на меня дивились: «Что же нам, говорят, посадить слугу на диван да ему чай подносить?» А я тогда им в ответ: «Почему же и не так, хотя бы только иногда». Все тогда засмеялись. Вопрос их был легкомысленный, а ответ мой неясный, но мыслю,

что была в нем и некая правда.

ж) О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным

Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь, тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших». Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред Господом — и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому не ведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо, и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет

он, бесконечно более милосердый и любовный, чем ты. И простит его тебя ради.

Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью. Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя — увы, почти всяк из нас! Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить: он, милый и молчащий

в странствиях наших, на подаянные грошики им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст: проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек.

Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: «Взять ли силой али смиренною любовью?» Всегда решай: «Возьму смиренною любовью». Решишься так раз навсегда и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе. Братья, любовь — учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через дол-

гий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Юноша брат мой у птичек прощения просил: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелою любовию мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным.

Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему совершиться, не говорите: «Силен грех, сильно нечестие, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны, затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию». Бегите, дети, сего уныния! Одно тут спасение себе: возьми

себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщешь. О гордости же сатанинской мыслю так: трудно нам на земле ее и постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем. Да и многое из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь, не соблазняйся и сим и не думай, что сие в чем-либо может тебе служить оправданием, ибо спросит с тебя судия вечный то, что ты мог постичь, а не то, чего не мог, сам убедишься в том, ибо тогда все узришь правильно и спорить уже не станешь. На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром

горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Мыслю так.

з) Можно ли быть судиею себе подобных? О вере до конца

Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быти. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление стоящего пред ним, может, прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судиею. Как ни безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возможешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно приими и постра-

дай за него сам, его же без укора отпусти. И даже если б и самый закон поставил тебя его судиею, то сколь лишь возможно будет тебе сотвори и тогда в духе сем, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твоего. Если не отойдет с целованием твоим бесчувственный и смеясь над тобою же, то не соблазняйся и сим: значит, срок его еще не пришел, но придет в свое время; а не придет, все равно: не он, так другой за него познает, и пострадает, и осудит, и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь сему, несомненно верь, ибо в сем самом и лежит все упование и вся вера святых.

Делай неустанно. Если вспомнишь в нощи, отходя ко сну: «Я не исполнил, что надо было», то немедленно восстань и исполни. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не захотят тебя слушать, то пади пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать. А если уже не можешь говорить с озлобленными, то служи им молча и в уничижении, никогда не теряя надежды. Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля, хотя бы и не видал и не слыхал тебя никто в уединении твоем. Верь до конца, хотя бы даже

и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался: принеси и тогда жертву и восхвали Бога ты, единый оставшийся. А если вас таких двое сойдутся, то вот уж и весь мир, мир живой любви, обнимите друг друга в умилении и восхвалите Господа: ибо хотя и в вас двоих, но восполнилась правда его.

Если сам согрешишь и будешь скорбен даже до смерти о грехах твоих или о грехе твоем внезапном, то возрадуйся за другого, возрадуйся за праведного, возрадуйся тому, что если ты согрешил, то он зато праведен и не согрешил.

Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримою, даже до желания отомщения злодеям, то более всего страшись сего чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в сем злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты и светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то пребудь тверд и не усо-

мнись в силе света небесного; верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает. Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда благолепен. Знай меру, знай сроки, научись сему. В уединении же оставаясь, молись. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным.

и) О аде и адском огне, рассуждение мистическое

Отцы и учители, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более

любить». Раз, в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «Я есмь, и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, *живой*, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отшедший с земли, видит и лоно Авраамово и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и ко Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: «Ныне уже знание имею и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею воды живой (то есть вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жажды любви духовной, которою пламенею теперь, на земле ее пренебрегши; нет уже жизни, и времени более не будет! Хотя бы и жизнь

свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принесть, и теперь бездна между тою жизнью и сим бытием». Говорят о пламени адском материальном: не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо, мечтаю так, в мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если б и возможно было отнять, то, мыслю, стали бы оттого еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна. В робости сердца моего мыслю, однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им наконец и к облегчению, ибо, приняв любовь праведных с невозможностью воздать за нее, в покорности сей и в действии смирения сего, обрящут наконец как бы некий образ той деятельной любви, которою пренебрегли

на земле, и как бы некое действие, с нею сходное… Сожалею, братья и други мои, что не умею сказать сего ясно. Но горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам! Мыслю, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех, рекут нам, о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. О таковых я внутренно во всю жизнь молился, исповедуюсь вам в том, отцы и учители, да и ныне на всяк день молюсь.

О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое.

И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти…

Здесь оканчивается рукопись Алексея Федоровича Карамазова. Повторяю: она не полна и отрывочна. Биографические сведения, например, обнимают лишь первую молодость старца. Из поучений же его и мнений сведено вместе, как бы в единое целое, сказанное, очевидно, в разные сроки и вследствие побуждений различных. Все же то, что изречено было старцем собственно в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе и характере и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений. Кончина же старца произошла воистину совсем неожиданно. Ибо хотя все собравшиеся к нему в тот последний вечер и понимали вполне, что смерть его близка, но все же нельзя было представить, что наступит она столь внезапно; напротив, друзья его, как уже и заметил я выше, видя его в ту ночь столь, казалось бы, бодрым и словоохотливым, убеждены были даже, что в здоровье его произошло заметное улучшение, хотя бы и на малое лишь время. Даже за пять минут до кончины, как с удивлением передавали потом, нельзя было еще ничего

предвидеть. Он вдруг почувствовал как бы сильнейшую боль в груди, побледнел и крепко прижал руки к сердцу. Все тогда встали с мест своих и устремились к нему; но он, хоть и страдающий, но все еще с улыбкой взирая на них, тихо опустился с кресел на пол и стал на колени, затем склонился лицом ниц к земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь (как сам учил), тихо и радостно отдал душу Богу. Известие о кончине его немедленно пронеслось в ските и достигло монастыря. Ближайшие к новопреставленному и кому следовало по чину стали убирать по древлему обряду тело его, а вся братия собралась в соборную церковь. И еще до рассвета, как передавалось потом по слухам, весть о новопреставленном достигла города. К утру чуть не весь город говорил о событии, и множество граждан потекло в монастырь. Но о сем скажем в следующей книге, а теперь лишь прибавим вперед, что не прошел еще и день, как совершилось нечто до того для всех неожиданное, а по впечатлению, произведенному в среде монастыря и в городе, до того как бы странное, тревожное и сбивчивое, что и до сих пор, после стольких лет, сохраняется в городе нашем самое живое воспоминание о том столь

для многих тревожном дне…

Над книгой работали



Руководитель редакционной группы *Анна Неплюева*
Шеф-редактор *Павла Стрепет*
Ответственный редактор *Дарья Мордзилович*
Креативный директор *Яна Паламарчук*
Арт-директор *София Цой*
Дизайнер *Валерия Шило*
Иллюстрации на обложке и в блоке 汚い12
Леттеринг *Антон Героев*
Техническая корректура *Юлия Молокова*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
mann-ivanov-ferber.ru